**Святитель Григорий Богослов**

**Слова (1 – 15)**

Оглавление

[СЛОВО 1. На Пасху и своем промедлении 1](#_Toc225918823)

[СЛОВО 2. К призвавшим в начале, но не встретившим Св. Григория, когда он стал пресвитером 2](#_Toc225918824)

[СЛОВО 3. Григорий Богослов оправдывает удаление свое в Понт после рукоположения в пресвитеры и возвращение оттуда; а также учит, как важен сан священства и каков должен быть епископ 3](#_Toc225918825)

[СЛОВО 4. Первое обличительное на царя Юлиана 22](#_Toc225918826)

[СЛОВО 5. Второе обличительное на царя Юлиана 46](#_Toc225918827)

[СЛОВО 6. О мире, произнесенное в присутствии отца после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих 56](#_Toc225918828)

[СЛОВО 7. Надгробное брату Кесарию, произнесенное еще при жизни родителей 62](#_Toc225918829)

[СЛОВО 8. Надгробное Горгонии, сестре Св. Григория Назианзина 69](#_Toc225918830)

[СЛОВО 9. Защитительное, говоренное им отцу своему Григорию в присутствии Василия Великого после рукоположения Св. Григория Богослова в епископа Сасимского 75](#_Toc225918831)

[СЛОВО 10. Защитительное, говоренное им отцу своему и Василию Великому по возвращении Св. Григория Богослова из уединения 77](#_Toc225918832)

[СЛОВО 11. Говоренное брату Василия Великого, святому Григорию, епископу Нисскому, когда он пришел к св. Григорию Богослову по рукоположении его в сан епископа 78](#_Toc225918833)

[СЛОВО 12. Говоренное отцу, поручившему ему попечение о Назианзской церкви 80](#_Toc225918834)

[СЛОВО 13. Произнесенное при рукоположении Евладия в сан епископа Доарского 81](#_Toc225918835)

[СЛОВО 14. О любви к бедным 82](#_Toc225918836)

[СЛОВО 15. Произнесенное в присутствии отца, который безмолвствовал от скорби, после того как град опустошил поля 94](#_Toc225918837)

# СЛОВО 1. На Пасху и своем промедлении

Воскресения день — благоприятное начало. Просветимся торжеством и обнимем друг друга. *Скажем: братья, и ненавидящим нас* (Ис. 66. 5), особенно тем, которые из любви что-нибудь сделали или потерпели. Уступим все Воскресению; простим друг друга: и я (упомяну об этом теперь), подвергшийся доброму принуждению, и вы, употребившие доброе принуждение; хотя несколько и сетуете на меня за задержку. Может быть, перед Богом оно лучше и драгоценнее, нежели поспешность других. Хорошо и уклоняться несколько от призвания Божия, как в древности поступил Моисей, а после Иеремия; хорошо и поспешать с готовностью на глас Зовущего, как Аарон и Исаия, только бы то и другое было по благочестию, — одно по причине собственной немощи, а другое по надежде на силу Зовущего. В день таинства помазан я; в день таинства удалился ненадолго, чтобы испытать самого себя; в день таинства и возвращаюсь, избрав этот день добрым попечителем моей боязливости и немощи, дабы Воскресший ныне из мертвых и меня обновил Духом, и, облекши в нового человека, для новой твари, для рождаемых по Богу, сделал добрым образователем и учителем, который со Христом и умирает охотно и воскресает.

Вчера заклан был Агнец, помазаны двери, Египет оплакивал первенцев; мимо нас прошел погубляющий, печать для него страшна и досточтима, и мы ограждены драгоценной кровью: ныне мы чисто убежали из Египта, от жестокого властителя фараона и немилосердных надсмотрщиков, освободились от работы над глиной и кирпичами, и никто не воспрепятствует нам праздновать Господу Богу нашему праздник исшествия, — и праздновать нe *со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины* (1 Кор. 5,8), не принося с собой египетской закваски безбожной. Вчера я распинался со Христом, ныне прославляются с Ним; вчера умирал с Ним, ныне оживаю; вчера погребался с Ним, ныне воскресаю.

Принесем же дары Пострадавшему за нас и Воскресшему. Может быть, вы думаете, что я говорю о золоте, или о серебре, или о тканях, или о прозрачных и драгоценных камнях. Это — вещество земное, преходящее и на земле остающееся, которого всегда больше имеют злые — рабы дольнего, рабы миродержателя. Нет, принесем самих себя — стяжание самое драгоценное перед Богом и Ему наиболее свойственное, воздадим Образу сотворенное по образу, познаем свое достоинство, почтим Первообраз, уразумеем силу таинства и то, за кого Христос умер. Уподобимся Христу; ибо и Христос уподобился нам: сделаемся богами ради Его; ибо и Он стал человеком для нас. Он восприял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой; принял образ раба, чтобы нам получить свободу; снизошел, чтобы нам вознестись; был искушен, чтобы нам победить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить; умер, чтобы спасти; вознесся, чтобы привлечь к Себе долу лежащих в греховном падении. Пусть кто все отдаст, все принесет в дар Богу, Который предал Себя за нас в цену искупления: ничего не принесет он равного тому, как если представить Ему самого себя, понимающего силу таинства и сделавшегося всем для Христа, как Он для нас.

Сей Пастырь добрый, полагающий душу за овец, вам, как видите, плодоприносит Пастыря. Ибо на это надеется он и желает, и просит от вас, пасомых им. Он дает вам себя сугубо вместо одного, и жезл старости делает жезлом духа; к неодушевленному храму присовокупляет одушевленный, к храму прекрасному и небовидному — другой, который, как бы ни был скуден и мал, но для него, без сомнения, весьма дорог, и совершен им с великими усилиями и трудами, и (о если бы можно было сказать!) достоин трудов его. Все свое предлагает он вам, — какое великодушие, или, справедливее сказать, какое чадолюбие! Предлагает седину и юность, храм и Архиерея, завещателя и наследника, предлагает слова, которых вы желали, и слова не пустые, теряющиеся в воздухе и не проникающие далее слуха, но которые пишет Дух, не чернилами, но благодатью, запечатлевает на скрижалях, каменных или плотью облеченных, — слова, не слегка на поверхности начертываемые и легко стираемые, но глубоко врезывающиеся. Вот что приносит вам этот досточтимый Авраам, Патриарх, честная и достоуважаемая глава, вместилище всех доблестей, образец добродетели, совершенство священства, приносящий ныне добровольную жертву Господу, — своего единородного, рожденного по обетованию.

А вы, как дар и плод, принесите Богу и нам расположение — быть доброй паствой, вселяясь на злачные пажити и воспитываясь на воде упокоения (Пс. 22. 1. 2). Хорошо зная Пастыря и будучи им знаемы, идите за тем, кто зовет пастырски и свободно, через дверь, а не следуйте чужому, перескакивающему через ограду, разбойнически и коварно. Не слушайте чужого голоса, уводящего от истины и расточающего по горам, по пустыням, по дебрям, по местам, которых не посещает Господь, — голоса, отводящего от здравой веры в Отца, и Сына и Святого Духа, во единое Божество и силу; веры, вещанию которой всегда внимали и да внимают всегда мои овцы; не слушайте голоса, который нечистыми и поврежденными словами отторгает и увлекает от истинного и первого Пастыря. Далече от всего того, как от зелья чарующего и смертоносного, да дарует Он всем нам, — и пастырям и стаду, и питаться и питать, и всем ныне и в вечном упокоении быть едино во Христе Иисусе. Ему слава и держава вовеки. Аминь.

# СЛОВО 2. К призвавшим в начале, но не встретившим Св. Григория, когда он стал пресвитером

Что не спешите к нашему слову, о друзья и братья, некогда столь скорые для того, чтобы принудить меня и извлечь из моей твердыни, то есть из пустыни, которую я возлюбил больше всего, которую я преимущественно чтил и избрал себе руководительницей всей жизни, как содейственницу и матерь божественного восхождения, делающую причастным Божьей благодати? Для чего тем, что желали получить, пренебрегаете по получении? Для чего, по-видимому, лучше умеете желать нас, когда нас нет, нежели пользоваться нами, когда мы с вами, как будто вы хотели только овладеть нашим любомудрием, а не извлекать из него пользу себе? Или же, прилично мне сказать и это: *вы пресыщены* (Ис. 1. 11), и притом — странное дело! — прежде нежели вы нас вкусили и испытали. Даже, как странника, вы не ввели меня, или, скажу сострадательнее, не введены и вы со мной; для чего, если не другое что, то заповедь уважить надлежало. Как начинающему не дали вы мне руководства, как боязливого не ободрили меня, как потерпевшего насилие не утешили; напротив, — не хотел бы сказать, однако скажу, — и праздник не в праздник вы мне сделали; не с добрым предвестием вы меня приняли и торжество растворили печалью; потому что недоставало при нем самого важного для удовольствия, — недоставало вас, моих победителей, — несправедливо было бы сказать: любителей. Так легко пренебрегают всем, что легко побеждают; раболепно чтится высокое, и бесчестится смиряющееся перед Богом. Чего вы хотите? Судиться ли мне с вами, или стать судьею? Произнести ли приговор, или подвергнуть себя приговору? Ибо надеюсь, что и судимый одержу верх, и произнося суд, праведно вас осужу. Вина ваша в том, что вы не равной мерой воздаете за мою любовь; не отдаете чести моему послушанию, и нынешнего усердия не представляете в поруку за будущее, тогда как и при этом усердии едва ли бы можно было положиться на будущее, потому что у всякого больше горячности вначале. Напротив, каждый из вас предпочитает что-нибудь и старому, и новому своему пастырю, не уважая седин и не ободряя юности.

Великолепна изображаемая в Евангелии вечеря (Мф. 22. 2 и след.), угощающий ласков, там — и друзья, и самое приятное пиршество, это — брак Сына. Но Царь созывает, а гости не приходят. Он гневается, и, — умалчиваю о том, что было дальше, как о предвещающем грозное, но скажу, что легче выговорить, — Царь наполняет пиршество другими. Не желаю вам этого, но вы поступили со мной (могу ли говорить кротко?) — и тех высокомернее и дерзостнее, потому что они, будучи званы, отреклись от вечери и оскорбили Звавшего; а вы — нечужие, вы — не званные на брак, но сами призвали меня, сами привлекли к этой священной трапезе, сами показали мне великолепие брачного чертога, а потом оставили меня. Таковы ваши великие доблести! Кто на село свое, кто к паре волов новокупленных, кто к новобрачной супруге, кто за чем-либо другим маловажным, — все вы рассеялись и убежали, не заботясь ни о брачном чертоге, ни о Женихе. Это весьма опечалило и привело меня в затруднение, — не умолчу о своих чувствованиях, — я едва не удержал слово, которое хотел принести в брачный дар, как лучшее и драгоценнейшее свое достояние, и едва не обратил слова против вас, возлюбленные; потому что однажды я потерпел от вас насилие, — и мог воспользоваться таким прекрасным случаем; притом язык мой изощряла любовь, которая бывает весьма горяча и неистощима в обвинениях, когда превращается в ревность, оскорбившись неожиданным пренебрежением. Ежели кто из вас был уязвлен любовью и испытал презрение, то он знает силу этой страсти и простит тех, которые подверглись ей, и были близки к такому же безумию.

Впрочем, мне и теперь непозволительно укорять вас, и не желаю, чтобы когда-нибудь было позволено. Может быть, и сказанное мной чрезмерно укоризненно для вас, священное стадо, достохвальные овцы Христовы, Божье достояние, которым богат ты, при всей своей бедности. Мне кажется, что прилично отнести к тебе эти слова Писания: *межи пролегли* для тебя *по прекрасным местам, и удел твой всего приятнее для* тебя (Пс. 15. 6). Я не уступлю ни в чем преимущества перед нами самым многолюдным городам, самым обширным из паств; хотя мы малочисленны в наименьшем колене сынов Израилевых, хотя мы весьма малочисленны в тысячах Иудиных; мы — малый из городов Вифлеем, в котором рождается Христос, и ныне и издревле право познаваемый и почитаемый; мы Отца превозносим, Сына почитаем равным Ему, и Духа Святого прославляем. Мы единодушны, едино мыслим, нимало не оскорбляем Троицы ни приложением, ни отсечением, как худые распорядители и мирители Божества, которые унижают и оскорбляют все, тем самым, что одно почитают более надлежащего.

Если же хотите чем-нибудь воздать мне, вы — нива моя, виноград мой, утроба моя, или лучше, этого общего нашего отца, который благовествованием породил нас во Христе, то окажите уважение и мне, как требует того справедливость; потому что я предпочел вас всему, — в чем свидетели — сами вы и поручившие мне это правление, или служение. И если возлюбившему больше и обязаны мы больше: то как измерю любовь, к которой я обязал вас моею любовью?

Но большее уважение оказывайте самим себе; почтите вверенный вам образ и Вверившего его, почтите страсти Христовы и надежду будущей жизни. А для этого храните веру, которую приняли, в которой воспитаны, которой надеетесь сами спастись (1 Кор. 15.1.2) и других спасти, ибо знаете, что немногие могут похвалиться тем же, чем и вы. Благочестие поставляйте не в том, чтобы часто говорить о Боге, но в том, чтобы больше молчать; ибо язык, неуправляемый разумом, — помеха для всех людей. Всегда держитесь той мысли, что безопаснее слушать, нежели говорить; вожделеннее учиться, нежели учить о Боге; тщательнейшее об этом исследование предоставляя строителям слова, сами выказывайте благочестие менее словом, а более делом, и обнаруживайте любовь свою к Богу более соблюдением заповедей Его, нежели удивлением к Законодателю; избегайте зла, преуспевайте в добродетели, духом живите, духом ходите, им привлекайте ведение; назидайте на основании веры *не дерево, сено, солому —* вещества слабые, которые легко могут истребиться, когда дела наши будут судимы или очищаемы огнем, — *но злато, серебро и камни драгоценные* (1 Кор. 3,16) — вещества твердые и пребывающие. Так поступайте, а тем прославляйте и нас, будете ли с нами, или не будете, нашими ли будете пользоваться словами, или найдете что-нибудь другое предпочтительнее. Будьте чистыми и непорочными чадами Божиими посреди рода лукавого и развращенного; не опутывайтесь сетями нечестивых, окрест ходящих, и не связывайтесь узами своих грехов (Пр. 5.22); Слово Божие да не будет подавлено в вас заботами житейскими, чтобы вам не остаться бесплодными. Но идите царским путем, не уклоняясь ни направо, ни налево, и под руководством Духа шествуйте узким путем, как пространным. Тогда все у нас будет благоуспешно и в настоящей жизни и на будущем испытании во Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава вовеки. Аминь.

# СЛОВО 3. Григорий Богослов оправдывает удаление свое в Понт после рукоположения в пресвитеры и возвращение оттуда; а также учит, как важен сан священства и каков должен быть епископ

.

Я побежден, и признаю над собой победу. *Повинуйся Господу и надейся на него* (Пс. 36.7). Так да начнет слово мое блаженнейший Давид или, лучше сказать, Вещавший в Давиде и еще доныне через него Вещающий! Ибо для начинающего всякое слово и дело самый лучший порядок — и начинать Богом, и оканчивать Богом.

О причине же моего прежнего противления и малодушия, по которому *я удалился и оставался бы* (Пс. 54. 8) на немалое время вдали от вас, может быть и желавших моего пребывания у вас, а равно и о причине настоящей моей покорности и перемены, по которой я сам возвратился к вам, пусть всякий говорит и думает по-своему; так как один ненавидит, а другой любит; иной не извиняет, а другой даже одобряет меня. Людям всего приятнее рассуждать о чужих делах, особливо, если увлекаются или благорасположением, или ненавистью; в каком случае всего чаще и скрывается от них истина. Но я, отложив стыд, представлю истину и для обеих сторон, то есть, для обвиняющих меня и для защищающих усердно, буду правдивым посредником, сам себя в ином обвиняя, а в ином оправдывая. И чтобы слово мое шло в надлежащем порядке, — скажу сперва о том, что было со мной прежде — о моей боязливости. Ибо не могу снести, чтобы мной соблазнялись некоторые из наблюдающих тщательно за всеми моими поступками, правильны ли они, или нет (так как Богу угодно, чтобы и я значил нечто для христиан); а соблазнившихся, если найдутся таковые, излечу этим защитительным словом. Всего лучше — не устраивать другим преткновения или соблазна, не погрешая и даже не давая подозрения, насколько это возможно, и насколько достанет сил ума, потому что знаем, какое неизбежное и тяжкое наказание определил *Неизменный* (Тит. 1.2) соблазнившим и единого от малых. Но я подвергся этому, братия, не по неведению и недоразумению, напротив того (похвалюсь, хотя несколько), по другим причинам, а не потому, чтобы презирал Божий законы и повеления.

Как в теле, иное начальствует и как бы председательствует, а иное состоит под начальством и управлением: так и в Церквах (по закону ли справедливости, воздающей по достоинству, или по закону Промысла, все связующего) Бог постановил, чтобы одни, для кого это полезнее, словом и делом направляемые к своему долгу, оставались пасомыми и подначальными; а другие, стоящие выше прочих по добродетели и близости к Богу, были Пастырями и Учителями к совершению Церкви, и имели к другим такое же отношение, какое душа к телу и ум к душе, дабы то и другое, недостаточное и избыточное, будучи, подобно телесным членам соединено и сопряжено в один состав, совокуплено и связано союзом Духа, представляло одно тело, совершенное и истинно достойное самого Христа — нашей Главы. Поэтому не думаю, чтобы безначалие и беспорядок были полезнее порядка и начальства, как для всего прочего, так и для людей; напротив, всего менее полезны они людям, которым угрожает опасность в важнейшем. Для них, если не исполнят первого требования разума, чтобы не грешить, важно второе, чтобы согрешившие возвращаемы были на истинный путь. А поскольку хорошо и справедливо — быть начальниками и подначальными, то, по моему мнению, равно худо и в одинаковой мере противно порядку, как всем желать начальства, так и никому не принимать его на себя. Когда бы все стали избегать этого начальствования или, правильнее назвать, служения; тогда бы прекрасной полноте Церкви недоставало бы значительнейшего, и она не была бы уже прекрасной. Притом, где и кем совершалось бы у нас таинственное и горе возводящее Богослужение, которое у нас всего превосходнее и досточтимее, если бы не было ни Царя, ни Князя, ни Священства, ни Жертвы (Ос. 3. 4), ни всего того, чего, как важнейшего, были лишены непокорные издревле в наказание за великие преступления? С другой стороны, нимало не странно и не вне порядка, что многие богомудрые из подначальных восходят на степень начальника; это — не вопреки правилам, какие предписывает любомудрие, и не предосудительно; равно как и то, что искусному корабельщику дают управлять корабельным носом, а тому, кто, управляя носом, умеет наблюдать ветры, доверяют кормило; или (если угодно еще) — мужественный воин делается начальником отряда, а хорошему начальнику отряда поручается все войско и распоряжение всеми военными делами.

И я не степени сана устыдился, желая высшей, что, может быть, подумает иной из людей ни к чему не годных и злых, которые судят о других по собственным своим страстям. Я не так мало понимаю и Божие величие и человеческую низость, чтобы для всякого сотворенного естества не признавать великим делом — хотя сколько-нибудь приближаться к Богу, Который един всего светозарнее, всего славнее и превосходит чистотой всякую вещественную и невещественную природу.

Итак, что же со мной произошло? Какая была причина моего непослушания? Многим казалось, что я был тогда сам не в себе, сделался совершенно иным человеком, а не каким меня знали, противился и упорствовал больше, нежели сколько было позволительно. Поэтому выслушайте тому причины вы, которым давно желательно их знать.

Особенно поражен я был неожиданностью, подобно человеку, поражаемому внезапным громом, не собрался с мыслями; и потому преступил скромность, к которой приучал себя всю жизнь. Потом овладела мной какая-то привязанность ко благу безмолвия и уединения. Любя его с самого начала, насколько едва ли любил кто другой из занимающихся науками, в важнейших и опаснейших для меня обстоятельствах дав Богу обет *безмолвной жизни,* даже коснувшись уже ее, как находившийся в преддверии, и по изведании воспылавший большим желанием, я не вынес принуждения, не допустил ввергнуть себя в мятежи и насильно отвлечь от такой жизни, как бы от священного убежища. Мне казалось, что всего лучше, замкнув как бы чувства, отрешившись от плоти и мира, погрузившись в самого себя, без крайней нужды не касаясь ни до чего человеческого, беседуя с самим собой и с Богом, жить превыше видимого и носить в себе божественные образы, всегда чистые и несмешанные с земными и обманчивыми напечатлениями, быть и непрестанно делаться истинно чистым зеркалом Бога и божественного, приобретать ко свету свет — к менее ясному лучезарнейший, пожинать уже упованием блага будущего века, жить вместе с ангелами и, находясь еще на земле, оставлять землю и быть возносиму Духом горе. Если кто из вас объят этой любовью, то поймет, что говорю, и извинит тогдашнее состояние моего духа. Но слова мои не убедят, может быть, многих, именно всех тех, кому смешным кажется этот род жизни, к которому они все расположены или по собственному неразумию, или потому, что иные проходят его недостойно; подкрепляемые завистью, также злонравием и поползновением многих на худшее, они и хорошее именуют худым, любомудрие называют тщеславием. А от этого непременно грешат в одном из двух — или делают зло, или не верят добру.

Сверх этого, произошло со мной еще нечто (открою перед вами всю мою тайну): не знаю, благородно ли это, или нет; однако же, так было. Мне стыдно было за других, которые, будучи ничем не лучше прочих (если еще не хуже), с неумытыми, как говорится, руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело, и прежде нежели сделались достойными приступить к священству, врываются во святилище, теснятся и толкаются вокруг Святой Трапезы, как бы почитая этот сан не образцом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчета. И такие люди, скудные благочестием, жалкие в самом блеске своем, едва ли не многочисленнее тех, над кем они начальствуют; так что, с продолжением времени и этого зла, не останется, как думаю, над кем им начальствовать, — когда все будут учить, вместо того чтобы, как говорит Божие обетование, *быть наученными Богам* (Ис. 54. 13); все станут пророчествовать, и, по древнему сказанию, по древней притче, будет и *Саул во пророках* (1 Цар. 10.11). Иные пороки, по временам, то усиливались, то прекращались; но ничего никогда, и ныне и прежде, не бывало в таком множестве, в каком ныне у христиан сии постыдные дела и грехи. Но ежели не в наших силах — остановить стремление зла, то, по крайней мере, ненавидеть и стыдиться его есть не последняя степень благочестия.

Но вот последняя причина, которая важнее приведенных; ибо касаюсь уже главнейшего в слове, и не солгу (что было бы и непозволительно рассуждающему о таком предмете); я не думал, и теперь не думаю, чтобы одно и то же значило — водить стадо овец или волов и управлять человеческими душами. Там достаточно и того, чтобы волы или овцы сделались самыми откормленными и тучными. А в этом случае пасущий их будет выбирать места, обильные водой и злаками, перегонять стада с одного пастбища на другое, давать им отдых, поднимать с места и собирать, иных жезлом, а большую часть свирелью. У пастыря овец и волов нет другого дела, разве иногда придется ему повоевать немного с волками и присмотреть за больным скотом. Всего же больше заботят его дуб, тень, свирели и то, чтобы полежать на прекрасной траве, у студеной воды под ветерком устроить на время из зелени ложе, иногда со стаканом в руке пропеть любовную песнь, поговорить с волами или овцами, и из них же, что пожирнее, съесть или продать. А о добродетели овец или волов никто никогда не позаботится. Ибо что у них за добродетель? И кто из пастухов предпочитал собственному удовольствию полезное для стада? Но человеку, который с трудом умеет быть под начальством, еще, кажется, гораздо труднее — уметь начальствовать над людьми, особенно — иметь такое начальство, каково наше, которое основывается на Божием законе и возводит к Богу, — в котором, чем больше высоты и достоинства, тем больше опасности даже для имеющего ум. И он, во-первых, подобно серебру и золоту обращаясь всюду, во всяком обстоятельстве и деле не должен звучать, как поддельная и нечистая монета, не должен нисколько содержать в себе вещества худшего, которое бы требовало сильнейшего огня. Иначе, тем большее произойдет зло, чем над большим числом людей будет он начальствовать; потому что порок, распространяющийся во многих, значительнее порока, остановившегося на одном. И не так легко ткань принимает в себя не выводимую краску, и близкие вещи впитывают одна от другой зловоние или благовоние, но так быстро разливается в воздухе и из воздуха сообщается животным какое-нибудь вредное испарение, производящее заразу и называемое заразой, как подчиненные, в скорейшем обыкновенно времени, принимают в себя пороки начальника, и даже пороки гораздо легче, нежели противное пороку — добродетель. В этом порок и берет особенно верх над добродетелью. И я всего более скорблю при мысли, что порок есть дело, удобно возбуждающее к соревнованию и без труда исполняемое, что всего легче сделаться порочным, хотя бы никто нами в том не руководил; напротив, стяжание добродетели есть дело редкое и трудное, хотя бы и многое к ней влекло и побуждало. Эту самую мысль, как думаю, имел и блаженнейший Аггей, когда приведен был к этому чудному и весьма верному изображению: вопросите иереев о законе, говорит он: священное мясо, прикоснувшееся к ризе, к какому-нибудь яству или питью, или сосуду, освятит ли тотчас, что к нему приблизилось? И когда иереи сказали: нет; вопросите еще, говорит: когда что-либо прикоснется к нечистой вещи, не тотчас ли примет в себя скверну? На это они сказали: примет, и по причине сообщения не будет уже чистым (Агг. 2, 13. 14). Что значит это? То же, что и я говорю. Добродетель не удобоприемлема для человеческой природы, как и огонь для влажного вещества; но большая часть людей готова и способна принимать в себя худое, подобно тростнику, который, из-за сухости своей, легко воспламеняется и сгорает при ветре от искры. Ибо всякий скорее принимает в себя в большей мере малый порок, нежели высокую добродетель в малой мере. Так небольшое количество полыни тотчас сообщает горечь свою меду, а мед и в двойной мере не сообщает полыни своей сладости. Выдерни малый камень: он повлечет за собой всю реку на открытое место; удержать же и преградить ее едва сможет самая твердая плотина.

Итак, первое, чего из сказанного нами бояться должно, есть то, чтобы нам не оказаться худыми живописцами чудной добродетели, особенно же негодным подлинником для других живописцев, может быть, и не худых, но многих, или чтобы нам не подойти под пословицу: беремся лечить других, а сами покрыты струпьями. Во-вторых, если бы кто из нас сохранил себя, даже сколько можно более, чистым от всякого греха, то не знаю еще, достаточно ли и этого готовящемуся учить других добродетели. Кому вверено это, тот не только не должен быть порочным (этим гнушаются и многие из подчиненных ему), но должен отличаться добродетелью, по заповеди, повелевающей *уклониться от зла и сотворить благо* (Пс. 36.27). Он обязан не только уничтожать в душе своей худые образы, ной укоренять лучшие, чтобы ему превосходить других добродетелью больше, нежели насколько он выше их достоинством. Он должен не знать даже меры в доброте и в восхождении к совершенству, почитать не столько прибылью то, что приобретено, сколько потерей то, что не достигнуто, пройденное же обращать всегда в ступень к высшему, и не высоко думать о себе, если и многих превосходит, но признавать уроном, если не соответствует в чем сану. Ему должно измерять успехи свои заповедью, а не примером ближних (порочны ли они, или успевают несколько в добродетели), не взвешивать на малых весах добродетель, какой обязаны мы Великому, от Которого все и для Которого все, не думать, что всем прилично одно и то же; так как не у всех один и тот же возраст, одни и те же черты лица, не одинакова природа животных, не одинаковы качества земли, красота и величие светил. Напротив, должно почитать пороком в отдельном человеке то, что произведено им худого, заслуживает наказания и строго истязается самим законом, а в начальнике и предстоятеле даже то, что он не достиг возможного совершенства и не преуспевает непрестанно в добре; потому что ему надобно превосходством своей добродетели привлекать народ к порядку, и не силой обуздывать, но доводить до порядка убеждением. Ибо все, что делается не добровольно, кроме того, что оно насильственно и не похвально, еще и не прочно. Вынужденное подобно растению, насильно согнутому руками, как скоро бывает оставлено на воле, обыкновенно возвращается в прежнее свое положение. Напротив, что делается по свободному произволению, то, как скрепляемое узами сердечного расположения, и весьма законно и вместе надежно. Поэтому закон наш и сам Законоположник особенно повелевает *пасти стадо не принужденно, но охотно* (1 Пет. 5.2).

Положим даже, что иной непорочен и взошел на самый верх добродетели: все еще не вижу, каким запасшись знанием, на какую понадеявшись силу, отважится он на такое начальство. Ибо править человеком, самым хитрым и изменчивым животным, по моему мнению, действительно есть искусство из искусств и наука из наук. В чем всякий может удостовериться, если врачевание душ сравнить с врачеванием тел, изведает, насколько трудно последнее, и разберет, насколько наше врачевание еще труднее, а вместе, и предпочтительнее, и по свойству врачуемого, и по силе знания, и по цели врачевания. Одно трудится над телами, над веществом бренным и стремящимся долу, над веществом, которое непременно разрушится и подвергнется своей участи, хотя теперь, с помощью искусства, и преодолеется произошедшее в нем расстройство; ибо тело, уступив природе и не выходя из своих пределов, будет разрушено или болезнью, или временем. А другое печется о душе, которая произошла от Бога и божественна, которая причастна горнего благородства и к нему поспешает, хотя и соединена с худшим (может быть, и по другим причинам, какие известны единому Богу, соединившему ее с телом, и разве еще тому, кто самим Богом научен таковым тайнам, но насколько мы знаем — я и подобные мне люди) для двух следующих целей. Во-первых, чтобы душа могла наследовать горнюю славу за подвиг и за борьбу с дольним, и, будучи здесь искушена ими, как золото огнем, получила уповаемое в награду за добродетель, а не только как дар Божий. И конечно, в том — верх благости Божией, что добро сделано и нашей собственностью, не только всеяно в нас с естеством, но возделывается также нашим желанием и движениями свободы, преклонной на ту и другую сторону. Во-вторых, чтобы душа могла и худшее, постепенно отрешая от дебелости, привлекать к себе и возводить горе, чтобы она, став руководительницею для служебного вещества и обратив его в сослужебное Богу, была для тела тем же, чем Бог для души.

Врачующий тело принимает во внимание место, случай, возраст, время года и тому подобное, дает лекарства, предписывает образ жизни, предостерегает от вредного, чтобы прихоти больного не воспрепятствовали искусству; иногда же, когда и над кем нужно, употребляет прижигания, резание и другие, еще более жестокие способы лечения. Хотя все это оказывается очень трудным и тяжелым, однако, же не настолько, как наблюдать и врачевать нравы, страсти, поведение, свободное желание и все в нас тому подобное, исторгать, что приросло к нам зверского и дикого, а на место этого вводить и укоренять все, что есть кроткого и благородного, устанавливать надлежащее отношение между душой и телом, не позволяя, чтобы лучшее управлялось худшим, что было бы величайшей несправедливостью, но низшее по природе подчиняя начальственному и владычественному как, без сомнения, требует Божий закон, прекрасно установленный для всего творения и видимого, и сверхчувственного.

В рассуждении всего перечисленного мной примечаю еще и то, что охраняемое врачом тело, каково есть по своей природе, таковым и остается, само же собой нимало не злоумышляет и не ухищряется против средств, употребляемых искусством; напротив, врачебное искусство владеет веществом; разве иногда произойдет какой-либо временный беспорядок от воли больного, что, впрочем, нетрудно предотвратить и пресечь. А в нас мудрование, самолюбие и то, что не умеем и не терпим легко уступать над собой победу, служат величайшим препятствием к добродетели и составляют как бы ополчение против тех, которые подают нам помощь. Сколько надлежало бы прилагать стараний, чтобы открыть врачующим болезнь, столько употребляем усилий, чтобы избежать врачевания. Мы храбры против самих себя и искусны во вред своему здоровью. То рабски скрадываем грех, утаивая его в глубине души, как некоторый загноившийся и злокачественный струп, как будто, сокрывши от людей, сокроем и от великого ока и суда Божия; то под различными предлогами извиняем в себе грехи и придумываем оправдания своим страстям; то, заградивши слух, подобно *аспиду глухому и затыкающему уши,* принимаем все меры, чтобы *не слышать голоса заклинателя* (Пс. 57.5. б) и не пользоваться врачеванием мудрости, которым исцеляется душевный недуг; то, наконец (как поступают более смелые и храбрые из нас, явно не стыдимся ни греха, ни врачующих грех, идем, как говорится, с открытой головой на всякое беззаконие. Какое расстройство ума! или как еще приличнее назвать такую болезнь! — Кого надлежало бы любить, как благодетелей, гоним от себя, как врагов, ненавидя *обличающих в воротах* (Агг. 2.15), *гнушаясь словам праведным* (Ам. 5.10), и подобно тем, которые, терзая собственную плоть, думают, что терзают ближних, предполагаем нанести тем больший вред своим доброжелателям, чем больше зла сделаем сами себе.

Поэтому-то полагаю, что наше врачебное искусство гораздо труднее, а следовательно, и предпочтительнее искусства врачевать тела; но оно труднее еще и потому, что последнее мало заглядывает вглубь, более же занимается видимым; напротив, все наше врачевание и попечение относится к *сокровенному сердца человеку* (1 Пет. 3.11), и наша брань — с врагом, внутри нас воюющим и противоборствующим, который, оружием против нас употребляя нас же самих (что всего ужаснее!), предает нас греховной смерти. А для этого нам нужны великая и совершенная вера, в большей мере Божие содействие, но не в малой также, как убежден я, и собственная наша ревность, выражаемая и действительно оказываемая словом и делом, если нужно, чтобы наши души, которые для нас всего предпочтительнее, хорошо были врачуемы, очищаемы и ценимы дороже всего.

Что же касается цели того и другого врачевания (нам остается еще сравнить их в этом отношении), то цель одного — или сохранить здоровье и благосостояние плоти, когда оно есть, или возвратить, когда оно утрачено, — хотя и неизвестно, полезно ли это будет обладающему здоровьем. Ибо и противоположное этому часто приносило великую пользу, равно как нищета и богатство, слава и бесславие, унижение и знатность, также все, что по природе своей занимает середину, не склоняясь ни на ту, ни на другую сторону, делается лучшим или худшим по употреблению и произволу обладающих Но цель другого врачевания — окрылить душу, похитить из мира и предать Богу, сохранить образ Божий, если цел, поддержать, если — в опасности, обновить, если поврежден, *вселить Христа в сердца* (Еф. 3.17) Духом; сказать короче того, кто принадлежит к горнему чину, сделать богом и причастником горнего блаженства. Этого хотят для нас и охраняющий закон, и посредствующие между Христом и законом Пророки, и Совершитель и конец духовного закона — Христос, и истощившее Себя Божество, и воспринятая плоть, и новое смешение — Бог и человек — единый из Божества и человечества, и через единого то и другое. Для этого Бог стал причастен к плоти через посредство души, и далекое между собой совокуплено через сходство посредствующего за тем и за другим; все соединилось в единое за всех и за единого Праотца, душа за душу преступившую, плоть за плоть, покорившуюся душе и вместе осужденную; Христос, не причастный к греху и высший греха, за Адама, бывшего под грехом. Для этого ветхое заменено новым; страданием воззван страдавший; за каждый наш долг воздано особо Тем, Кто превыше нас; и открылось иное таинство — человеколюбивое Божие смотрение о падшем через непослушание. Для этого — рождение и Дева, для этого — ясли и Вифлеем; рождение вместо создания, Дева вместо жены, Вифлеем вместо Эдема, ясли вместо рая, малое и видимое вместо великого и сокровенного. Для этого — ангелы, славящие Небесного, сделавшегося потом Земным, пастыри, видящие славу на Агнце и Пастыре; звезда путеводная; волхвы, поклоняющиеся и приносящие дары, чтобы прекратилось идолослужение. Для этого Иисус приемлет крещение и свидетельство свыше; для этого постится, подвергается искушению и побеждает победившего. Для этого изгоняются демоны, исцеляются болезни и великое дело проповеди поручается малым и совершается ими. Для этого приходят в смятение народы и люди помышляют тщетное. Для этого — древо за древо и рука — за руку; рука, мужественно распростертая, за руку, невоздержно простертую; руки пригвожденные — за руку своевольную, руки, соединяющие воедино концы мира, — за руку, извергшую Адама. Для этого — вознесение на крест за падение, желчь за вкушение, терновый венец за худое владычество, смерть за смерть, тьма для света, погребение за возвращение в землю, воскресение для воскресения. Все это было для нас Божиим некоторым детоводительством и врачеванием нашей немощи, возвращающим ветхого Адама туда, откуда он ниспал, и приводящим к древу жизни, от которого удалил нас плод древа познания, безвременно и неблагоразумно вкушенный. Этого-то врачевания служители и сотрудники — все мы, председательствующие перед другими, мы, для которых важно — знать и врачевать собственные немощи и недуги, или вернее сказать, это еще не столь важно (но меня заставила выразиться так порочность многих, находящихся в этом сане), — гораздо же важнее — быть в состоянии врачевать и искусно очищать других, чтобы от этого была польза тем и другим, и имеющим нужду во врачевании и поставленным врачевать.

Кроме этого, врачи тел должны переносить известные нам труды, бдения, заботы и, как сказал один из их мудрецов, — из чужих несчастий собирать себе скорби; иное дознавая и изобретая сами, иное заимствуя и собирая у других, они должны обращать это в пользу требующих; и что ими найдено или избегнуто, не исключая и самых малостей, для них немаловажно, но признается имеющим силу к укреплению здоровья, или к отвращению опасности. И для чего все это? Чтобы больше дней прожил на земле человек, и человек, может быть, не полезный для общества, но самый негодный, которому, по его порочности, было бы даже лучше давно умереть и через то освободиться от порока, этого величайшего недуга. Но положим, что он и добрый человек; долго ли он будет жить? Ужели всегда? И что приобретет от здешней жизни? Желать разрешиться от нее, по моему мнению, есть первое и вернейшее благо, и свойственно человеку — подлинно здравомыслящему и умному. Но нам, когда мы — в опасности утратить спасение души, души блаженной и бессмертной, которая будет вечно или наказываема за порочность, или прославляема за добродетель, — какой предлежит подвиг, и какие нужны сведения, чтобы хорошо и других уврачевать и самим уврачеваться, чтобы исправить образ жизни и плоть покорить духу? Ибо не одинаковы понятия и стремления у мужчины и женщины, у старости и юности, у нищеты и богатства, у веселого и печального, у больного и здорового, у начальников и подчиненных, у мудрых и невежд, у робких и смелых, у гневливых и кротких, у стоящих твердо и падающих. А если еще разберем подробнее, — то какое различие между вступившими в супружество и безбрачными! И у последних опять — между пустынножителями, между находящимися в общежитиях и между остающимися в мире! Между опытными и преуспевшими в созерцании и между теми, которые просто исполняют должное! Между городскими и сельскими жителями, между простосердечными и хитрыми, между занятыми делом и живущими праздно, между потерпевшими измену счастья и благоуспешными, не встречавшими неудач! Все таковые различаются между собой желаниями и стремлениями — иногда более, нежели сколько они различны по телесному виду, или (если угодно) по сочетанию и растворению стихий, из которых мы состоим; и потому нелегко за ними наблюдать. Но как телам даются неодинаковые лекарство и пища, — иное пригодно здоровому, иное — больному; так и души врачуются различным образом и способом. Свидетели такового врачевания — сами болящие. Одних наставляет слово, другие исправляются примером. Для иных нужен бич, а для других — узда; ибо одни ленивы и неудобоподвижны к добру, и таких должно возбуждать ударами слова; другие сверх меры горячи духом и неудержимы в стремлениях, подобно молодым, сильным коням, бегущим дальше цели, и таких может исправить обуздывающее и сдерживающее слово. Для одних полезна похвала, для других — укоризна, но и та и другая — вовремя; напротив, без времени и без основания они вредят. Одних исправляет увещание, других — выговор, и последний — или прилюдно, или после тайного вразумления. Ибо одни привыкли пренебрегать вразумлениями, сделанными наедине, но приходят в чувство, если укорят их при многих; другие же при гласности обличений теряют стыд, но их смиряет тайный выговор, и за такое снисхождение к себе воздают они благопокорностью. Иные, возгордясь мыслью, что дела их тайны, о чем они и заботятся, считают себя умнее других, и в таких надобно тщательно наблюдать все, даже самые маловажные, поступки; а в других лучше ничего не замечать, и, как говорится, видя не видать, слыша не слышать, чтобы, подавив их ревностью обличений, не возбудить к упорству и, напоследок, не сделать дерзновенными на все, истребив в них стыд — это средство ко внушению покорности. Иногда нужно гневаться не гневаясь, оказывать презрение не презирая, терять надежду не отчаиваясь, сколько этого требует свойство каждого; других должно врачевать кротостью, смирением и соучастием в их лучших о себе надеждах. Одних полезно побуждать, от других часто полезнее быть самому побужденным, и хвалить или осуждать должно — у иного достаток и могущество, а у иного нищету и расстройство дел. Ибо наше врачевание не таково, каковы добродетель и порок, из которых первая всегда и для всех всего лучше и полезнее, а последний всего хуже и вреднее; у нас одно и тоже, например, — строгость или кротость, а равно и прочее, мной перечисленное, не всегда даже для одних и тех же оказывается или самым спасительным, или опасным. Напротив, для иных хорошо и полезно одно, а для иных другое, первому противное, — сообразно тому, думаю, как требуют время и обстоятельства, и как допускает нрав врачуемого. Хотя сколько бы кто ни употреблял старания и ума, невозможно всего изобразить словом и обнять мыслью в такой подробности, чтобы вкратце был виден весь ход врачевания; однако же, на самом опыте и на деле делается то известным из врачебной науки и врачу. Вообще же известно нам, что как для ходящего по высоко натянутому канату небезопасно отклоняться в стороны, и малое, no-видимому отклонение влечет за собой большее, безопасность же его зависит от равновесия; так и в нашем деле, кто, по худой жизни или по невежеству, отклоняется в ту и другую сторону, для того очень опасно, что и сам он впадет в грех и вовлечет в него управляемых. Напротив, должно идти самым царским путем и остерегаться, чтобы, как сказано в Притчах, *не уклонится ни направо, ни налево* (Пр. 4,27). Таково свойство наших немощей и от этого столько труда доброму Пастырю, обязанному хорошо знать души своих пасомых, и быть вождем их по закону прямого и справедливого пастырства, которое было бы достойно истинного нашего Пастыря.

Что же касается самого раздаяния слова (скажу напоследок о том, что составляет первую нашу обязанность, и понимаю слово Божественное и высокое, о котором ныне все любомудрствуют); то, ежели кто другой приступает к делу этому с дерзновением, и почитает его доступным для всякого ума, — я дивлюсь многоумию (чтобы не сказать: малоумию!) такого человека. Для меня кажется непростым и немалого духа требующим делом — каждому *давать в свое время меру хлеба* (Лк. 2.42) слова, и с рассуждением вести домостроительство истины наших догматов, то есть нашего любомудрого учения о мирах или мире, о веществе, о душе, об уме и умных существах, как добрых, так и злых, о Промысле, все связующем и распоряжающемся всеми событиями, как согласными с разумом, так, по-видимому, и противоречащими дольнему — человеческому уму; также о первоначальном нашем устройстве и о последнем воссоздании, о преобразованиях и истине, ими прообразуемой, о Заветах, о первом и втором Христовом пришествии, о воплощении, страданиях и смерти Христовой, о воскресении, о кончине мира, о суде и воздаянии — и грозном и сладком; а что главное, о том, чему должно веровать — о начальной, царственной и блаженной Троице. В этом догмате для обязанных просвещать других — всего опаснее, чтобы нам, из опасения многобожия, заключив Божество в одну Ипостась, не оставить в учении своем одних голых имен, признав за одно Отца и Сына, и Святого Духа, а также, через уклонение в противное, разделив Божество на трех или разнородных и друг другу чуждых, или неподчиненных и безначальных, так сказать, противоположных Богов, не впасть в равное первому зло, подобно тому, что бывает с кривым деревом, которое чрезмерно гнут в противную сторону. А как ныне в учении о Боге — три недуга: безбожие, иудейство и многобожие, и из них защитником первого Ливийский Савеллий, второго — Александрийский Арий, а третьего — некоторые из числа чрезмерно у нас православных; то какое же мое учение? Избегая всего, что есть вредного в этих трех ложных учениях, держаться в пределах благочестия. И, во-первых, не увлекаться в безбожие Савеллия, следуя его новому разложению и сложению, по которому, либо утверждают не столько то, *что Ипостаси* суть одно, сколько то, что каждая — ничто (ибо выступающее из себя и переходящее взаимно друг в друга перестает уже быть тем, чем оно есть); либо воображают и составляют себе какого-то сложного и странного Бога, подобного баснословным животным.

Во-вторых, не уклоняться в иудейскую скудость, рассекая естества с Ариевым, справедливо так называемым, умоисступлением, и не приписывать Божескому естеству зависти, ограничивая Божество одним Нерожденным, как бы из опасения, чтобы Бог не потерпел ущерба, будучи Отцом истинного и равночестного по естеству Бога. Наконец, — не вводить избегнутого уже нами языческого многоначалия, и трех начал, как одного другому не противополагать, так и одного с другим не сопоставлять. Не должно быть такими любителями Отца, чтобы даже отнимать у Него отечество; ибо чьим был бы Он Отцом, если бы Сын или наравне с тварью был отделен от Него и разъединен с Ним по естеству (потому что чуждое уже не Сын), или был смешан и слит с Отцом, и, что тоже значит, сливал Его с Собой? Не должно быть и такими любителями Христа, чтобы у Сына не оставлять даже сыновства (ибо чьим был бы Он Сыном, если бы не имел началом Отца), а у Отца не оставлять преимущества — быть началом, принадлежащего Ему, как Отцу и Родителю. Ибо Отец был бы началом чего-то низкого и недостойного, или, вернее сказать, началом в низком и недостойном смысле, если бы не был началом Божества и благости, созерцаемой в Сыне и в Духе Святом, — в первом, как в Сыне и в Слове, а в другом, как в исходящем и не разрешаемом Духе. Обязательно нужно как соблюсти единство Божие, так и исповедовать три Ипостаси, притом — каждую с личным Ее свойством.

Чтобы достаточно и соответственно достоинству предмета уразуметь и изложить это, — для того потребно слово более продолжительное, нежели каково настоящее время, и даже думаю, какова настоящая жизнь. Особенно же, как ныне, так и всегда, потребен для этого Дух, при одном содействии Которого и можно только о Боге и мыслить, и говорить, и слушать. Ибо к чистому должно прикасаться одно чистое и ему подобное. Теперь же кратко упомянул я об этом, с той целью, чтобы видно было, как трудно беседующему о таких предметах, особенно в многочисленном собрании людей всякого возраста и разных способностей, которое, подобно многострунному органу, требует неодинаковых ударений, трудно, говорю, найти слово, которое бы всех наставляло и озаряло светом знания. Трудно уже и потому, что, как опасность с трех сторон, то есть, от мысли, слова и слуха, то невозможно не преткнуться, если не во всем, по крайней мере в чем-либо одном. Ибо если ум не просвещен, или слово слабо, или слух не очищен, и потому не вмещает слова; от одной из этих причин также, как и от всех, всегда хромает истина. Но трудно еще и потому, что здесь обращается во вред и опасность то самое, что для обучающих чему-либо другому соделывает учение весьма легким и удобоприемлемым, то есть заботливость слушателей о благочестии. Ибо они, как идущие на подвиг за учение о Боге — Существе Высочайшем, и о своем спасении — первейшей для всех надежде, чем горячее в вере, тем с большим упорством внимают слову, почитая покорность ему не благочестием, но изменой истине, и скорее готовы отказаться от всего, нежели от своих мыслей, с которыми пришли, и от привычки к догматам, в которых воспитаны. И замечу еще, что это — недуг люд ей более умеренных и не совершенно худых, которые, хотя грешат против истины, однако же, как подвергающиеся этому из заботливости о благочестии и имеющие ревность, только не по разуму, может быть, и не так строго будут осуждены, и не так сильно наказаны, как отпадающие от воли Господней по злонравию и лукавству. Даже они со временем могут еще переувериться и перемениться по той же заботливости о благочестии, по которой они противились; ежели только коснется их слово, и, как железо в кремень, или внутренне или внешним образом, произведет благовременный удар в их оплодотворенное уже и достойное света разумение, в котором от малой искры весьма скоро может воссиять светильник истины. Но что сказать о людях, которые из-за тщеславия или *любоначалия разглашают клевету* (Пс. 72.8), с велеречием какого-нибудь Ианния или Иамврия вооружаются не против Моисея, но против истины, и восстают против здравого учения? Что сказать о третьем роде людей, которые, из-за невежества и вследствие его — дерзости, с жадностью, как свиньи, кидаются на всякое учение и попирают прекрасный бисер истины? Или о всех тех, которые не имеют у себя ни собственного мнения, ни какого-либо образца, худого или доброго, для учения о Боге, но готовы слушать всякое учение и всякого учителя, чтобы из всего выбрать лучшее и безопаснейшее, и такой выбор доверяют самим себе — худым судьям истины; а потом, переходя и возвращаясь от одной вероятности к другой, нагруженные и подавленные учениями всякого рода, переменив многих учителей и многие писания разбросав легкомысленно, как пыль на ветер, когда утомится и слух, и ум (какое безрассудство!), начинают выказывать одинаковое отвращение ко всякому учению и приобретают гибельную привычку — осмеивать и презирать саму веру нашу, как нечто нетвердое и не имеющее в себе ничего здравого, делая невежественное заключение от учащих кучению, подобно такому человеку, который, имея воспаленные глаза или поврежденные уши, винит солнце или звуки, — первое, что оно темно и не блещет, а последние, что они слабы и беззвучны? Поэтому-то легче вновь запечатлеть истину в душе, которая подобна еще неисписанному воску, нежели по старым письменам, то есть, после принятых худых правил и догматов, писать слово благочестия, в каком случае оно сливается и смешивается с первыми. Правда, что лучше идти по гладкой и битой дороге, нежели по шероховатой и не протоптанной, и легче пахать землю, которую неоднократно резал и умягчал плуг; однако же, лучше писать на Душе, которую не избороздило еще угодное учение и на которой не врезались глубоко начертания порока. Иначе у благочестивого и хорошо пишущего будут два дела — изгладить прежние изображения, и на их место написать лучшие и достойные сохранения. Столько в нас от лукавого лукавых образов и начертаний относительно как прочих видоизменений (παθη) души, так и самого слова; и столько-то трудов для того, кому вверено это детоводительство душ и попечение о них! Но еще большего не коснулось мое слово, чтобы не сделаться обширнее надлежащего.

Если бы кто захотел укротить и сделать ручным многовидного и многообразного зверя, составленного из многих, больших и малых, кротких и свирепых зверей, то, без сомнения, потребовалось бы много труда и усилий, чтобы управлять таким с разными свойствами чудовищным существом; потому что не все звери любят одинаковые звуки голоса, пишу, ласки, свист и другие способы ухода за ними; напротив, для одних приятно и неприятно одно, а для других — другое, по природе и привычке каждого. Что же надлежало бы делать смотрителю такого зверя? Конечно, если хочет хорошо управиться со зверем и соблюсти его, то приобрести для этого многосторонние и разнообразные сведения и употреблять уход, подобающий каждому *свойству зверя.* Так, поскольку общее тело Церкви, подобно одному - сложному и разнородному живому существу, слагается из многих и различных нравов и умов, то Предстоятелю совершенно необходимо быть вместе как простым, относительно к правоте во всем, так, насколько можно более, многосторонним и разнообразным для приличного со всяким обращения, а равно — способным к полезной со всяким беседе. Ибо одни, по способностям младенцы и, можно сказать, еще не окрепшие, требуют себе в пищу молока, то есть самых простых и первоначальных уроков, и не могут принимать словесной пищи, приличной мужу. А если бы кто предложил им такую не по силам пищу, то, вкусив и отяжелев (когда ум, как тело младенца, недостаточен еще к тому, чтобы переварить и усвоить принятое), они понесли бы ущерб даже в прежней своей силе. Другие же, достаточно обучившие чувства к различению истинного и ложного, имеют нужду *в мудрости, проповедуемой между совершенными* (1 Кор. 2,6), и в пище высшей и более твердой. А если бы стали поить их молоком и кормить растениями — пищей слабых, то они совершенно по праву огорчились бы тем, что их не укрепляют во Христе, не дают им возрастать достойным похвалы возрастанием, какое производится словом, которое хорошо вскармливаемого им превращает в мужа и приводит в меру духовного возраста. Но кто же имеет достаточные к тому силы? Мы не способны управлять словом истины и мешать вино с водой, то есть учение, веселящее сердце человеческое, с учением пошлым, дешевым, влачимым по земле, пропадающим и текущим понапрасну, как делают многие. Они, чтобы от такого руководства получить и себе прибыток, беседуют с приходящими о том и о другом, так и иначе, в угождение всякому, подобно каким-нибудь чревовещателям и суесловам, для собственной своей забавы употребляют слова, из земли исходящие и в землю уходящие, как будто тем больше они прославляются в народе, чем больше вредят себе и губят себя, проливая кровь неповинную самых простых душ, которая будет взыскана от рук наших. Напротив, знаем, что лучше другим искуснейшим вручить бразды правления над собой, нежели быть несведущими правителями других, что лучше приклонять благопокорное ухо, нежели двигать не наученный язык. Посоветовавшись об этом с самим собой (может быть, и не худым советчиком, а если и не так, то, по крайней мере, доброжелательным), я рассудил, что незнающему ни того, что должно говорить, ни того, что должно делать, лучше учиться, нежели не зная учить. Ибо счастлив тот, до кого хотя в глубокой старости дойдет старческое слово, которое может принести пользу душе, еще юной по благочестию. А поэтому брать на себя труд — учить других, пока сам еще не научился достаточно, а по пословице, на большом глиняном сосуде учиться делать горшки, то есть, над душами других упражняться в благочестии, по моему мнению, свойственно только людям крайне неразумным и дерзким, — неблагоразумным, если они не чувствуют своего невежества, — дерзким, если, сознавая его, отваживаются на дело.

Мудрейшие из евреев говорят, что у них в древности был один особенно прекрасный и похвальный закон, по которому не всякому возрасту дозволялось читать всякую книгу Писания. Ибо чтение это не было бы и полезно; потому что не всякая книга всякому с первого начала вразумительна, а заключающая в себе более глубокий смысл даже может многим, по своему внешнему смыслу, обратиться в больший вред. Напротив, книги, которые и по внешнему смыслу назидательны, были с самого начала открыты всякому и находились в общем употреблении; а книги, которые под неважной оболочкой скрывают таинственную красоту — награду напряженных исканий и светлой жизни, — сияющую и удобосозерцаемую только для имеющих очищенный ум, доверяемы были уже переступившим двадцатипятилетний возраст, потому что в этом только возрасте человек может стать выше чувственного и с успехом восходить от написанного к духу. Но у нас между временем, когда учить и когда учиться, нет никакого предела, подобного камням, поставленным издревле между коленами за Иорданом и коленами по эту сторону Иордана. У нас не дано дозволений одним на то, другим на другое, и не существует никакого правила относительно способностей; напротив, все это оставлено без внимания и слито. И мы так худо поступаем, что большая часть из нас (чтоб не сказать все) почти прежде, чем острижем у себя первые волосы и оставим детский лепет, прежде нежели войдем во дворы Божий, узнаем наименования Священных Книг, научимся распознавать письмена и писателей Ветхого и Нового Завета (не говорю: прежде нежели омоем душевную нечистоту и гнусность, какими покрыл нас грех), если только затвердим два или три слова о благочестии, и то понаслышке, а не из книги, если хоть немного ознакомимся с Давидом, если умеем ловко надеть плащ или до пояса походить на философа (о чудное председательство и велемудрие! конечно, Самуил священ и в пеленах!): мы уже и мудры, и учителя, и высоки в божественном, первые из книжников и законников, сами себя посвящаем в небесные, желаем *называться учителями,* нимало не смотрим на букву, все хотим разуметь духовно (сколько грез! какое обширное поле пустословию!); и мы стали бы негодовать, если бы нас не очень хвалили. Таковы те из нас, которые еще скромнее и проще других, каковы же более духовные и благороднейшие? Они, если заблагорассудится им, подвергнув нас многим осуждениям и испытаниям и поставив ни во что, удаляются от нас, с презрением даже к сообществу с нами, как с людьми неблагочестивыми. Но если, обратясь к кому из них, спокойно и в логическом порядке спросим так: скажи мне, дивный муж, ты почитаешь за что-нибудь пляску и игру на свирели? — ответят может быть: конечно, почитаем. А также почитаешь за что-нибудь мудрость и быть мудрым, то есть, как мы полагаем, иметь ведение о божественном и человеческом? И в этом уступят нам. Что же назовешь лучшим и высшим? Пляска ли и игра выше мудрости, или мудрость несравненно выше этих искусств? Хорошо знаю, они будут настолько добросовестны, что даже скажут: мудрость выше и всех искусств. Но для пляски и игры на свирели есть науки, и им учатся, и на то нужны время, непрерывные труды и усилия, иногда надобно тратить деньги, приискивать людей, которые бы объяснили науку, предпринимать дальние путешествия, а также делать и терпеть все, чем приобретается опытность. А мудрость, которая все превосходит и заключает в себе все блага в совокупности (так что самому Богу, хотя Он имеет многие наименования, угоднее зваться Премудростью, нежели другим каким именем), ужели почтем для себя столь легким и незатруднительным делом, что всякому стоит только захотеть, и будет мудрым? Большое невежество — так думать! Но если мы (или кто другой ученее и умнее нас) начнем говорить с ними таким образом, чтобы понемногу рассеять их заблуждение; то все это будет то же, что и сеять на камне, или говорить в уши глухому. Так мало в них мудрости даже на то, чтобы сознавать свое невежество. И мне кажется, прилично сказать о них Соломоново слово: *есть зло, которое видел я под солнцем, видел человека, мудрого в глазах своих* (Екк. 10,5. Пр. 26,2), и что еще хуже, получившего право учить других, когда не чувствует собственного невежества. Если какой недуг, то этот именно, достоин слез и смирения. И я неоднократно жалел об этом, хорошо зная, что самомнение отнимает у человека большую часть того, что он собой представляет, и что тщеславие бывает для людей величайшим препятствием к добродетели. А излечить и остановить болезнь могут разве Петр или Павел — великие ученики Христовы, которые, со властью управлять словом и делом, получили дар благодати, и были всем для всех, да всех приобрящут. Для нас же, прочих людей, немаловажно, если будем хорошо управляемы и руководимы теми, кому вверено исправление таких дел и распоряжение ими.

Но поскольку упомянул я о Павле и о подобных ему, то, если угодно, оставив всех прочих, кто только сделался знаменитым — или как законодатель, или как пророк, или как военачальник, или как заведовавший другой какою-нибудь частью общественного благоустройства, не говоря, например, о Моисее, Аароне, Иисусе Навине, Илии, Елисее, Судиях, Самуиле, Давиде, о всем сонме Пророков, об Иоанне, о двенадцати учениках и их преемниках, из которых каждый со многими трудами и усилиями проходил в свое время звание начальника; умолчав обо всех них, одного Павла представлю свидетелем моего слова, чтобы из его примера видеть, что значит иметь попечение о душах, и кратковременных ли занятий, малых ли требует это сведений! А чтобы удобнее это узнать и понять, послушаем, что говорит о Павле сам Павел.

Не буду говорить о его трудах, бдениях, страхах, злостраданиях от голода, жажды, холода и наготы, о злоумышлениях против него неверных, о противодействиях ему верных. Умалчиваю о гонениях, сонмищах, темницах, узах, обвинителях, судилищах, ежедневных и ежечасных смертях, о корзине, о метаниях камнями, о биениях палками, о странствовании, об опасностях и на суше, и на море, и во глубине морской, о кораблекрушениях, об опасностях на реках, об опасностях от разбойников, от сродников, об опасностях лжебратства, о пропитании трудами рук своих, о бескорыстном благовествовании, о том, как Павел был образцом для ангелов и людей, когда, стоя между Богом и людьми, за людей подвизался и к Богу приводил и присоединял народ избранный. Кроме этих внешних подвигов, кто должным образом опишет ежедневную его попечительность, сердобольность, заботливость обо всех церквах, ко всем сострадательность и братолюбие? Претыкался ли кто, — и Павел чувствовал немощь. Другой соблазнялся, а Павел приходил в воспламенение. А его неутомимость в учении, разнообразие способов врачевания, — то человеколюбие, то опять строгость, то смешение и растворение и человеколюбия и строгости; так что ни кротостью не расслабляет, ни суровостью не ожесточает! Он излагает законы рабам и господам, начальникам и подчиненным, мужам и женам, родителям и детям, супружеству и безбрачию, воздержанию и роскоши, мудрости и невежеству, обрезанию и необрезанию, Христу и миру, плоти и духу. За одних благодарит, других укоряет, одних именует своей радостью и венцом, других обличает в безумии. Кто ходит прямо, тем сопутствует и соусердствует, а кто ходит криво, тех останавливает.

Он то отлучает, то утверждает любовь (2 Кор. 2,8), то плачет, то веселится, то поит молоком, то касается тайн, то снисходит, то ведет с собой на высоту, то угрожает палицею (1 Кор. 4,21), то объемлет духом кротости, то возносится с высокими, то смиряется с смиренными. Иногда он — меньший из апостолов, а иногда обещает представить доказательство, что в нем глаголет Христос. Иногда желает отойти и *становится жертвой* (2 Тим. 4,6); иногда признает более нужным для верующих — пребывать ему во плоти. Ибо ищет не собственной пользы, но пользы чад, которых родил во Христе благовествованием, — такова цель и всякого духовного начальства, — во всем презирать свое для пользы других! Павел хвалится немощами и скорбями; как бы некоторым убранством, украшается мертвенностью Иисусовой; он высок и по плоти, но радуется духовным дарам; он не невежда в познании, хотя говорит о себе, что видит сквозь тусклое стекло и гадательно. Бодр духом и изнуряет тело, истощая его, как противника, а вместе не учит ли и не вразумляет ли тем и нас, не превозноситься земным, не кичиться ведением, не восстанавливать плоть против духа? Он за всех ратоборствует, за всех молится, обо всех ревнует, за всех воспламеняется, — и за тех, которые вне закона, и за тех, которые под законом; он проповедник язычников, защитник иудеев. Он дерзал и на нечто большее за братьев своих по плоти (о если бы и мне говорящему это дерзнуть на нечто подобное!). Павел молит из-за любви своей к братьям, чтобы они вместо него приведены были ко Христу. Какое величие души, какая горячность духа! Он подражает Христу, бывшему за нас клятвой, воспринявшему на себя наши немощи, понесшему наши болезни, или, скажу скромнее, он первый после Христа не отрекается страдать за иудеев, и притом как нечестивый, только бы они спаслись. Но к чему перечисляю подробности? Живя не для себя, но для Христа и для проповеди, распяв себе мир и разнявшись миру и всему видимому, Павел все считает маловажным и низким для своего желания, хотя *от Иерусалима и окрестностей даже до Иллирика исполнит благовествование* (Рим. 15. 19), хотя восхищен будет до третьего неба, сделается зрителем рая и услышит непроизнесенные для нас слова.

Таков Павел, таков всякий подобный ему духом! Но мы боимся, чтобы в сравнении с ними не быть *юродивыми князьями Цоанскими (Ис.* 19,11), *или приставниками пожинающими,* или *ложно ублажающими народ,* прибавлю даже, ублажаемыми, *и путь стезей ваших испортившими* (Ис. 3. 12), или *ругателями господствующими,* или начальниками юными, несовершенными умом и не имеющими столько пищи и одеяния, чтобы предводительствовать каким ни есть числом людей (3,4—7), или *пророками-лжеучителями* (9. 15), или *князьями-законопреступниками* (1. 23), которые вместе с отеческими постановлениями достойны злоречия во время жестокого голода (8, 21), или священниками весьма далекими от того, чтобы говорить *к сердцу Иерусалима* (40. 2), так как за все это сильно порицает и обличает очищенный Серафимом и углем Исаия. Итак, ужели, хотя дело это так важно и так многотрудно для сердца чувствительного и скорбного, хотя оно действительная *гниль для костей* (Пр. 14. 30), даже для человека с умом, — однако, опасность не велика, и последствия не заслуживают внимания?

Но на меня наводят великий страх, с одной стороны, блаженный Осия, когда говорит, что нас, священников и начальников, ожидает суд, *потому что были западнею в Массифеи, сетью, раскинутой на фаворе* (Ос. *5.* 1. 2), воткнутой ловцами душ человеческих, и угрожает *пожать* непотребных пророков (5,6), истребить *огнем судей их* (7, 7), удержаться на время, *чтобы ставить царей и князей* (8,10), потому что они царствовали сами собой, а не Богом (8,4), а с другой стороны, божественный Михей, который не терпит, чтобы *Сион созидаем был кровью,* чьею бы ни было, *и Иерусалим неправдой, чтобы главы его за подарки судили, священники учили за плату, и пророки предвещали за деньги* (Мих. 3.10.11). И чем угрожает за это? *Сион распахан будет как поле, Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома этого будет лесистым холмом* (3,12). Оплакивая же такое оскудение добрых правителей, что едва остается где колос или стебель, когда и князь просит и судья говорит из угождения, и восклицая почти следующими словами великого Давида: *спаси меня, Господи, ибо не стало праведных* (Пс. 11.1). Пророк возвещает, что за это оскудеют у них блага, как *бы поядаемые молью* (Мих. 7.4). А Иоиль заповедует нам плач, он хочет, чтобы *служители алтаря рыдали* (Иоил. 1.13) в тяжкое время голода; он вовсе далек от того, чтобы дозволить нам роскошь среди бедствия других, не только повелевает *назначить пост, проповедать цельбу, собрать старцев и младенцев* (2. 15.16) — эти жалкие возрасты, но требует, чтобы священники шли в храм в пепле и вретищах, с глубоким смирением поверглись на землю, *ибо опустошены поля* (1. 10) от бесплодия, *прекратилось приношение и возлияние в доме Господнем* (1. 9), и таким уничижением привлекли милость. А что скажет Аввакум? Его речь пламеннее, он с негодованием обращается к самому Богу и как бы вопиет на Владыку Христа за неправду судей, говоря: *«Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не услышишь, буду вопить к Тебе о насилии, и Ты не спасешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие передо мной, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон, потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратным».* (Авв. 1. 2—4). Потом у Пророка угроза и следующие слова: *посмотрите и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо я сделаю дело* (1. 5). Но нужно ли приводить все слова угрозы? Напротив, по моему мнению, лучше присовокупить к сказанному, как Аввакум, вызвав сперва на среду и оплакав многих учинивших что-либо несправедливое и худое, вызывает, наконец, начальников и учителей злонравия, называя *порок развращением мутным*, опьянением и заблуждением ума, и говорит, что через них напиваются этим ближние, *как взирают* ко тьме душ своих и *пещерам гадов и зверей* (2. 15), то есть, обиталищам худых помыслов.

Таковы перечисленные мной Пророки, и такие они предлагают нам наставления. Но справедливо ли будет оставить без внимания Малахию, который в одном месте жестоко обвиняет и укоряет священников, что *презирают имя* Господне (1. 6), и между прочим присовокупляет, что *приносят на жертвенник нечистый хлеб* (1. 7), жертвуют не из первого урожая, — что, каких даров не принесли бы ни одному из начальников, или какие принесши, себя бы обесславили, такие дары, то есть хромое, недужное, растленное и вовсе нечистое и презренное, приносят Царю всяческих, когда дают обеты; а в другом месте напоминает завет Божий с левитами —*завет жизни и мира,* завет — *боязнью бояться* Господа, и от лица перед *именем Его благоговеть* (2. 5). *Закон истины,* говорит Пророк о Левите, *был в устах его, и неправда не обреталась на языке его: в мире и правде он ходил со Мной и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его.* И какая высокая, а вместе и страшная тому причина! — *ибо он вестник Господа Вседержителя есть* (2. 6). Отказываюсь повторять то, что есть укоризненного в следующих за этим клятвах, — я страшусь истины, но приведу, что легче выговорить, а вместе и полезно. Пророк, как бы с особенным негодованием, и отвергая их священнодействия по причине их развращения, говорит, *что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших* (2.13).

Как скоро вспоминаю о Захарии, трепещу его серпа, а равно и всего, что свидетельствует он против священников. Но что открывает он о знаменитом Иисусе, великом Иерее, которого, изобразив сперва облеченным в ризу гнусную и неприличную, облекает потом в ризу священническую и светлую, а также и то, что говорящим и заповедующим Иисусу представлен у него ангел, — да почтено будет молчанием, как важнейшее и, может быть, настолько высокое, что должно быть относимо не ко многим священникам. Впрочем, то обстоятельство, что и *по правую руку* этого Иисуса *стоял сатана, чтобы противодействовать ему* (Зах. 3. 2), по моему мнению, немаловажно и должно внушать немалый страх и осторожность. У кого же будет столько дерзости и такое алмазное сердце, чтобы, слыша, как Пророк с настойчивостью обличает и укоряет других пастырей, не вострепетать и не смириться в себе самом? *Слышен голос плачущих пастырей, потому что опустошено приволье* их, говорит он, слышно *рыкание львов* (Зах. 11.3), потому что они настолько пострадали. Захария почти слышит сами рыдания, как бы уже настоящие, и плачет вместе с бедствующими. А через несколько слов говорит *еще* разительнее и сильнее: *«Пасите овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател!», и пастухи их не жалеют о них. Ибо «я не буду миловать жителей земли сей, говорит Господь Вседержитель»* (11. 4—6). И еще, простирая угрозы вместе и на начальников народа, говорит: «*О, меч! поднимись на пастырей, порази пастырей, и рассеются овцы! И я обращу руку Мою на пастырей* (13. 7), — *на пастырей воспылал гнев Мой, и агнцев я накажу»* (10. 3). С такой ревностью продолжает он речь и не может удержаться от угроз; почему и опасаюсь, чтобы, повторяя их по порядку, и мне не возбудить против себя ненависти.

Но так говорит Захария; о старцах же, упоминаемых у Даниила, умолчим, ибо хотелось бы умолчать. Умолчим и о том, что справедливо сказано и засвидетельствовано о них Владыкой: *что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин-судей, которые казались управляющими народом* (Дан. 13. 5). Как без страха выслушаем Иезекииля, этого наблюдателя и истолкователя великих тайн и видений? Как выслушаем заповедуемое им *стражам — не молчать о* беззаконии, и *о грядущем на него мече* (Иез. 33. 6); потому что это не принесет пользы ни им, ни согрешающим, напротив, предусмотреть и предвестить полезно или тем и другим, когда одни скажут, а другие выслушают, или, без всякого сомнения, возвестившим? Как примем и другое его нападение на пастырей, то в следующих словах: *беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника, и совета у старцев* (7. 26); то еще в следующих: *Сыне человеческий, скажи ему: ты — земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева! Заговор пророков ее среди нее —яко лев рыкающий, терзающий добычу, души съедают насилием* (22. 24,25), и через несколько слов: *священники ее нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от не святого,* но все для них было одинаково, *и от суббот Моих они закрыли очи свои, и Я уничижен у них* (22.26)? Пророк угрожает разрушить *стену и обмазывающих ее грязью* (13.15), то есть, и тех, которые грешат, и тех, которые прикрывают грехи, что делают худые правители и священники, обольщающие дом Израилев, по внушению сердец своих, преданных похотям своим. Умолчу, что говорит он о тех, которые гаснут *самих себя, млеко едят, волной одеваются, откормленных заколают, а овец не пасут, изнемогшего не подъемлют, пораненного не перевязывают, заблуждающего не возвращают, потерянного не ищут,* и *крепкого* не сберегают, но *оскорбляют трудом,* и стараются погубить; от этого овцы рассыпались по всем полям и горам *без пастырей,* и сделались добычею всякой птицы и всякого зверя, *и никто не разведывает о них, и никто не ищет их* (34. 2—6). Что же потом? Сказано: *живу Я, говорит Господь Бог, за то, что* так делалось *и оставлены стада Мои на расхищение* (34.8): *вот Я на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их* (34. 10); овец соберу и соблюду, а пастыри понесут различные наказания, каких стоят худые пастыри.

Но чтобы не продлить слова, перечисляя всех Пророков и все, что сказано у каждого, обойду молчанием прочих, а упомяну только об одном, который *познан* еще до рождения и *освящен* в утробе матери (Иер. 1,5),— это Иеремия. Он *просит голове воду и глазам источник слез,* чтобы оплакать, как должно, Израиля (9. 1). А не менее того оплакивает он злонравие предстоятелей. Бог, в обличение священников, говорит ему: *«Священники не говорили: «где Господь?» и учители закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня» (2,*8). А потом говорит сам Пророк: *«Пастыри сделались бессмысленными и Господа не искали, а потому и они поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно»* (10.21) *.Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью* (12.10). После этого снова обращает укоризну на самих пастырей: *«Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! Поэтому так говорит Господь к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними, и Я накажу вас за злые деяния ваши* (23. 1. 2). Иеремия хочет, чтобы воскликнули *пастухи, и восплакали вожди стада, ибо исполнились дни их для заклания* (25.34).

Но для чего повторять мне ветхозаветное? Кто, проверив сам себя по правилам и определениям, какие Павел постановил для епископов и пресвитеров, а именно: быть *трезвыми, целомудренными, не пьяницами, не бийцами, назидательными,* во всем неукоризненными и неприкосновенными ни к чему худому (1 Тим. 3.2,3), — кто, говорю, не найдет себя сильно уклонившимся от правоты правил? А какие законы дает Иисус ученикам, посылая их на проповедь? Существенное в них, не говоря о подробностях, состоит в том, чтобы ученики таковы были по добродетели, так благоустроены и соответственны своему званию, и, если должно выразиться короче, столько небесны, что благовествование не менее бы распространялось посредством их жизни, как и посредством слова. Но меня приводят в страх и укоряемые фарисеи и обличаемые книжники. Мы, если желаем небесного царства, по заповеди обязаны намного превосходить их в добродетели; а потому нам будет стыдно перед ними, если окажемся хуже их по своим порокам и услышим справедливые себе укоризны: змеи, порождения ехидны, *вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие, гробы внутри полные скверны, а извне благоукрашенные, по одной внешности чистые блюда,* и другие подобные наименования, какие заслужили и получили фарисеи и книжники (Мф. 23.24—33). Такие мысли не оставляют меня день и ночь, сушат во мне мозг, истощают плоть, лишают бодрости, не позволяют ходить с поднятыми высоко взорами. Это смиряет мое сердце, сокращает ум, налагает узы на язык и заставляет думать не о начальстве, не об исправлении и назидании других (что требует избытка дарований), но о том, как самому избежать грядущего гнева и сколько-нибудь стереть с себя ржавчину пороков. Надобно прежде самому очиститься, потом уже очищать; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других; освятиться, потом освящать. Руководителю необходимы руки; советнику потребно благоразумие.

Когда же это будет? — скажут скорые на все и ни в чем нетвердые, легко созидающие и разрушающие. Когда свеча поставится на подсвечник, и на что употребится талант, то есть дар? — скажут ревностнейшие к дружбе, нежели к делу благочестия. Когда это будет, и какой дам на это ответ вам, преименитые? В таком деле и глубокая старость — недолговременная отсрочка. Ибо седина с благоразумием — лучше неопытной юности, рассудительная медлительность — неосмотрительной поспешности, кратковременное царствование — продолжительного мучительства, подобно как малая доля драгоценности предпочтительнее обладания многим, не имеющим цены и прочности, небольшое количество золота — многих талантов свинца, малый свет — великой тьмы. А что касается поспешности, поползновенности и излишней ревности, — опасно, чтобы они не уподобились или тем семенам, который пали на камни и, будучи неглубоко в земле, тотчас взошли, но не могли вынести первого солнечного зноя, или тому основанию, положенному на песке, которое не устояло при небольшом дожде и ветре. *«Горе тебе, земля, в нем же царь твой отрок», —* говорит Соломон (Екк. 10.16). *Не будь скор в словах* (Пр. 29. 30), — слова того же Соломона, который говорит о скорости в словах, то есть о чем-то меньшем, нежели опрометчивость в делах. Кто же вопреки этому потребует поспешности предпочтительно безопасности и пользе? Кто возьмется, как глиняное какое-нибудь изделие, изготовляемое в один день, образовать защитника истины, который должен стоять с ангелами, славословить с архангелами, возносить жертвы на горний жертвенник, священнодействовать со Христом, воссозидать создание, восстановлять образ Божий, творить для горнего мира, и скажу более — быть богом и творить богами? Знаю, чьи мы служители, где сами поставлены, и куда готовим других. Знаю величие Божие, и человеческую немощь, а вместе и силу. *Небо высоко, земля же глубока* (Пр. 25. 3). И кто из низложенных грехом взойдет на небо? Кто, обложенный еще дольним мраком и грубой плотью, может целым умом ясно созерцать всецелый Ум, находясь среди непостоянного и видимого, вступить в общение с постоянным и невидимым? Даже из самых очищенных едва ли кто может видеть здесь хотя такой образ доброты, каково изображение солнца в водах. *Кто* *исчерпал горстью воду, и пядью измерил небо, и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы* (Ис. 40.12)? *Где место покоя Его* (Ис. 66. 1), и чему из всего Он уподобится? Кто — сотворивший все словом, устроивший человека премудростью, соединивши разлученное, сочетавши плоть с духом, сложивший живое существо — видимое и невидимое, временное и вечное, земное и небесное, касающееся Бога, но не постигающее, приближающееся и далеко отстоящее? *Я сказал: «буду я мудрым»,* говорит Соломон: *но она,* то есть, мудрость, *далека от меня. Далеко то, что было* (Екк. 7. 24. 25). И действительно, *кто умножает познания, умножает скорбь* (Екк. 1.18). Он не столько радуется найденному, сколько скорбит о непостигнутом, как обыкновенно (представляю себе) случается с людьми, которых отвлекают от воды, прежде нежели они утолили жажду, или которые, надеясь что получить, не могут схватить того руками, или от которых мгновенно скрывается озарившее их блистание света.

Это удержало меня долу, сделало смиренным и убедило в том, что лучше слышать глас похвалы, нежели быть истолкователем того, что превышает силы. Величие, высота, достоинство, чистые существа, с трудом вмещающие сияние Бога, Которого покрывает бездна, Которого, как чистейший и для большей части тварей неприступный свет, утаивает тьма. Который во всем и вне всего, Который есть всякая доброта и выше всякой доброты, Который просвещает ум и убегает от быстроты и выспренности ума, настолько всегда удаляясь, насколько постигается, и возлюбленного своего возводя горе тем, что убегает и как бы вырывается из рук: таков и так важен предмет наших желаний и исканий! Таков должен быть невестоводитель, уневещивающий души. И боюсь, чтобы, связав мне руки и ноги, не извергли меня из брачного чертога, как не имеющего на себе брачного одеяния и нагло вторгшегося в круг возлежащих там; хотя и призван я от юности, даже (скажу неизвестное еще многим) *к Нему привержен я от утробы* (Пс. 21. 11), Ему принесет в дар по материнскому обету, а потом и сам, когда опасности укрепили, любовь возросла, и помог рассудок, Восприявшему и Спасшему меня добровольно отдал все: и имение и знатность, и здоровье, и самый дар слова. Из всего этого извлек я ту одну пользу, что презрел это, и нашлось у меня, чему предпочесть Христа. Слова Божий сделались для меня сладки, как соты меда, я *призвал* разум и *дал глас свой* мудрости (Пр. 2. 5)*,* учился умерять гнев, обуздывать язык, уцеломудривать око, укрощать чрево, попирать земную славу, и в этом (безрассудно говорить, однако же, пусть будет сказано) стал я не хуже, может быть, многих. Вести же такую любомудрую жизнь лучше, нежели принять на себя власть и управление душами, и когда еще сам не научился быть хорошим пасомым, не очистил, как должно, душу свою, обязаться должностью — править паствой; притом, в такие времена, когда, смотря на людское крушение и мятежи, всего вожделеннее — бегом бежать из общества, удалиться в надежный приют, укрыться от бури и тьмы лукавого; когда члены одного тела взаимно враждуют, когда исчезает последний остаток любви, а с другой стороны, слово: «иерей», потому что по Писанию, *изливает бесчестие на князей* (Пс. 1б. 40), признается одним пустым именем, — и лучше, если бы оно было одно пустое имя. Ныне же (да обратится хула на главы нечестивых!) изгнан из сердца всеми страх, и его место заступило бесстыдство; кто бы ни пожелал, для всякого открыты и знание, и глубины Духа. Все мы благочестивы единственно потому, что осуждаем нечестие других; а суд предоставляем людям безбожным, повергаем святое псам, мечем бисер перед свиньями, разглашая божественное тем, у кого не освящены и слух, и сердце. Мы сами (о жалкие!) тщательно выполняем желания врагов и не стыдимся любодействовать *в начинаниях* (Пс. 109. 5) своих. Моавитяне и аммонитяне, которым не дозволено входить в Церковь Господню, у нас свободно ходят в самом святилище. Для всех открыли мы не врата правды, но двери злословия и наглости друг против друга. У нас не тот совершеннее, кто из страха Божия не произносит праздного слова, но тот, кто как можно больше злословит о ближнем, или прямо, или намеками, *нося* под языком *своим мучение и пагубу* (Пс. 9.28), или, говоря точнее, *яд аспидов* (Пс. 139. 4). Мы ловим грехи друг друга не для того, чтобы оплакивать их, но чтобы осудить, не для того, чтобы излечить, но чтобы еще уязвить, и раны ближнего иметь оправданием собственных своих недостатков. У нас признаком добрых и злых — не жизнь, но дружба и несогласие с нами. Что ныне хвалим, то завтра осуждаем; что другие порицают, тому дивимся; охотно потворствуем во всем нечестию, — столь мы великодушны к пороку! Все стало, как в самом начале, когда еще не было ни мира, ни теперешнего благоустройства и благообразия, а напротив, вот вещи, будучи слиты в беспорядок, имели еще нужду в образующей руке и силе. А если угодно другое сравнение, то, как во время ночной битвы, при тусклом свете луны, не различая лица врагов и своих, или, как на морском сражении и во время бури, оглушаемые порывами ветров, кипением моря, напором волн, столкновением кораблей, ударами весел, криками начальников, стонами пораженных, в недоумении, не имея времени собраться с мужеством, мы (к довершению бедствия) нападаем друг на друга и друг от друга гибнем. И не мирянин только поступает так, священник же иначе. Напротив, мне кажется, что ныне явно исполняется изреченное издревле в проклятии: *и что будет с народом, то и со священником* (Ос. 4.9). Не один простой народ таков, а сильные, как говорится, в народе и начальники — иные. Напротив, они-то и ведут открытую войну со священниками, в предлог к убеждению обращая благочестие.

С кем бывает это потому, что он стоит за веру, за самые высокие и первые истины, того не порицаю, и если сказать правду, того хвалю и радуюсь с ним. Я желал бы и сам быть в числе подвизающихся и ненавидимых за истину, даже похвалюсь, что действительно принадлежу к их числу. Ибо похвальная брань лучше мира, разлучающего с Богом. Поэтому и Дух вооружает кроткого воина (Иоил. 3.11), как способного хорошо вести войну. Но ныне есть люди, которые с крайним невежеством и с наглостью сами стоят за малости и вовсе не полезные вещи и всякого, кого только могут, принимают в сообщники зла; а все это прикрывают верой, и это достоуважаемое имя безрассудно употребляют в своих состязаниях. За это, естественно, нас ненавидят язычники, и (что всего несноснее) мы не можем даже сказать, что ненавидят несправедливо. И из своих порицают нас самые благонамеренные; нимало же не удивительно, что осуждает народ, который редко одобряет что-либо и доброе. *На хребтах наших орут оратаи* (Пс. 128.8), и что замышляем друг против друга, то обращают против всех. Мы сделались новым позором, но не для ангелов и людей, как мужественнейший из подвижников Павел, ратоборствовавший против начал и властей, но почти для всех ведущих худую жизнь, и во всякое время, и на всяком месте, — на торжищах, на нетрезвых пиршествах, среди веселостей, среди сетований. Мы выведены даже и на зрелища народные (едва не со слезами говорю это), нас осмеивают наряду с самыми развратными людьми, и ничто так не усладительно для слуха и зрения, как христианин, поруганный на зрелище. До этого довели нас наши междоусобия, до этого довели нас те, которые чрезмерно подвизаются за Благого и Кроткого, которые любят Бога больше, нежели сколько требуется. В борьбе или в другом чем не позволено состязаться неустановленным порядком, и тот подвергается осмеянию и бесчестию, даже лишается прав победы, кто борется не по правилам, или в другом чем состязается не в порядке и отступает от положенных для этого уставов, хотя бы он был самый мужественный и искусный. Ужели же подвизающийся за Христа не по Христе угодит тем миру (Еф.2, 14), ратоборствуя за Него недозволенным образом? И доныне еще трепещут демоны при имени Христовом; сила этого Имени не ослаблена и нашими пороками. И мы не стыдимся оскорблять и достопоклоняемое имя Христово, и самого Христа, не стыдимся слышать, как Он почти вслух и ежедневно вопиет: *имя Мое бесславится вас ради* (Ис. 52.5). Не боюсь я внешней брани и восстающего ныне на Церкви зверя — этой полноты лукавого, хотя бы грозил он огнем, мечом, зверями, стремнинами, пропастями, хотя бы превзошел бесчеловечностью всех когда-либо неистовствовавших, изобрел мучительнейшие казни. На все есть у меня одно лечение, один путь к победе, это (похвалюсь во Христе!) — смерть за Христа. Но что касается предстоящей мне брани, не знаю, что мне делать, какой искать помощи, какого слова мудрости, какого дара благодати, в какое облечься всеоружие против козней лукавого. Кто победит этого врага? Моисей ли, распростирающий и руки на горе, чтобы превозмог прообразуемый и прознаменуемый крест? Или после него Иисус, на брань ополчающийся с Архистратигом небесных воинств? Или Давид, то псалмопевствующий, то сражающийся пращами и от Бога перепоясанный силой на брань, или имеющий персты, Богом обученные на брань? Или Самуил, то приносящий свои молитвы и жертвы за народ, то помазующий на царство того, кто может побеждать? Кто оплачет это, как должно? Иеремия ли, написавший плач об Израиле? Кто воззовет: *пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы* (Иоил. 2.17)? Кто будет молиться о нас — Ной ли, Иов и Даниил, вместе молящиеся и вместе упоминаемые (Иез. 14.14), да утишится у нас хотя несколько брань, да придем сами в себя, станем, наконец, узнавать друг друга, да не будем, вместо одного Израиля, и Иудой, и Израилем, Ровоамом, и Иеровоамом, Иерусалимом и Самариею, — этими городами, то предаваемыми за грехи, то оплакиваемыми?

Признаюсь, что я немощен для такой брани; а потому и повернулся спиной, скрыл лице в бегстве. От полноты огорчения возжелал я сидеть в уединении и молчать, зная, что время лукаво, что отвергнуты возлюбленные, и сделались мы сынами отступными— виноград благо-ветвистый, виноград истинный, плодоносный, прекрасный, взращенный орошением свыше, и что для меня обратились в бесчестие диадема доброты моей, печать славы и венец похваления. Но если кто при этом смел и мужествен, то ублажаю его за смелость и мужество. Не говорю еще о борьбе внутренней, которая — в нас самих, в наших страстях и которую воздвигают на нас день и ночь, то явно, то тайно, это тело смирения и рассеянность жизни, мятущая и волнующая нас посредством чувственности и временных удовольствий, и грязь плоти, с которой мы смешаны, и закон греховный, воюющий против закона духовного и стремящийся растлить в нас Царский образ и все, что с ним вложено в нас божественного по происхождению. Почему едва ли кто в состоянии преодолеть влекущее долу естество, разве уже обучил себя долговременным любомудрием и постепенно отторгал от низкого и сопряженного с тьмой, что есть в душе благородного и световидного, или удостоился милости Божией, или сверх того и другого прилагал всевозможное старание вознести взор свой горе. Но пока не побеждена мной, по возможности, плоть, пока не очищен ум, пока далеко не превосхожу других близостью к Богу; не безопасным признаю принять на себя попечение о душах и посредничество между Богом и людьми, что составляет также долг иерея.

И чем же приведен я в такой страх? Не сочтите меня боязливым сверх меры; напротив, похвалите даже мою предусмотрительность. О самом Моисее слышу, что когда беседовал с ним Бог, хотя многие призваны на гору, и в числе их Аарон с двумя сынами священниками, и семьдесят старейшин — народоправителей, однако же, повелено было, чтобы прочие поклонились издалеча, а к Богу приступил один Моисей; народу же не дозволено и восходить на гору (Исх. 24.1.2); потому что не всякий может приближаться к Богу, но только кто, подобно Моисею, способен вместить славу Божию. Да еще и прежде, при самом начале законодательства, трубы, молнии, грозы, мрак, гора вся дымящаяся, страшные угрозы, что если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (Исх. 19. 13), также другие подобные грозные явления удерживали других у подножия горы, и для них много было, после надлежащего очищения, слышать один глас Божий; между тем Моисей и на гору восходит, и вступает внутрь облака, и получает закон, и приемлет скрижали, для народа скрижали с письменами, а для тех, которые выше народа, скрижали духа. Слышу также о Надаве и Авиуде, что они, воскурив фимиам чуждым огнем, наказаны тем самым, в чем оказали нечестие, нашли для себя погибель в самое время и на самом месте нечествования, и хотя отец их Аарон был перед Богом вторым после Моисея, однако же не мог спасти их (Лев. 10. 1. 2). Знаю, что было со священником Илием и, несколько после него, с Озой. Один понес наказание за беззаконие сыновей, когда они при жертвоприношениях осмеливались прежде времени вынимать мяса из котлов, хотя отец и не одобрял такого их нечестия, а напротив, многократно делал им строгие выговоры (1 Цар.2.13.14). Другой наказан единственно за то, что коснулся киота, увлекаемого тельцом; и хотя поддержал киот, однако же сам погиб (2 Цар. 6. б. 7); так Бог охранял досточтимость киота. Знаю еще, что телесные пороки и в священниках и в жертвенных животных подвергались строгому исследованию, и было узаконено, чтобы совершенные приносили совершенное; а это, как думаю, служило символом душевной непорочности. Не позволялось также ни всякому касаться священнической одежды или какого-либо священного сосуда; ни вкушать самих жертв, кому не надлежало, или на неприличном месте и в неприличное время; ни подделывать елей помазания и фимиам служения, ни входить в святилище, если кто хотя мало был нечист душой и телом. Тем более не дерзали часто входить в святая святых, куда доступ дозволялся только одному и единожды в год. Тем более не смел всякий простирать взор или прикасаться к завесе, или к очистилищу, или к киоту, или к херувимам. Итак, зная это, а вместе и то, что всякий недостоин Великого Бога, Архиерея и Жертвы, если не представил он прежде себя самого Богу в жертву живую и святую, не показал опытов благоугодного словесного служения, не принес Богу жертвы хвалы —духа сокрушенного —жертвы, какой только и требует от нас Даровавший нам все, — зная это мог ли я отважиться на то, чтобы приносить ему жертву внешнюю, разнообразную (αντιτυπον) великим таинствам? Могли я облечься в образ и сан иерея, пока не освятил рук преподобными делами, пока не обучил ока взирать здраво на тварь, и единственно удивляться Творцу, а не уничижать Создателя, *пока наказание Господне не открыло уши* мои, не приложено *мое ухо*, *чтобы* не тяжко *слышать* (Ис. 50,5); не *дана золотая серьга с* многоценным *сардийским камнем,* то есть, *слово* мудрого *в ухо внимательное* (Притч. 25,12); пока уста, губы, язык, не раскрылись и не *привлекли Духа* (Пс. 118.131), не *открылись* и не *наполнились* (Пс. 80.11) духом изрекаемых таинств и догматов, пока уста, по слову мудрости, не стали *связаны* божественным чувством (Притч. 15.7), чтобы им (прибавлю к этому) и открываться благовременно, а язык не исполнился радостью, не стал органом божественного сладкопения, возбуждаемый славой, *встав рано* (Пс. *56.*9) и трудясь, доколе не прилипнет к гортани; пока ноги мои не поставлены *на камни* (Пс. 39, 3), не стали как ноги оленей (Пс. 17. 34), и *стопы мои не направлены по Богу* (Пс. 118. 133*), ни вмале, ни* вовсе *не проливаясь,* пока всякий член не сделался *орудием правды* (6,13), не отложил всякую мертвенность, *поглощенную жизнью (2* Кор. 5.4) и уступившую место Духу? У кого не воспламеняют сердца чистые, огнем искушенные слова Божий, когда открываются ему Писания; кто не написал их *трижды на широте сердца* (Пр. 22.21), чтобы иметь *ум Христов* (1 Кор. 2.16); кто не входил в сокровенные от многих, невидимые и темные сокровищницы (Ис. 45.3), чтобы видеть их богатство и прийти в состояние обогащать других, *духовное духовным соображая* (1 Кор. 2.13); кто невиден еще, как должно, *красоту Господню* и не *посещал храм Его,* лучше же сказать, кто сам не сделался храмом Бога Живого, живым жилищем Христовым в духе; кто не познал сродства и различия между образами и действительностью, не отступил от первых и не приложился к последней, чтобы, избежав *ветхости буквы, работать в обновлении духа* (Рим. 7,6) и перейти совершенно к благодати от закона, исполненного духовно в измождении тела; кто опытно и умозрительно не исследовал всех наименований и сил Христовых, как высочайших и первых, так и низших и последних, принадлежащих Христу по человечеству, именно же, что Он — Бог, Сын, Образ, Слово, Премудрость, Истина, Свет, Жизнь, Сила, *Пара, Излияние* (Прем. Сол. 7. 25), Сияние, Творец, Царь, Глава, Закон, Путь, Дверь, Основание, Камень, Бисер, Мир, Правда, Освящение, Избавление, Человек, Раб, Пастырь, Агнец, Архиерей, Жертва, *Рожденный прежде всякой твари* (Кол. 1. 15), *Первенец* по воскресению *из мертвых* (18); кто без пользы слышит эти наименования и вещи, не входит в общение со Словом и не постигает, в каком отношении, каждым из них Оно есть и именуется, кто не прилагал старания, и не учился постигать *премудрость Божию, тайную, сокровенную* (1 Кор. 2.7); кто — еще младенец, питается молоком, не сопричтен к Израилю, не вписан в воинство Божие, не способен, как следует, взять на себя крест Христов; кто не стал, может быть, никаким еще почетным членом *тела Христова —* тот ужели охотно и с радостью примет, чтобы поставили его во главу полноты Христовой? По крайней мере я не даю на это решения и совета. Напротив, вижу здесь причины к самому сильному страху и самую крайнюю опасность для создающего, и важность преуспевания, и пагубные последствия погрешения в деле. Пусть другой, рассуждал я, кто многоопытен в мореходстве и торговле, плывет за товарами, переходит обширные моря, борется всегда с ветрами и волнами, многое, если удастся, приобретая и много бедствуя. А для меня, который держится суши, ведет неглубокую и легкую борозду жизни, с выгодами и морем раскланивается издали, приятнее жить так, как могу, с небольшим и скудным куском хлеба, и влачить дни в безопасности и безмятежности, нежели для больших выгод подвергаться долговременной и большой опасности. Для человека, поставленного высоко, и то уже потеря, если он не предпринимает большего, не распространяет доблестей своих на многих, но останавливается на малом числе людей и как бы большим светом освещает малый дом или юношеским всеоружием покрывает детское тело. А для человека малозначительного всего безопаснее нести малое бремя, не возбуждать смеха и не увеличивать опасности возложением на себя чего-либо не по силам. Ибо, как слышим, и башню строить прилично тому только, у кого есть, чем ее завершить (Лк. 14.28).

Итак, перед вами — оправдание моего бегства, и оправдание, может быть, не недостаточное. Это-то и удалило меня от вас, друзья и братья, правда, к прискорбию моему, а может быть, и вашему, однако же по необходимости, по крайней мере, как мне тогда представлялось. Возвратили же меня, во-первых, приверженность моя к вам и чувство вашей взаимной ко мне приверженности (ибо взаимное расположение всего более укрепляет любовь); а во-вторых, собственная моя *забота,* собственное мое дело — седины и немощь священных родителей, болезнующих более обо мне, нежели о летах своих, — этого Авраама Патриарха, драгоценной и равноангельной для меня главы, и Сарры, духовно рождающей нас учением веры. Для них быть жезлом в старости и опорой в немощи — составляло первый данный мной обет, который и исполнял я по возможности, так что презирал и само любомудрие — это стяжание и имя всего для меня драгоценнейшее, или справедливее сказать, в том и оказал я свое любомудрие, чтобы не казаться любомудрствующим. Почему нестерпимо для меня стало — по одному поводу потерять весь труд и лишиться благословения, которое, как сказано об одном из ветхозаветных праведников, даже восхитил он, введя отца в обман снедью и накладными волосами, уловив доброе недобрым средством — через ухищрение. Итак, две причины моей уступчивости и кротости; и, может быть, ни малой нет несообразности в том, что против этих двух причин не устояли и поколебались прежние мои рассуждения. Ибо думаю, что иногда также благовременно — уступить над собой победу, как бывает время и для всякого другого дела; и лучше быть честно побежденным, нежели одержать победу со вредом и незаконно. В-третьих же (вот самая важная причина моего возвращения! сказав о ней, умолчу уже о прочих), я вспомнил о временах давних, и встретив одно древнее сказание, извлек из него наставление для себя в настоящем обстоятельстве.

Ибо полагаю, что заключающееся в Писании не без цели написано, и не одна куча слов и предметов, собранная для развлечения слушающих, не какая-нибудь приманка для слуха, служащая только к забаве. Такова цель баснословии и тех эллинов, которые, не слишком заботясь об истине, очаровывают слух и сердце изяществом вымыслов и роскошью выражений. Но мы, тщательно извлекающие духовный смысл из каждой черты и буквы, нимало не согласны думать (это было бы и несправедливо), чтобы и самые малозначительные деяния без какой-либо цели были и писателями подробно описаны и до этого времени сохранены на память. Напротив, цель их — служить памятниками и уроками, как судить в подобных, если встретятся, обстоятельствах, чтобы мы, следуя этим примерам, как некоторым правилам и предначертанным образцам, могли одного избегать, а другое избирать.

Какое же сказание, и в чем состоит наставление? Может быть, не худо будет рассказать это для утверждения многих. Бежал и Иона от лица Божия или, вернее сказать, думал убежать, но удержан был морем, бурей, жребием, чревом кита и трехдневным погребением, которое послужило образом высшего таинства. Но Иона бежал, чтоб не идти к ниневитянам с печальной и необыкновенной вестью и чтобы впоследствии не оказаться лжецом, если город спасется через покаяние. Ибо не спасение злочестивых огорчало его, но он стыдился быть служителем лжи и как бы ревновал о достоверности пророчества, которая в нем могла подвергнуться сомнению, потому что многие не способны проникать в глубину Божия домостроительства об этом. А как слышал я об этом от одного мудрого мужа, который не неприлично объяснял видимую несообразность сказания и способен был понять глубокий смысл пророка, — не такая причина сделала блаженного Иону беглецом, и укрывшегося на море привела в Иоппию, а из Иоппии вела в Фарсис. Невероятно, чтобы он, будучи пророком, не знал Божия намерения, то есть, что Бог, по Своей великой премудрости, по неиспытуемым судьбам, неисследным и непостижным путям Своим, самой угрозой производил то, чтобы ниневитяне не потерпели предсказанного в угрозе. А если пророк знал это, то невероятно также, чтобы он не покорился Богу, благоугодным Ему образом устроившему спасение ниневитян. Думать же, что Иона надеялся укрыться в море и спастись бегством от великого ока Божия, было бы совершенно нелепо и невежественно; такая мысль была бы несправедлива не только о пророке, но и обо всяком другом человеке, имеющем разум и сколько-нибудь познавшем Бога и Его всепревосходящее могущество. Напротив, Иона, как говорит рассуждавший об этом муж, в чем и я убежден, лучше всякого другого знал и то, что будет следствием проповеди ниневитянам, и то, что он сам, замысливши бегство, хотя переменит место, но не убежит от Бога; как не избег бы и всякий другой, хотя бы укрылся в недрах земли, в глубинах моря, изобрел средство подняться на крыльях и летать по воздуху, снизошел в преисподнюю ада, или облекся густотой облака, или придумал другой возможный способ к утаиванию побега. Напротив, ежели Бог захочет кого остановить и удержать в руке Своей, то это всего неизбежнее, всего неодолимее. Он предускоряет быстрых, перехитряет хитрых, низлагает сильных, смиряет высоких, укрощает дерзновенных, подавляет всякую силу. Поэтому, конечно, знал крепкую руку Божию Иона, который угрожал ею другим, и он не думал, что вовсе убежит от Бога. Это нимало не вероятно. Но поскольку Иона предвидел падение Израиля и предчувствовал, что пророчественная благодать переходит к язычникам, то он уклоняется от проповеди, медлит в исполнении повеления, и, оставив сторожевую башню радости, что на еврейском значит Иоппия, — то есть древнюю высоту и достоинство, ввергает сам себя в море скорби. Потому и обуревается, и спит, и терпит кораблекрушение, и пробуждается от сна, и подпадает жребию, и сознается в бегстве, и погружается в море, и поглощается китом, но не истребляется, а призывает там Бога, и (какое чудо!) подобно Христу по прошествии трех дней возвращается оттуда.

Но оставим об этом слово, в надежде, если даст Бог, обстоятельнее поговорить впоследствии. А теперь, чтобы речь возвратилась к своему предмету, остановлюсь на той мысли и на том рассуждении, что для Ионы, может быть, и извинительно было, по изложенной выше причине, отрекаться от пророческого служения. Но осталось ли бы какое извинение и место к оправданию для меня, если бы стал я долее упорствовать и отказываться от возлагаемого на меня (не знаю как назвать), легкого или тяжелого, но все же ига служения. Ибо ежели бы иной не спорил бы со мной о том (что одно и можно в настоящем случае сказать как нечто твердое), что я весьма недостоин священнослужения перед Богом и что прежде надобно сделаться достойным церкви, а потом уже алтаря, и прежде достойным алтаря, а потом уже — председательства; то другой, может быть, не освободил бы меня от обвинения в неповиновении. Но страшны угрозы, ужасны наказания за неповиновение, равно как и за противное этому, если кто нимало не смущается, не отказывается и не скрывается, как Саул, в отцовском *обозе* (IЦар. 10.2 2), как скоро слегка призывают его к принятию начальства, но с готовностью, как за самое легкое и удобное дело, берется за то, в чем небезопасно переменять намерение и принятое поправлять новым.

Поэтому-то я долго боролся с мыслями, придумывая, как поступить, и находясь между двумя страхами, из которых один принуждал меня оставаться внизу, а другой — идти вверх. И после многих недоумений, склоняясь на ту и другую сторону, или, подобно струе, гонимой противоположными ветрами, текущей то туда, то сюда, наконец, уступил я сильнейшему; меня победил и увлек страх оказаться непокорным. И смотрите, как прямо и верно держусь я среди этих страхов, не домогаясь начальства не данного и не отвергая данного. Ибо первое означало бы дерзость, последнее же — непокорность, а то и другое вместе — невежество. Но я соблюдаю середину между слишком дерзновенными и между слишком боязливыми; я боязливее тех, которые хватаются за всякое начальство, и дерзновеннее тех, которые всякого избегают. Так я понимаю это дело, и выражусь еще яснее: против страха быть начальником подаст, может быть, помощь закон благопокорности; потому что Бог по благости Своей вознаграждает веру и делает совершенным начальником того, кто на Него уповает и в Нем полагает все надежды. Но не знаю, кто будет помощником и какое слово внушит упование в случае непокорности. Ибо опасно, чтобы нам о вверяемых нашему попечению не услышать следующего: «души *их от рук ваших взыщу* (Иез. 3.18). Как вы отказали Мне и не захотели быть вождями и начальниками народа Моего, так и Я откажу вам и не буду вашим царем. Как вы не послушали гласа Моего, но презрительно повернулись ко Мне спиной и не повиновались, так будет и вам; когда призовете Меня, не обращу внимания на молитву вашу и не услышу ее». Да не придет на нас такой приговор Праведного Судии, Которому *воспеваем милость,* но вместе воспеваем, конечно, и *суд* (Пс. 100.1)!

А я обращаюсь опять к истории, и рассматривая самых благоискусных мужей в древности, нахожу, что из Утех, кого благодать избирала когда-либо в звание начальника или пророка, одни с готовностью следовали избранию, а другие медлили принимать дар; но ни те, ни другие не подвергались осуждению, как отрекавшиеся — за боязнь, так и изъявившие согласие — за ревность. Ибо одни устрашались важности служения, а другие повиновались по вере в Призывающего. Аарон изъявил готовность, а Моисей прекословил. С готовностью повиновался Исаия, а Иеремия страшился юности и не прежде отважился на звание пророка, как получив от Бога обещание и силу, превышающую возраст. Этими размышлениями успокаиваю я сам себя, и душа моя понемногу уступает и смягчается, как железо; а в помощники к этим размышлениям беру я время, и в советники — Божий оправдания, которым верил я всю жизнь свою. Поэтому не *воспротивлюсь, не отступлю назад* (Ис. 50.5) (слова моего Владыки, не к начальствованию призываемого, но *как овца ни заклание* (Ис. 53. 7) ведомого), даже склоняюсь и смиряюсь под крепкую руку Божию и прошу извинить прежнюю мою леность и непокорность, если сколько-нибудь виновен я в этом. Я умолкал, но не всегда буду молчать; удалился не надолго, насколько было нужно, чтобы рассмотреть себя и доставить себе утешение в скорби, но теперь готов *возносить Его в собрании народном и славить в сонме старейшин* (Пс. 106.32). Если за одно должно осуждать, то за другое можно извинить.

Но к чему мне продолжать слово? Я с вами, пастыри и сопастыри! С тобой, святая паства, достойная Архипастыря Христа! И ты, отец мой, совершенно победил и подчинил меня более по Христовым, нежели по мирским законам. Видишь благопокорность; возврати благословение. И сам руководствуй молитвами, путеводствуй словом, утверждай духом. *Благословение отца утверждает домы детей* (Сир. 3.9). О, если бы утвердиться мне и этому духовному дому, который избрал я и о котором молюсь, чтобы он и для меня был упокоением во веки веков, когда из здешней церкви препослан буду к церкви тамошней — к торжеству первородных, написанных на небесах! Таково и столь справедливо мое моление!

Бог же мира, сотворивший обоих едино и возвративший нас друг другу, возводящий царей на престолы и воздвигающий с земли убогого, из низкого состояния возвышающий нищего, избравший Давида, раба Своего и взявший от стад овечьих того, кто был младшим и юнейшим из сынов Иессеевых, дающий слово благовествующим силой многой во исполнение Евангелия, Сам, пася пастырей и водя вождей, да поддерживает правую руку нашу, да путеводствует по воле Своей, и да примет со славой, чтобы и нам упасти паству Его благоразумно, а не *со снарядами глупого пастуха (Зах.* 11,15), — одно поставлено у древних в числе благословений, а другое в числе проклятий; Сам *да даст силу и крепость народу Своему* (Пс. 67.36), Сам да представит Себе паству славной и нескверной, достойной горнего двора, в обители веселящихся, во светлости святых, чтобы во храме Его все мы, и паства и пастыри, вместе могли вещать славу, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому всякая слава во веки веков, аминь!

# СЛОВО 4. Первое обличительное на царя Юлиана

*Слушайте это, все народы; внимайте все, живущие во Вселенной* (Пс. 48.2). Как бы с некоторого возвышения, далеко кругом видимого, всех призываю, ко всем обращая сильную и высокую проповедь. Внимайте народы, племена, языки, люди всякого рода, всякого возраста, — все, сколько есть теперь, и сколько будет на земле! И да прострется далее моя проповедь! Внимайте мне все небесные Силы, все Ангелы, которыми совершено истребление мучителя, низложен — не Сион, царь Амморрейский, не Ог, царь Васанский (небольшие владетели, делавшие зло небольшой части Вселенной — Израилю), — но *змий* (Иез. 29. 3), отступник, *великий ум* (Ис. 10. 12), Ассирианин, общий всем враг и противник, и на земле, делавший много неистовств и угроз, и *в высоту* (Пс. 72.8) говоривший и замышлявший много неправды! *Слушайте небеса, и внимай земля* (Ис. 1.2)! И мне теперь прилично возгласить одно с велеречивейшим из Пророков Исаиею! В одном у нас отличие: Пророк призывает небо и землю в свидетели против отказавшегося от Бога Израиля; а я призываю против мучителя, и отказавшегося, и падшего — падением достойным нечестия. Внимай, если слышишь нас, и ты, душа великого Констанция! Внимайте христолюбивые души до него бывших царей! Особенно же да внемлет душа Констанция, который сам возрастал с наследием Христовым и, постепенно утверждая его, взрастил в такую силу, что стал через это именитее всех прежних царей. Но (какое посрамление!) он впал в грех неведения, весьма недостойный его благочестия; сам не зная, воспитал христианам врага Христова; из всех дел своего человеколюбия оказал одну худую услугу тем, что спас и воцарил ко вреду спасенного и царствовавшего. А потому, о если бы Констанция особенно обрадовало, как разрушение нечестия и восстановление прежнего благосостояния христиан, так и это слово!

А я принесу слово в дар Богу священнейший и чистейший всякой бессловесной жертвы, принеся не по подражанию мерзким речам и суесловию, а еще более мерзким жертвам богоотступника, которых обилие и богатство состояли в силе нечестия и в немудрой, скажу так, мудрости; так как и вся сила и ученость века этого во тьме ходит и далека от света истины. Но если такова эта мудрость, в таких бывает людях, такие приносит плоды, —как трава, скоро засыхает, как *зеленеющий злак* (Пс. 36. 2) скоро опадет и преходит вместе с породившими ее, которые погибают с шумом и привлекают внимание более падением, нежели нечестием своим; то мне приносящему ныне жертву хвалы и сжигающему бескровный дар слова, кто составит такое зрелище, которое бы равнялось благодарности! Какой язык будет так громозвучен, как я того желаю? Чей слух не уступит в ревности слову?

Благодарение же, воздаваемое посредством слова, не только более всего свойственно Слову, Которое из всех других наименований преимущественно благоугождается этим наименованием и нашей способностью именовать Его, но и тому послужит приличным возмездием, когда за преступление против дара слова будет он наказан словом. Тогда как дар слова есть общее достояние всех словесных тварей, Юлиан, присваивая его себе, ненавидел в христианах, и хотя почитался даровитейшим в слове, однако же о даре слова судил крайне неразумно. Во-первых, неразумно тем, что злонамеренно, по произволу, толковал наименование, будто бы эллинская словесность принадлежит язычеству, а не языку. Почему и запрещал нам образовываться в слове, как будто такое наше образование было похищением чужого добра. Но это значило то же, как если бы не разрешать нам и всех искусств, какие изобретены у греков, а присвоить их себе по тому же сходству наименования. Потом, неразумно он надеялся, будто бы скроется от нас, что не нас, которые очень презирают такую словесность, лишает он одного из первых благ, но сам страшится обличений в нечестии, предполагая, может быть, что сила обличения зависит от красоты слога, а не от разумения истины, и не от доказательств, от которых удержать нас также невозможно, как и сделать, чтобы мы, пока имеем язык, не исповедовали Бога. Ибо мы вместе с прочим и это, то есть слово, посвящаем Богу, как посвящаем тела, когда нужно и телесно бороться за истину. Поэтому, дав такое повеление, хотя запретил он и говорить красноречиво, однако же не воспрепятствовал говорить истину. А таким образом и бессилие свое обличил, и не избег обличений в нечестии, если не подвергся еще большим за свою ошибку. Ибо само его запрещение пользоваться нам даром слова показывало, что он не полагался и на правоту своей веры, и на сам дар слова. Он походил на человека, который почитает себя сильнейшим из борцов и требует, чтобы все провозгласили его сильнейшим, а между тем отдал приказ, чтобы ни один сильный борец не смел бороться и не являлся на поприще. Но это — доказательство робости, а не мужества! Венцы даются тем, которые боролись, а не тем, которые сидели вверху; тем, которые напрягали все силы, а не тем, которые лишены употребления большей части сил. Если же действительно боялся ты сойтись и вступить в битву; то этим самым признал над собой победу и без борьбы уступил верх тому, с кем из-за того и препирался, чтобы не вступать в борьбу. Так поступил наш мудрый царь и законодатель! И как будто для того, чтобы все испытало его мучительство и провозглашало его неразумие, в самом начале своего царствования он прежде всего употребил насилие против дара слова. Но нам прилично воздать благодарение Богу и за то, что сам этот дар получил свободу. Нам особенно должно, как почтить Бога другими приношениями, не щадя ничего — ни денег, ни имущества, которые временны, и человеколюбием Божиим соблюдены от насилия, так преимущественно почтить словом — плодоношением праведным и общим для всех, получивших милость. Но довольно говорить о даре слова; иначе, распространившись чрезмерно, преступим пределы времени и подадим мысль, что заботимся о чем-то ином, а не о том, для чего собрались.

И уже порывается и течет к торжествованию мое слово; оно облекается в веселье, как и все видимое; оно всех призывает к духовному ликованию — всех, кто постоянно пребывал в посте, в сетовании и в молитве, и днем и ночью просил избавления от окружающей скорби и надежное врачевание от зол находил в *не посрамляющем уповании* (Рим. 5.5), — всех, кто перенес великие борения и подвиги, кто выдержал многие и тяжкие удары этого времени, кто, по выражению апостола, был *позорищем миру и Ангелам и человекам* (1 Кор. 4.9), кто, хотя изнемогал телом, однако же остался непобедимым по духу, и все возмог о *укрепляющем его Христе* (Фил. 4. 13); всех, кто отложил все, что в мире служит греху, и мирскую власть; *к горасхищение имения с радостью принял* (Евр. 10.34); кто неправедно был изгнан из собственного, как говорится владения; кто некоторое время терпел разлуку или с мужем, или с женой, или с родителями, или с детьми, или какие есть еще наименования не столь близкого свойства, привязывающие нас к людям, и кто в дар Христовой крови приносил страдания за Христа, так что ныне справедливо может о себе сказать и воспеть: *посадил человека на главу нашу; мы вошли в огонь и воду, и ты вывел нас на свободу* (Пс. 65.12).

Призываю к торжеству и другую часть людей, которые исповедуют Бога всяческих и держатся в том здравых понятий, но не постигают распоряжений Промысла, часто из горестных событий устраивающего лучшее и благостно призывающего к исправлению. Они по нищете души и по легкомыслию возгораются и воспламеняются помыслами, по *гордости преследуются нечестивым* (Пс. 9. 23), не могут сносить *мира грешников* (Пс. 72.3), как говорит Псалом, не ждут исполнения *совета Божия* (Пс. 105.13), и не соблюдают равнодушия до конца; однако же, будучи рабами одного настоящего и видимого, утверждаются в истине чудесами, подобными совершившимся ныне. Призываю и тех, кого приводит в изумление лицедейство и великое позорище мира этого, призываю словами *Исамы жены, грядущие с позорища, придите* (Ис. 27. 11), отвратив душевное око от внешних предметов, по которым оно блуждало, *остановитесь и познайте, что Я—Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле* (Пс.45.11),как всегда, во всех творимых Им знамениях и чудесах, так еще очевиднее в чудесах настоящих.

О, если бы составил часть нашего лика и тот собор, который прежде с нами вместе воспевал Богу неподдельную и чистую песнь, даже удостаивался некогда стоять по правую сторону и, как надеюсь, вскоре опять удостоится! Но не знаю, по какому побуждению, он вдруг изменяется, отделяется и (чему особенно дивлюсь) не приступает к общему веселью, но составляет (как, может быть, и сами дозволят мне выразиться) какой-то свой нестройный и несогласный лик. Сказать, каков и чей это лик, хотя и побуждает меня ревность, однако же останавливает вера. Удерживаемый надеждой, не произнесу ничего неприятного; ибо до сих пор щажу их, как собственные члены, и внимаю больше прежней любви, нежели настоящему отвращению. Для того поступаю великодушнее, чтобы чувствительнее укорить впоследствии.

Одну только часть, один род людей отлучаю от торжества. Хотя сам сокрушаюсь и скорблю, хотя проливаю слезы, когда, может быть, они и не внимают мне, хотя сетую о нечувствующих собственной погибели, что и делает раны их достойнейшими большего сожаления; однако же отлучаю. Посеянные не на твердом и непоколебимом, но на сухом и бесплодном камне (таковы приступающие к слову легкомысленно и маловерные), *потому что земля была неглубока* (Мф. 13. 5), скоро прозябшие и готовые на все в угождение ближним, они впоследствии при слабой попытке лукавого искусить, при малом искушении и дуновении знойного ветра увяли и умерли. Но еще хуже этих последних, еще более достойны отлучения от торжества все те, которые нисколько не противились ни силе времени, ни увлекающим нас в пагубный плен от Восшедшего на высоту и Пленившего во спасение. Они оказались даже произвольно злыми и низкими, не сделав и малейшего противоборства, соблазнившись, когда не было им никакой скорби и никакого искушения ради слова, и (подлинно жалкие люди!) продали собственное свое спасение за временную корысть, за ненужную услугу или власть.

Поскольку же сказано, кто может и кто не может составлять наш лик, то очистим, по возможности, и тела и души, настроим все один голос, соединимся единым духом и воспоем ту победную песнь, которую некогда, ударяя в тимпан, предначала Мариам, а за нею воспел Израиль, о потоплении египтян в Черном море: *Поем Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море* (Исх. 15.21) — но не в море; меняю это в песне; а куда ему было угодно, и как определил Сам Он — *творит все и претворяет,* как сказал в одном месте своего пророчества богодухновенно любомудрствующий Амос, *и превращает в ясное утро тень смертную, а день в ночь темную* (Ам. 5.8). Тот, кто, как бы некоторым кругом располагает и ведет весь мир. И все, что нас касается, — и зыблющееся и незыблемое, попеременно и поступающее вперед и обращаемое назад, бывающее в разные времена и так и иначе, — в порядке Промысла, твердо и непоколебимо; хотя и идет противоположными путями, известными Слову и неведомыми для нас. Господь низлагает *сильных с престолов* (Лк. 1.5 2) и *того, о ком не думали,* украшает *венцом* (Сир. 2.5); заимствую и это из Божественного Писания. Он немощные колена облачает мужеством и сокрушает *мышцы нечестивых и неправедных* (Пс. 36.17); и это беру из другого Писания, как приходит мне на память, которое либо из многих мест, восполняющих мою песнь и слагающихся в одно благодарение. Он дает нам видеть и возношение нечестивого выше кедров, и обращение его в ничтожество; если только смогли мы скорой и непреткновенной ногой пройти мимо его нечестия. Кто же из поведающих дела Божий воспоет, как должно и поведает это? *Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его* (Пс. 105.9)? Какой голос, какой дар слова будет соразмерен этому чуду? *Кто сокрушил оружие и меч и брань* (Пс. 75.11)? Кто *сокрушал головы змиев в воде?* Кто *дал того в пишу людям* (Пс. 73. 13.14), которым и предал его? Кто превратил бурю в прохладный ветер? Кто сказал морю: *умолкни, перестань* (Мк. 4.39), *здесь предел надменным волнам твоим* (Иов. 38.11),-и потом быстро усмирил воздымавшиеся и кипевшие воды? Кто даровал власть *наступать на змей и на скорпионов* (Лук. 10,19),которые не тайно уже блюдут пяту, как изречено в осуждении, но явно восстают и подъемлют главу, осужденную на попрание? Кто сотворил *суд и правду* (Ам. 5.7), сотворил так неожиданно? Кто не оставил навсегда *жезла нечестивых* (могу ли смело сказать *над жребием праведных* (Пс. 124.3)? — или выразиться скромнее?), над жребием ведающих Его? Ибо мы были не как праведные преданы (немногим, и притом редко, дается, чтобы они, как мужественные подвижники, посрамили искусителя), но как грешные осуждены, и потом милосердо и отечески помилованы; осуждены, чтобы пораженные уцеломудрились, и вразумленные к нему обратились. Он обличил нас, но *не яростью;* наказал, но *не гневом* (Пс. 6.12); тем и другим, и напоминанием, и снисхождением явил Свое человеколюбие. Кто *сотворил мщение над народами, наказание над племенами* (Ис. 149,7) Господь *крепкий и сильный, Господь, сильный* в *брани* (Пс. 23.8). Одно нахожу место, один стих в некотором отношении сообразный настоящему торжеству. Его прежде нас возгласил Исаия, и он весьма приличен нынешнему времени, соответствует величию благодеяния. *Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду* (Ис. 45,8); *веселись, земля, и восклицайте, горы, от* радости (Ис. 49,13)! Ибо и все твари и небесные Силы разделяют наши чувствования (присовокупляю это от себя) даже при событиях, подобных настоящему. Тварь, подлежащая тлению, то есть, которые долу рождаются и умирают, не только совоздыхает и соболезнует, в ожидании конца их и откровения, чтобы тогда и ей получить чаемую свободу, подобно, как ныне, силой Творца, невольно предана тленным, но также сопрославляется и сорадуется, когда веселятся чада Божий. Итак, *возвеселится пустыня и расцветет как нарцисс* (Ис. 3. 5,1) (не могу не употреблять Божественных изречений, возвышая Божию силу); да веселится Церковь, которая вчера и задень, по-видимому, сиротствовала и вдовствовала! Да веселится всякий, кто до сих пор был угнетаем нестерпимой и жестокой бурей нечестия! Ибо помиловал Господь людей *Своих, и наследуя Своего не оставил* (Пс. 93. 14); сотворил *чудные дела, совет древний истинный* (Ис. 25. 1), — совет о том, чтобы благоволить к *боящимся Его* и *к уповающим на милость Его* (Пс. 146. 11). *Ибо сокрушил Он врата медные и вереи железные сломил* (Пс. 106. 16). Мы за беззакония наши смирены были; но воззваны и избавлены *из сети ловящих* (Пс. 123.7) благодатью призвавшего нас и смиренных сердцем утешающего Бога.

Видите, как слагаю песнь, в которой и слова и мысли божественны! Сам не знаю, почему горжусь и украшаюсь чужим, от удовольствия делаюсь, как вдохновенный; а презираю все низкое и человеческое, когда одно с другим сличаю и согласую, и что единого Духа, то привожу в единство.

И прежде являли нам чудеса Божий: Енох, вознесенный Богом; Илия, взятый на небо; Ной, спасаемый и спасающий *малым* *деревом* (Прем. 10.4) мир — семена родов, спасшихся от всемирного потопа, чтобы земля снова украсилась обитателями более благочестивыми; Авраам призываемый; когда уже не обещал возраст, награждаемый сыном, во уверение о другом обетованном Семени; приносящий единородного — добровольную жертву, и вместо сына приемлющий неожиданную жертву. То же явили чудная погибель нечестивых, потопленных огнем и серой, и еще более чудесное исхождение благочестивых; столп соляной — памятник обращения ко злу.

То же явил Иосиф продаваемый, соблазняемый, целомудренный, умудряемый Богом, освобождаемый, поставленный властелином и раздателем хлеба для высшего домостроительства; Моисей, удостоенный богоявления, приемлющий законы, законодательствующий, данный как бог фараону, указавший Израилю путь в землю обетованную. То же явили: известное число египетских казней и среди египтян спасение обремененных трудами; море, бегущее от жезла и соединяющееся по слову, одним дающее путь, как по суху, и потопляющее, согласно с естеством, других; а также все, чем это сопровождалось: столп облачный, осеняющий днем; столп огненный, озаряющий ночью; а оба путеводствующие; хлеб, поливаемый дождем в пустыне, снедь, посылаемая с неба, — первый соразмерно нужде, а вторая даже и сверх нужды; вода из камня, то истекающая, то услаждаемая; Амалик, преодолеваемый молитвой и еще неизъяснимым и таинственным воздеянием рук; солнце останавливаемое, луна удерживаемая, Иордан разделяемый, стены, разрушаемые обхождением священников, также звуком труб и самим числом, силу имеющим; земля и руно попеременно орошаемые и остающиеся невлажными; сила, заключенная в волосах и равняющаяся силам целого воинства; несколько избранных, пивших из горсти воду, обнадеженных в победе и побеждающих, благодаря надежде, малым числом многие тысячи. Нужно ли мне перечислять все чудеса, какие совершены самим Христом, при спасительном Его пришествии и воплощении, и какие после Него и через Него же сотворены святыми Его Апостолами и служителями слова? Сколько книг и памятей, в которых запечатлены они? Какие же чудеса явлены ныне? — *Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам* (Пс. 65.16), *чтобы знал грядущий род* (Пс. 77.6), да познают преемства родов — чудеса могущества Божия!

Но невозможно объяснить этого, не изобразив величины бедствия; и это опять невозможно, пока не будет обличено злонравие отступника, не будет показано, какие были начала, какая смена, от которых дошел он до такого неистовства, постепенно взращивая в себе нечестие, подобно тому, как самые злые из пресмыкающихся и зверей собирают свой яд. И хотя подробное описание злодеяний его предоставляем книгам и историям (мы не имеем и времени пересказывать все, не имеющее близкой связи с настоящим предметом); однако же, из многого коснувшись немногого, оставим потомству как бы некоторую надпись на памятнике, вместив в слово главнейшие и известнейшие из его деяний.

Вот одно и первое из его дел! Спасенный великим Констанцием, недавно от отца наследовавшим державу, когда при Дворе стали править делами новые чиновники, и войско, опасаясь нововведений, само сделалось нововведением, вооружилось против начальствующих, тогда, говорю, невероятным и необычайным образом спасенный вместе с братом ', не воздал он благодарения ни Богу за свое спасение, ни Царю, его спасшему, но оказался перед ними злонравным, готовя в себе Богу отступника, а Царю — мятежника. Но прежде всего нужно сказать, что человеколюбивейший Царь в одном из царских дворцов удостоил их царского содержания и царской прислуги, сохраняя их, как последних в роде, для царского престола. Сам Государь, во-первых, думал оправдать себя в том, что беспорядки, открывшиеся в начале его царствования, произведены не по его согласию; во-вторых, хотел показать свое великодушие, приобщив их к царскому сану; а в-третьих, таким приращением надеялся более упрочить власть. Но в его рассуждениях было больше доброты сердца, нежели благоразумия.

На них же не лежало тогда никаких должностей; царская власть была еще впереди и в одном предположении, а возраст и надежда не вели к чинам второстепенным. Поэтому они имели при себе наставников и в прочих науках (все первоначальное учение преподавал им сам дядя и Царь), а еще больше — в нашем любомудрии, не только в том, которое имеет предметом догматы, но и в том, которое назидает благочестие нравов. Для этого пользовались обращением с людьми особенно испытанными и были приучаемы к делам самым похвальным, показывающим опыты добродетели. Они, по своей охоте, вступили в клир, читали народу божественные книги, нимало не считая это ущербом для своей славы, но еще признавая благочестие лучшим из всех украшений. Также многоценными памятниками в честь Мучеников, щедрыми приношениями и всем, что показывает в человеке страх Божий, свидетельствовали о своем любомудрии и усердии ко Христу.

Один из них действительно благочестив, и хотя по природе вспыльчивее, однако же в благочестии искренен. А другой только выжидал время и под личиной скромности таил злонравие. И вот доказательство! Ибо не могу обойти молчанием бывшего чуда, которое весьма достопамятно и может послужить уроком для многих нечестивцев. Оба они, как сказал я, усердствовали для Мучеников, не уступали друг другу в щедрости, богатой рукой и не щадя издержек, созидали храм. Но поскольку трудились они с разной целью, то и конец трудов был различен. Дело одного, имею в виду старшего брата, шло успешно и в порядке, потому что Бог охотно принимал дар, как Авелеву жертву, *право и принесенную и разделенную* (Быт. 4.7) и сам дар был как бы некоторым освящением первородного, а дар другого (какое еще здесь на земле посрамление для нечестивых, свидетельствующее о будущем и малозначительными указаниями предвещающее о чем-то великом) дар другого отверг Бог Мучеников, как жертву Каинову. Он прилагал труд, а земля отвергала совершенное трудом. Он употреблял еще большие усилия, а земля отказывалась принимать в себя основания, полагаемые человеком, колеблющимся в благочестии. Земля как бы вещала, какое будет произведено им потрясение, и вместе воздавали честь Мученикам бесчестием нечестивейшего. Такое событие было некоторым пророчеством об открывшихся со временем в этом человеке высокомерии и высокоумии, о непочтении его к Мученикам, о поругании им святых храмов, — пророчеством, для других невразумительным, но заранее преследовавшим гонителя и предзнаменовавшим, какое будет возмездие нечестию. О *человек мудрый, чтобы творить зло* (Иер. 4.22), но не избегающий собственного мучения! Благодарение Богу, возвещающему будущее, чтобы пресечь нечестие и показать Свое предвидение! Какое необычайное, но более истинное, нежели необычайное, чудо! Какое братолюбие в Мучениках. Они не приняли чествования от того, кто обесчестит многих Мучеников; отвергли дары человека, который многих изведет в подвиг страдания, даже позавидует им и в этом подвиге. Или, вернее сказать, они не потерпели, чтоб им одним из Мучеников быть в поругании, когда храмы других устраиваются и украшаются руками преподобными. Они не попустили, чтобы преухищренный во зле мог похвалиться нанесенными им оскорблениями, чтобы одна рука и созидала, и разрушала мученические храмы, чтобы одни из Мучеников были чествуемы, а другие подвергались бесчестию, чтобы притворным чествованием предначиналось действительное бесчестие. Они не хотели, чтобы оскорбитель при великости оскорбления почитал еще себя мудрым и умевшим под видимой наружностью утаиться как от людей, так и от Бога, который всех прозорливее, всех премудрее и *уловляет мудрых в лукавстве их* (1 Кор. 3.19). Напротив, дали знать ругателю; что он понят, чтобы уловленный не превозносился. Бог Мучеников по распоряжениям, Ему одному ведомым, по неизреченной Своей премудрости, по законам мироправления, по которым некогда ожидал исполнения беззаконий амморрейских, — и теперь не пресек, не иссушил вдруг, подобно нечистому потоку, замышляемой и скрываемой злобы. Но для других нужно было сделать злонравие ненавистным, отвергнуть чествование и показать, что Бог, в рассуждении всего Ему приносимого, нелицеприятен и чист. Он сказал нечествовавшему Израилю: *не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня* (Ис. 1.13). Он не потерпел *новомесячий* их и *суббот* и *праздников;* ибо, как Самодовольный не нуждается ни в чем человеческом и маловажном; тем менее увеселяется недостойными приношениями; напротив, жертвой нечестивого, хотя бы это был телец, гнушается, как псом, и хотя бы это был ладан, оскорбляется, как богохульством (Ис. *66.*3), и *плату блудницы* (Вт. 23. 18) изметает из святилища и отвергает; ценит же ту одну жертву, которую Чистейшему приносят чистые руки, высокий и очищенный ум. Итак, что удивительного, если Он, который видит, не как человек, смотрит не на внешнее, но на потаенного человека, презирает во внутренний источник пороков или добродетелей; что, говорю, удивительного, если Бог и теперь не принял чествования, воздаваемого лукаво и с лукавой мыслью? Но так было действительно. Кто не верит, для тех приводим свидетельства очевидцев; еще многие из них живы; они и вам пересказали об этом чуде и будут пересказывать потомкам нашим.

Когда же, с наступлением зрелого возраста, они коснулись (лучше бы никогда не касаться!) философских учений, а приобрели силу в слове — для благонравных щит добродетели, а для злонравных жало греха; тогда он не мог уже скрывать в себе всего недуга и коварный замысел нечестия обдумывать единственно с самим собой. Огонь, кроющийся в веществе, еще не обратился в светлый пламень, но обнаруживается вылетающими искрами и идущим изнутри дымом. А если угодно другое подобие, источники, с силой текущие в подземных пещерах, когда не находят себе простора и свободного выхода, во многих местах земли устремляются к поверхности и производят под нею шум; потому что сила стремления гонит их, а верхние преграды удерживают и пресекают. Так и он, удерживаемый обстоятельствами и уроками Государя, пока не безопасно было оказать себя явным нечестивцем, скрывал большую часть своего нечестия. И бывали случаи, при которых обнаруживал тайные мысли, особенно перед людьми, более расположенными к нечестию, нежели к благоразумию; в разговорах же с братом, даже сверх приличия, защищал язычников, конечно под предлогом упражнения в слове посредством споров; а действительно это было упражнением в противоборстве истине. Вообще, он рад был всему, чем отличается нечестивое сердце. А когда человеколюбие Самодержца провозглашает брата его Цезарем и делает обладателем над немалой частью Вселенной; тогда и ему открылась возможность с большей свободой и безопасностью предаться самым вредным наукам и наставникам. Азия стала для него училищем нечестия — всех бредней о звездочетстве, о днях рождения, о разных способах гадания, а также и о соединенной с ними неразрывно магии.

Одного еще недоставало, чтобы к нечестию присовокупить и могущество. Через несколько времени и то дают ему над нами умножившиеся беззакония многих, а иной, может быть, скажет: благополучие христиан, достигшее высшей степени и потому требовавшее перемены, — свобода, честь и довольство, от которых мы возгордились. Ибо, действительно, труднее сберегать приобретенные блага, нежели приобретать новые, и удобнее тщанием возвратить прошедшее благоденствие, нежели сохранить *настоящее. Погибели предшествует гордость* (Притч. 16,18); прекрасно сказано в Притчах; а славе предшествует уничижение, или скажу яснее, за гордостью следует низложение, а за низложением прославление. *Господь* *гордым противится, смиренным же дает благодать* (Иак. 4, б) и все соразмеряя праведно, воздает за противное противным. Это знал и божественный Давид; потому быть смиряемым полагает в числе благ, приносит благодарение Смирившему, как приобретший через это видение Божиих оправданий; и говорит: *прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню* (Пс. 118.67). Таким образом, ставит он смирение в середине между прегрешением и исправлением, так как оно произведено прегрешением, и произвело исправление. Ибо грех рождает смирение, а смирение рождает обращение. Так и мы, когда были добронравны и скромны, тогда возвышены и постепенно возрастали, так что под руководством Божиим сделались и славны и многочисленны. А когда мы *отолстели,* тогда стали своевольны; и когда *разжирели* (Вт. 32.16), тогда доведены до тесноты. Ту славу и силу какую приобрели во время гонений и скорбей, утратили мы во время благоденствия, как покажет продолжение слова.

Царствованию и жизни Цезаря полагается предел. Умолчу о предшествовавшем, щадя и действовавшего и страдавшего; но при всем уважении к благочестию обоих не хвалю дерзости. Если им, как людям не свойственно было согрешить в чем другом, то за это, вероятно, не похвалят ни того, ни другого. Разве и здесь поставленное в вину одному обратим в назидание другому. Тогда Юлиан делается наследником царства, но не благочестия, наследником сперва после брата, а через некоторое время и после воцарившего его. И первое дает ему Констанций добровольно, а последнее поневоле, принужденный общим для всех концом, пораженный ударом бедственным и пагубным для целого мира.

Что ты сделал, боголюбезнейший и христолюбивейший из царей! — к тебе, как бы к предстоящему и внимающему нам, обращаю укоризну; хотя знаю, что ты гораздо выше наших укоризн, вчинен с Богом, наследовал небесную славу и для того оставил нас, чтобы временное царство пременить на вечное? Для чего совещал такой совет ты, который благоразумием и быстротой ума во многом превосходит не только современных тебе, но и прежних царей. Ты очистил пределы царства от варваров и усмирил внутренних мятежников; на одних действовал убеждениями, на других оружием, а в том и другом случае распоряжался, как будто бы никто тебе не противодействовал. Важны твои победы, добытые оружием и сражениями; но еще важнее и знаменитее приобретенные без крови. К тебе отовсюду являлись посольства и просьбы; одни покорялись, другие готовы были к покорности. А если где была надежда на покорность, — это равнялось самой покорности. Рука Божия направляла тебя во всяком намерении и действии. Благоразумие было в тебе удивительнее могущества, и могущество удивительнее благоразумия; благочестие же еще удивительнее самой славы за благоразумие и могущество. Как же в этом одном оказался ты неопытным и неосмотрительным? Отчего такая опрометчивость в твоем бесчеловечном человеколюбии? Какой демон внушил тебе такую мысль? Как великое наследие, то, чем украшался родитель твой, имею в виду христиан, народ, просиявший в целой Вселенной, *царственное священство* (1 Петр. 2. 3), взращенный многими усилиями и трудами, в столь короткое время, в одно мгновение, своими руками предал ты всеобщему кровопийце?

Может быть, вам кажется, братия, что поступаю неблагочестно и неблагодарно, когда говорю это, и к обличительной речи не присоединяю тотчас вещаний истины; хотя достаточно уже оправдал я Констанция тем самым, в чем обвинял его, если вы вникли в мое обвинение. Здесь только обвинение заключает в себе извинение; ибо упомянув о доброте, я представил и оправдание. Кому из знавших сколько-нибудь Констанция неизвестно, что он для благочестия, из любви к нам, из желания нам всякого блага, не только готов быль презреть его, или честь всего рода, или приращение царской власти, но за нашу безопасность, за наше спасение отдал бы даже саму державу, целый мир и свою душу, которая всякому всего дороже? Никто никогда и ни к чему не пылал такой пламенной любовью, с какой он заботился об умножении христиан и о том. чтобы возвести их на высокую степень славы и силы. Ни покорение народов, ни благоустройство общества, ни титул и сан царя царей, ни все прочее, по чему познается счастье человеческое, — ничто не радовало его столько, как одно то, чтобы мы через него, и он через нас, прославлялись перед Богом и перед людьми, и чтобы наше господство навсегда пребывало неразрушимым. Ибо кроме прочего, рассуждая истинно царски и выше многих других, он ясно усматривал, что с успехами христиан возрастало могущество римлян, что с пришествием Христовым явилось у них самодержавие, никогда ранее не достигавшее совершенного единоначалия. За это, думаю, и любил он особенно нам благодетельствовать. Если же и оскорбил несколько, то оскорбил не из презрения, не с намерением обидеть, не из предпочтения нам других, но желая, чтобы все были одно, хранили единомыслие, не рассекались и не разделялись расколами. Но, как заметил я, простота неосторожна; человеколюбие не без слабостей; и кто далек от зла, тот всего менее подозревает зло. Поэтому он не предвидел будущего, не почувствовал притворства (нечестие же вкрадывалось постепенно), и в одном Государе могли совмещаться и благость к благочестивому роду, и благость к нечестивейшему и безбожнейшему из людей.

И этот нечестивец в чем укорил христиан, что нашел у нас непохвального, а также что в языческих учениях признал чрезвычайным и неопровержимым? Какому следуя образцу составил он себе имя своим нечестием, совершенно новым образом вступил в состязание с воцарившим его? Поскольку не мог превзойти его добродетелями и совершенствами, то постарался отличиться противным, тем, что преступил всякую меру в нечестии и ревновал о худшем. Таково наше оправдание Констанция в рассуждении христиан и для христиан, вполне справедливее для имеющих ум.

Но найдутся люди, которые, простив нам одну вину, не отпустят другой. Они станут обвинять в скудоумии за то, что Констанций вручил власть неприязненному и непримиримому противнику и что сперва сделал его врагом, а потом могущественным, положив основание вражде умерщвлением брата и придав силу избранием на царство. Поэтому нужно кратко сказать и об этом; нужно показать, что человеколюбие было не вовсе неразумно и не выступило из пределов царского великодушия и царской предусмотрительности. Даже мне было бы стыдно, если бы мы, удостоившиеся от Констанция такой чести и столько уверенные в его отличном благочестии, в его защиту не сказали правды, что, как служители слова и истины, обязаны мы делать для людей и нимало нас не облагодетельствовавших. Особенно стыдно было бы не сказать правды о Констанции после ухода его из здешнего мира, когда нет и места мысли, что мы льстим, когда слово наше свободно от всякого худого подозрения. Кто не надеялся, если не другого чего, по крайней мере того, что Констанций почестями соделает его более кротким? Кто не полагал, что после доверенности, какая ему сделана даже вопреки справедливости, и он будет правдивее? Особенно, когда над обоими произнесен правдивый и прямо царский суд, — один удостоен чести, и другой низложен? Ибо почтивший второго, как никто не ожидал, даже ни сам получивший почесть, ясно тем показал, что и первого наказал он не без праведного гнева. Казнь одного была следствием продерзости наказанного; а почести другого были делом человеколюбия в возведшем его к почестям. Но если нужно сказать еще нечто: то Констанций мог полагаться не столько на его верность, сколько на собственное могущество. По такой, думаю, надежде и славный Александр побежденному Пору, который мужественно стоял за свою державу, даровал не только жизнь, но вскоре и царство Индов. Этим, а не другим чем, хотел он доказать свое великодушие; а не превзойти кого в великодушии, для него — Александра, было постыднее, нежели уступить в силе оружия; притом, Пора, если бы замыслил зло, ему легко было покорить и в другой раз. Так и в Констанции человеколюбие произошло от избытка надежды на свою силу. Но для чего усиливаюсь там, где и побежденному весьма удобно одержать верх? Если доверивший поступил худо, то насколько хуже поступил тот, кому оказано доверие? Когда ставить в вину, что не предусмотрен злой нрав, тогда во что должно поставить само злонравие?

Но порок, действительно, есть нечто неподводимое под правила, и у человека нет средств делать злых добрыми. Так и Юлиан, от чего бы следовало ему почувствовать в себе благорасположение, и погасить, если и было какое, воспламенение злобы, оттого самого воспылал большей ненавистью; и стал высматривать, чем отметить благодетелю. Тому научили его Платоны, Хризиппы, почтенные перипатетики, стоики и краснословы. К тому привел и его и геометрическое равенство, и уроки о справедливости, и правило: предпочитай лучше терпеть, нежели наносить обиду. Это преподали ему благородные наставники, сподвижники царской власти и законодатели, которых набрал себе на перекрестках и в пещерах, в которых не нравы одобрял, но дивился сладкоречию, а, может быть, и не тому, но единственно нечестию, — достаточному советнику и наставнику — что делать и чего не делать. И подлинно, не достойны ни удивления те, которые на словах строят города, каких на деле быть не может? которые едва не кланяются, как Богу, величавым тиранам, и при своей надменности ставят овол выше богов? Одни из них учат, что вовсе нет Бога; другие, что Бог не промышляет о земном, но что все здесь влечется без цели и случайно; иные говорят, что всем управляют звезды и роковые созвездия, не знаю кем и откуда управляемые; другие же полагают, что все стремится к удовольствию и что наслаждение составляет конец человеческой жизни. А добродетель для них одно громкое имя; по словам тех, ничего нет за настоящей жизнью, никакого после истязания за дела здешней жизни, в пресечение неправды. Иной из их мудрецов вовсе не разумел этого, но был покрыт глубокой, так сказать, тиной и непроницаемым мраком заблуждения и неведения; его разум и столько не был очищен, чтобы мог взирать на свет истины, но, пресмыкаясь в дольнем и чувственном, не способен был представить что-либо выше демонов и рассуждать о Творце достойным Его образом. А если кто и прозревал несколько, то, имея руководителем разум, а не Бога, увлекался более вероятным и тем, что как ближайшее скорее обращает на себя внимание черни. Что же удивительного, если вышедший из такого училища, управляемый такими кормчими, когда вверили ему власть и почтили его саном, оказался только злым против вверившего и почтившего? А если можно защищать одного, обвиняя другого, то настроила его против установленного порядка и побудила искать свободы высокоумию не столько, думаю, скорбь о брате, в котором видел он противника себе по вере, сколько то, что не терпел усиливающегося христианства и злобствовал на благочестие. Надобно, как они учат, чтобы философия и царская власть сходились вместе; но не для прекращения, а для умножения общественных зол. И первым делом его высокомерия и высокоумия было то, что он на себя возложил венец, сам себя почтил высоким титлом, которое, не как случайную добычу, но как награду за добродетель, дает или время, или приговор царя, или, что бывало в прежние времена, определение сената. Но он не признает господина в царстве господином раздаваемых почестей. А во-вторых, увидев, что первая дерзость доводит до необходимости поддержать свое высокоумие, что еще замышляет? До чего простирается в несчастии и наглости? Какое неистовство! Он вооружается против самого Констанция и ведет с Запада войско под предлогом оправдать себя в принятии царского венца, потому что внешне скрывал еще свое высокоумие. Но в действительности замышляет захватить в свои руки державу и удивить свет неблагодарностью. И не обманулся в надежде.

Да не дивятся этому не постигающие недомыслимой глубины Божиих распоряжений, по которым все совершается. Да не дивятся предоставляющие мироправление Художнику, Который, конечно, мудрее нас, и творение свое ведет, к чему и как Ему угодно, без всякого же сомнения — к совершенству и исцелению, хотя врачуемые и огорчаются! По таким распоряжениям и он не возбужден на зло (Божество, по естеству благое, нимало не виновно во зле, и злые дела принадлежат произвольно избирающему злое), но не удержан в стремлении. С быстротой прошел он свои владения и часть варварских пределов, захватывая проходы, не с намерением овладеть ими, но чтобы скрыть себя; уже приближается к царскому дворцу, осмелившись на такой поход, как говорили его единомышленники, по предсказанию и по внушению демонов, которые предрекали ему будущее и готовили перемену обстоятельств. Но, по словам не скрывающих истины, он явился в срок, назначенный для тайного и скрытого во мраке злодеяния; поспешил ко дню смерти, виновником которой был сам, тайно, потому здесь было не предвидение, но обыкновенное знание, — простое злодейство, а не благодеяние бесов. Насколько же бесы проницательны в таких делах, ясно показала Персия. И пусть умолкнут те, которые поспешность его приписывают бесам: разве их делом назовем и то, что он был злобен! Если бы кончина царя не предшествовала нашествию мучителя и тайная брань не производилась сильнее открытой, то злодей узнал бы, может быть, что поспешал на собственную погибель, и прежде, нежели вразумлен поражением у персов, понес бы наказание за свое высокоумие в римских пределах, в которые злонамеренно дерзнул вторгнуться. И вот доказательство! Когда еще он был в пути и думал, что намерения его неизвестны, воинство могущественнейшего царя окружает его и отрезает ему даже возможность к побегу. (Так оказалось впоследствии; ибо и после получения державы ему стоило немалого труда одолеть это войско.) И в это самое время, пылая гневом на высокоумие и нечестие, имея в сетях хитрейшего из людей, на пути к месту действия (подлинно велики грехи наши!), Государь, после многих прошений к Богу и людям — извинить его человеколюбие, оставляет жизнь, своим походом доказав христианам ревность о благочестии.

И здесь, приступая к продолжению слова, проливаю слезы, смешанные с радостью. Подобно тому, как река и море между собой борются и сливаются, и во мне происходит борьба — и слияние, и волнение чувств. Последние события наполняют меня удовольствием, а предшествовавшие извлекают у меня слезы, слезы не только о христианах и о напастях, какие их постигли, или навлеченные лукавым, или допущенные Богом, по причинам Ему ведомым, и, может быть, за наше превозношение, требовавшее очищения; но также — слезы и о его душе, и обо всех увлекшихся с ним в ту же погибель. Иные оплакивают одни последние их поражения и здешние страдания; потому что имеют в виду одну настоящую жизнь и не простираются мыслью в будущее, не думают, что будет расчет и воздаяние за дела земной жизни, но живут, подобно бессловесным, заботятся о сегодняшнем только дне, об одном настоящем, одними здешними удобствами измеряют благополучие и всякую встречающуюся неприятность называют несчастием. Но для меня достоплачевнее будущие их мучения и казнь, ожидающая грешников. Не говорю еще о величайшем наказании, то есть о том, сколько для них будет мучительно отвержение их Богом. Как не пролить мне слез об этом несчастном? Как не оплакивать бежавших к нему больше, нежели тех, которые были им гонимы? И не больше ли еще должен я плакать об увлекшем в беззаконие, нежели о перешедших на сторону зла? Даже гонимым — страдать за Христа было вовсе не зло, а самое блаженное дело, не только по причине будущих воздаяний, но и но причине настоящей славы и свободы, какую они приобрели себе своими бедствиями. А для тех, что претерпели они здесь, — есть только начало уготованного и угрожающего им в будущем. Для них гораздо было бы лучше, если бы дольше страдали здесь, но не были соблюдаемы для тамошних истязаний. Так говорю по закону, который повелевает не радоваться падению врага и от того, кто устоял, требует сострадания.

Но мне опять должно к нему обратить слово. Что за ревность превзойти всех во зле? Что за страсть к нечестию? Что за стремление к погибели? Отчего сделался таким христоненавистником ученик Христов, который столько занимался словом истины и сам говорил о предметах душеспасительных, и у других поучался? Не успел он наследовать царства и уже с дерзостью обнаруживает нечестие, как бы стыдясь и того, что был некогда христианином, или мстя христианам за то, что носил с ними одно имя. И таков первый из смелых его подвигов, как называют гордящиеся его тайнами (какие слова принужден я произнести!): он воду крещения смывает скверной кровью, наше таинственное совершение заменяя своим мерзким и уподобляясь, по пословице, свинье, валяющейся в тине, творит очищение над своими руками, чтобы очистить их от бескровной Жертвы, через которую делаемся мы участниками со Христом в страданиях и Божестве; руководимый злыми советниками зловредного правления, начинает свое царствование рассматриванием внутренностей и жертвоприношениями.

Но упомянув о рассмотрении внутренностей и о суеверии или, точнее сказать, зловерии его в таких делах, не знаю, описывать ли мне чудо, разглашаемое молвой, или не верить слухам? Колеблюсь мыслью и недоумеваю, на что преклониться; потому что достойное вероятия смешано здесь с неимоверным. Нет ничего невероятного, что при таком новом явлении зла и нечестия было какое-нибудь знамение; да и неоднократно случались знамения при великих переворотах. Но чтобы так было, как рассказывают, — это весьма удивительно для меня, а конечно — и для всякого, кто желает и считает справедливым, чтобы чистое объяснялось чисто. Рассказывают же, что, принося жертву, во внутренностях животного, увидел он Крест в венце. В других возбудило это ужас, смятение и сознание нашей силы, а наставнику нечестия придало только дерзости; он истолковал: Крест и круг значат, что христиане отовсюду окружены и заперты. Это-то для меня чудно, и ежели это неправда, пусть развеется ветром; если же правда, то здесь опять Валаам пророчествует, Самуил, или призрак его, вызывается волшебницей; опять бесы невольно исповедуют Иисуса, и истина обнаруживается через противное истине, дабы тем более ей поверили. А может быть, это делалось и для того, чтобы его удержать от нечестия: потому что Бог, по Своему человеколюбию, может открывать многие и необыкновенные пути к спасению. Но вот о чем рассказывают весьма многие, и что не чуждо вероятия: сходил он в одну из недоступных для народа и страшных пещер (о если бы тем же путем сошел он и в ад, прежде нежели успел столько во зле!); его сопровождал человек, знающий такие дела, или, лучше сказать, обманщик, достойный многих пропастей. Между прочими видами волхования употребляется у них и тот, чтобы с подземными демонами совещаться о будущем где-нибудь во мраке, потому ли, что демоны более любят тьму, ибо сами суть тьма и виновники тьмы, то есть зла; или потому, что они избегают благочестивых на земле, ибо от встречи с ними приходят в бессилие. Но когда храбрец наш идет вперед; его объемлет ужас, с каждым шагом становится ему страшнее; рассказывают еще о необыкновенных звуках, о зловонии, об огненных явлениях, и не знаю о каких-то призраках и мечтаниях. Пораженный нечаянностью, как неопытный в таком деле, он прибегает ко Кресту, этому древнему пособию, и знаменуется им против ужасов, призывает на помощь Гонимого. Последовавшее за этим было еще страшнее. Знамение подействовало, демоны побеждены, страхи рассеялись. Что же потом? Зло оживает, отступник снова становится дерзким, порывается идти далее: и опять те же ужасы. Он еще раз крестится, — и демоны утихают. Ученик в недоумении; но с ним наставник, перетолковывающий истину. Он говорит: «Не устрашились они нас, но возгнушались нами». И зло взяло верх. Едва сказал наставник, ученик верит, а убедивший ведет его к бездне погибели. И не удивительно: порочный человек скорее готов следовать злу, нежели удерживаться добром. Что потом говорил или делал он, или как его обманывали и с чем отпустили, пусть знают те, которые посвящают в эти таинства и сами посвящены. Только по выходе оттуда и в душевных расположениях и в делах его видно было беснование и неистовство взоров показывало, кому совершал он служение. Если не с того самого дня, в который решился он на такое нечестие, то теперь, самым явным образом, вселилось в него множество демонов; иначе бы, напрасно сходил он во мрак и сообщался с демонами, что называют они вдохновением, благовидно превращая смысл слов. Таковы были первые его дела!

Но когда болезнь усилилась и гонение готово было открыться, увидел он (или как человек мудрый на злое и преуспевший в нечестии, или по совету поощрявших его на это), что вести с нами войну открыто и объявить себя предводителем нечестия — не только слишком дерзко и безрассудно, но и совершенно против цели. Ибо принуждение сделало бы нас более непоколебимыми и готовыми противопоставить насилию ревность по благочестию; ибо души мужественные, когда хотят принудить их к чему силой, обыкновенно бывают непреклонны и подобны пламени, раздуваемому ветром, которое тем более разгорается, чем более его раздувают. Это не только находил он по своим умозаключениям, но мог знать и по предшествовавшим гонениям, которыми христианство более прославлено, нежели ослаблено, потому что гонения укрепляют душу в благочестии, и в опасностях душа закаливается, как раскаленное железо в воде. Если же действовать оружием лукавства (рассуждал он) и принуждению дать вид убеждения, прикрыв насилие лаской, как уду приманкой, то в такой борьбе будет и мудрость, и сила. Кроме того, он завидовал чести мученической, какой удостаиваются подвижники. Потому замышляет действовать принуждением, не показывая вида принуждения; а нас — заставить страдать и не иметь той чести, что страждем за Христа. Какая глупость! Во-первых, он думал утаить, за что мы подвергаемся опасности, и прикрыть истину лжеумствованиями, но не рассудил, что чем более умышляет он против почестей мученичества, тем они сделаются выше и славнее; во-вторых, полагал, что мы предаемся опасностям не по любви к истине, а по желанию славы. Но этим пусть забавляются их Емпедоклы, Аристеи, Емпедотимы, Трофонии и множество подобных мелких людей. Первый из них думал сделаться богом и достигнуть блаженной участи, ринувшись в жерло горы сицилийской; но любимый башмак его, изверженный огнем, обнаружил, что не сделался Емпедокл из человека богом, а оказался только по смерти человеком тщеславным, нелюбомудрым, не имеющим даже здравого смысла. А прочие по той же болезни и самолюбию скрылись в мрачных пещерах, но когда были открыты, — не столько приобрели себе чести тем, что скрывались от людей, сколько обесчестили себя тем, что не остались в безызвестности. Но для христиан приятнее — страдать за благочестие, оставаясь даже у всех в неизвестности, нежели для других прославляться и быть нечестивыми. Потому что мы мало заботимся об угождении людям; а все наше желание — получить честь от Бога; истинно же любомудрые и боголюбивые — выше и этого: они любят общение с добром ради самого добра, не ради почестей, уготованных за гробом. Ибо это уже вторая степень похвальной жизни — делать что-либо из награды и воздаяния; и третья — избегать зла из-за страха наказания. Так мы рассуждаем, и для желающих нетрудно привести на то многие доказательства. А наш противник, думая лишить христиан чести, как чего-то великого (ибо многие судят о других по собственным страстям), прежде всего воздвигает гонение против нашей славы. Он не так смело, как прочие гонители вводит нечестие, и хочет поступить с нами не только не как царь, но даже и не как мучитель, который бы мог похвалиться, что принудил Вселенную принять его нечестивый закон и — подавил учение, одержавшее верх над всеми учениями. Но, как раб, робко строит козни против благочестия и к гонению присоединяет хитрые двусмысленные умствования.

Всякая власть действует убеждением или принуждением; и он последнее, как менее человеколюбивое, то есть насилие предоставил народу и городам, которые в дерзости особенно неудержимы по нерассудительности и неосмотрительному стремлению ко всему; впрочем и на это дал не всенародное повеление, но как бы неписаный закон, обнаружив свою волю тем, что не останавливал народных волнений. А первое, как более кроткое и достойное царя, то есть убеждение, предоставил он себе. Однако же и это не совершенно выполнил. Как несвойственно оставить леопарду пестроту, эфиопу — черноту, огню — силу жечь, лукавому — этому человекоубийце искони — человеконенавидение, так и он не мог оставить злобы, с какой устремился против нас. Но, как говорят о хамелеоне, что он легко изменяет свой вид, принимая на себя все цвета, кроме белого (умалчиваю о Протее, баснословном хитреце египетском); так и он для христиан был и являлся всем, кроме кротости. И человеколюбие его было весьма бесчеловечно, его убеждение — насильственно, благосклонность служила извинением жестокости, дабы видели, что он по праву употребляет насилие, не успев подействовать убеждением. Это видно из того, что убеждения его продолжались малое время; и по большей части вскоре следовало принуждение, чтобы мы были пойманы, как на звериной ловле, или сетями, или преследованием, чтобы тем или другим способом непременно попали в его руки.

Таким образом, обдумав и распределив свои действия, употребляет он другую хитрость — единственно верную, хотя слишком нечестивую: начинает злое свое дело с приближенных и с окружающих его людей, как это в обычае у всех гонителей. В самом деле, не имея на своей стороне близких, нельзя действовать на посторонних; подобно как нельзя вести на врагов войско, которое восстает против своего вождя. Он меняет царедворцев, одних наперед предав тайно смерти, других удалив не столько за то, что они были расположены к великому Царю, сколько за то, что еще преданнее были Царю царей, а для него бесполезны по тому и другому. Между тем, само собой или через начальников склоняет на свою сторону войско, которое почитал особенно удобопреклонным; потому что военные люди то обольщаются почестями, то увлекаются по простоте, и не знают другого закона, кроме царской воли; правильнее же сказать, он привлек только часть войска, часть не малую, — тех, кого нашел испорченными и больными, кто и в это время и прежде раболепствовал обстоятельствам; и из этой части одних поработил он действительно, других только надеялся поработить. Не всех же увлек, потому что не дал ему столько силы над ними Тот, Кто наказывает нас через него, и еще осталось более семи тысяч мужей, которые не преклонили колен перед Ваалом (3 Цар. 19.18), не поклонились златому образу (Дан. 3.18), не были уязвлены змеями, потому что взирали на повешенного змея и низложенного страданиями Христовыми. Между начальниками и высшими, которых особенно легко победить угрозами или обещаниями, и между простыми воинами, известными только по числу, нашлось много отразивших его нападение, как твердая стена отражает неудачное действие орудия. Впрочем, он не столько сокрушался о том, что избегало рук его, сколько приходил в дерзость, подобно бешеному, от того, что ловил. Он желал, — и ожидаемое представлял уже достигнутым. Потом восстает он и против того великого знамени с изображением Креста, которое, будучи поднято вверх, предводило воинство, почиталось у римлян и, действительно, было облегчением в трудах, можно сказать, царствовало над прочими знаменами, из которых одни украшены изображениями царей и распростертыми тканями с различными цветами и письменами; а другие, принимая в себя ветер через страшные пасти драконов, укрепленные на верху копий, раздуваются по изгибам, испещренным тканой чешуей, и представляют взорам приятное и вместе ужасное зрелище.

Когда же все, что было около него, он устроил по своим мыслям и уже думал восторжествовать над близкой опасностью, тогда покушается и на прочее. О несмысленный, нечестивый и ничего не сведущий в делах великих! Ты восстаешь против многочисленного достояния, против всемирного плодоношения, совершаемого на всех концах Вселенной низостью слова и буйством, как вы бы сказали, проповеди, той проповеди, которая победила мудрых, прогнала демонов, превозмогла время, которая есть нечто ветхое и вместе новое (подобно тому, как и вы представляете одного из богов своих), — ветхое для немногих, новое для многих, первое в иносказании, последнее в совершении тайны, сокровенной до своего времени! Ты — против великого наследия Христова, забыв, кто ты, какие у тебя силы и откуда ты, — против великого и нескончаемого наследия, которое, если бы кто и с большим, нежели ты, неистовством восстал против него, только более бы возрастало и возвышалось (ибо верю пророчествам и видимому); против наследия, которое сам Он, как Бог, сотворил, и как человек наследовал, которое закон провидел, благодать исполнила, Христос обновил, которое Пророки водрузили, Апостолы связали, Евангелисты довершили! Ты — против жертвы Христовой со своими сквернами! Ты — против крови, очистившей мир, с своей кровью! Ты воздвигаешь брань против мира! Ты возносишь руку против руки, за тебя и для тебя пригвожденной! Ты — против желчи — со своим приобщением жертве! против Креста — со своим трофеем! против смерти — с разрушением! против восстания из гроба — со своим мятежническим восстанием! Ты — против Свидетеля, отвергший даже свидетельство мучеников! После Ирода — гонитель! После Иуды — предатель, только не обнаруживший, подобно ему, раскаяния удивлением! После Пилата — христоубийца! После Иудеев — богоненавистник! Ты не устыдился жертв, закланных за Христа! Не убоялся великих подвижников — Иоанна, Петра, Павла, Иакова, Стефана, Луки, Андрея, Феклы и прочих, после и прежде них, пострадавших за истину! Они охотно боролись с огнем, железом, со зверями и мучителями, шли на бедствия настоящие и угрожающие, как бы в чужих телах или как бесплотные. И для чего все это? Чтобы и словом не изменить благочестию. Они прославляются великими почестями и празднествами, они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают; сами тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их; даже капли крови и все, что носит на себе, следы их страданий, так же действительны, как их тела. Но ты не чтишь этого, а бесчестишь; дивишься же Геркулесу, который от несчастий и женских оскорблений бросается на костер; дивишься тому, как по страннолюбию, или в угождение богам, предложен в снедь Пелоп, отчего Пелопиды отличаются плечами из слоновой кости; дивишься искажению фригийцев, услаждаемых свирелью и потом подвергаемых поруганию, или заслуженным истязаниям и испытаниям через огонь при посвящении в таинство Митры; дивишься умерщвлению чужестранцев у тавров, принесению на жертву царской дочери в Трое, крови Менекея, пролитой за фивян, и наконец, смерти дочерей Скедаза в Левктрах; ты хвалишь лакедемонских юношей, секущихся мечами и окропляющих жертвенник кровью, приятной богине чистой и деве; хвалишь чашу с ядом Сократа, голень Эпиктета, мех Анаксарха, у которых любомудрие было более вынужденно, нежели добровольно; хвалишь прыжок Клеомврота Амвракийского — плод любомудрого учения о душе; хвалишь состязания пифагорейцев о бобах и презрение смерти Феаной или, не помню, кем-то другим, из посвященных в тайны и учения Пифагора.

Но подивись, если не прежним, то настоящим подвигам христиан, ты, любомудрейший и мужественнейший из умерших, который в терпении хочет подражать Эпаминондам и Сципионам, ходит наряду со своим войском, довольствуется скудной пищей и хвалит личное предводительство. Человек благородный и любомудрый не унижает доблести и во врагах; он выше ценит мужество неприятелей, нежели пороки и изнеженность самых близких ему. Видишь ли этих людей, которые не имеют у себя ни пропитания, ни пристанища, не имеют почти ни плоти, ни крови и тем приближаются к Богу, у которых ноги не мыты, и ложем — земля, как говорит твой Гомер, думая таким вымыслом почтить одного из демонов? Они живут долу, но выше всего дольнего; среди людей, но выше всего человеческого; связаны, но свободны; стесняемы, но ничем неудержимы; ничего не имеют в мире, но обладают всем мирным; живут двойной жизнью, и одну презирают, о другой же заботятся; через умерщвление бессмертны, через отрешение от твари соединены с Богом; не знают любви страстной, но горят любовью божественной, бесстрастной; их наследие — Источник света, и еще здесь — Его озарения, ангельские псалмопения, всенощное стояние, переселение к Богу ума, предвосхищаемого; чистота и непрестанное очищение, как незнающих меры в восхождении и обоготворении; их утесы и небеса, низложения и престолы; нагота и риза нетления; пустыня и торжество на небесах; попрание сластей и наслаждение нескончаемое, неизреченное. Их слезы потопляют грех, очищают мир; их воздеяние рук погашает пламя, укрощает зверей, притупляет мечи, обращает в бегство полки; и (будь уверен!) заградит уста и твоему нечестию, хотя превознесешься на время и со своими демонами будешь еще лицедействовать в позорище нечестия. Как и это не страшно, не достойно уважения для тебя, чрезмерно дерзновенный и безрассуднее всякого устремляющийся на смерть? А это, конечно, во многом уважительнее, нежели ненасытность мудреца и законодателя Солона, которую Крез обличил лидийским золотом, нежели любовь Сократа к красоте (стыжусь сказать — к отрокам, хотя она прикрывается честным наименованием), нежели Платоново лакомство в Сицилии, за которое философ продан и не выкуплен ни одним из учеников, даже никем из греков; прожорливость Ксенократа, шутливость жившего в бочке Диогена, с какой он, предпочитая лакомый кусок простому хлебу, говаривал словами стихотворца: пришлецы, дайте место господам, и философия Эпикура, не признающая никакого блага выше удовольствия. Великувас Кратес; отдать свои земли на пастбище для овец, конечно, любомудрое дело и похоже на дел а наших любомудров; но он провозглашает свою свободу не столько как любитель мудрости, сколько как честолюбец. Великитот, кто на корабле, боровшемся с волнами, когда все кидали в море, благодарил судьбу, доводящую его до рубища. Велик Антисфен, который, когда один наглый оскорбитель ударил его по лицу, пишет у себя на лбу, как на статуе, имя ударившего, может быть, для того, чтобы язвительнее укорить его. Ты хвалишь также одного из живших незадолго до нас за то, что целый день молился, стоя на солнце: но, может быть, он воспользовался временем, когда солнце бывает ближе к земле, дабы сократить молитву, окончив ее с закатом солнечным; хвалишь и Потидейского труженика, который зимой целую ночь стоял, погрузясь в созерцание, и в исступлении не чувствовал холода; хвалишь любознательность Гомера, трудившегося над Аркадским вопросом; любоведение и неутомимость Аристотеля, доискивавшегося причины перемен в Европе, — над чем они и умерли; хвалишь и Клеантов колодец, и Анаксагоров ременный повод, и Гераклитовы слезы. Несколько же у вас таких, и долго ли они подвизались? Как же не дивиться нашим подвижникам, которых тысячи, десятки тысяч, которые посвящают себя на такое же и еще более чудное любомудрие, любомудрствуют целую жизнь и, можно сказать, в целой Вселенной, как мужи, так равно и жены, спорящие с мужами в мужестве, и тогда только забывающие свою природу, когда нужно приближаться к Богу чистотой и терпением? И не только люди незнатного рода и всегдашней скудостью приученные к трудам, но даже некогда высокие и знатные своим богатством, родом и властью решаются на непривычные для них злострадания в подражание Христу. Хотя бы они не обладали даром слова, потому что не в слове поставляют благочестие, и не надолго годен плод мудрости, которая только на языке, как признано и одним из наших стихотворцев; однако же в них больше правды; они учат делами.

Но он, пренебрегши всем этим, и одно имея в виду, чтобы угодить демонам, которые неоднократно низлагали его, чего и заслуживал, прежде других распоряжений по делам общественным устремляется против христиан. Два только предмета его озабочивали: галилеяне, как называл он нас в укоризну, и персы, упорно продолжавшие войну. Но наше дело было для него важнее, требовало больших забот, так что войну с персами почитал он делом пустым и детской игрой. Хотя он этого не обнародовал, однако же и не скрывал; до того даже доходило его неистовство, что не переставал твердить о том всегда и всем. И такой благоразумнейший и наилучший правитель государства не сообразил, что во время прежних гонений смятения и потрясения были незначительны, потому что наше учение коснулось еще немногих; истина принята была небольшим числом людей и не открылась еще всем. Но теперь, когда спасительное слово разлилось всюду, особенно у нас, сделалось господствующим, покуситься на то, чтобы изменить и поколебать христианство, значило то же, что потрясти Римскую державу, подвергнуть опасности целое государство, и чего хуже не пожелали бы нам враги наши, то потерпеть от самих себя, от этого нового и чудного любомудрия и царствования, под которым мы благоденствовали и возвратились к древнему золотому веку и к жизни, ничем не возмущаемой и спокойной. Или удобство сообщений, уменьшение налогов, выбор начальников, наказание за воровство, и другие постановления, служащие временному благополучию и мгновенному блеску, могли доставить государству великую пользу и стоили того, чтобы оглушать наш слух похвалами таким учреждениям? А народные смятения и возмущения в городах, разрыв семейств, раздоры в домах, расторжение супружеств (чему надлежало последовать за тем злом и что действительно последовало), могли ли служить к его славе или к безопасности государства? Кто же будет настолько склонен к нечестию или настолько лишен общего смысла, чтобы согласиться на это? В теле, если нездоровы один только или два члена, без труда прочие переносят болезнь, и здоровье сохраняется большинством членов; даже от здоровых и больным членам может сделаться лучше. Но ежели расстроена или поражена болезнью большая часть членов; то не может не страдать все тело, и опасность для него очевидна. Так в подначальных, недуги одного члена общества могут иногда прикрываться благосостоянием целого, но если повреждена большая часть членов, опасность угрожает целому обществу. Думаю, что другой, даже и злой ненавистник наш, мог бы видеть это в нынешнее время при таком умножении христиан. Но в этом человеке злоба помрачила рассудок, и потому равно простирает он гонение и на малое, и на великое.

Особенно детской, неосновательной и недостойной не только царя, но и сколько-нибудь рассудительного человека, была его мысль, будто бы за переменой имени последует перемена в нашем расположении, или будто бы нам от этой перемены будет стыдно, как обвиненным в чем-то гнусном. И он дает нам новое наименование, сам называет нас, и узаконивает нам именоваться вместо христиан галилеянами. Подлинно имя, от Христа заимствованное, славно и досточестно; и он умыслил лишить нас этого наименования, или по этой причине, или потому, что страшился силы имени, подобно демонам, и заменил его другим, неупотребительным и неизвестным. Но мы не будем переменять у них имен; потому что и нет имен смешнее, чтобы заменить ими прежние, каковы их Фаллы и Ифифаллы, Мелампиги, Трагопод и почтенный Пан, один бог, произошедший от всех женихов и получивший по достоинству своему имя от посрамления. Ибо им нужно, чтобы или один обесчестил многих, и притом могущественнейший, или один происходил от многих, и притом гнуснейший. Итак, не позавидуем им ни в делах, ни в именах. Пусть услаждаются своей простотой и хвалятся мерзостями. Если угодно, предоставим им Вуфина; готовы сделать и больший подарок, уступив и Триеспера, столь величественно рождаемого и рождающего, совершившего тринадцатый подвиг в одну ночь (имею в виду пятьдесят дочерей Фестия), чтобы получить за это наименование бога. Ежели бы христиане захотели выдумывать подобные веши, то могли бы из собственных дел Юлиана найти для него многие, более постыдные и вместе с тем более приличные наименования. Ибо что воспрепятствовало бы и нам, воздавая равным за равное, царя римского, или, как он, обманутый демонами, мечтал о себе, царя Вселенной, назвать Идолианом, Пизеем, Адонеем и Кавситавром, как некоторые из наших острословов уже прозвали его, так как это дело весьма легкое. Что препятствовало бы применить к нему и составить для него и другие названия, какие представляет действительная история? Но сам Спаситель и Владыка всяческих, Создатель и Правитель мира, Сын и Слово Великого Отца, Примиритель, Архиерей и сопрестольный Отцу, для нас, обесчестивших образ Его, низведенных в прах и не уразумевших великой тайны сочетания, не только нисшедший до образа раба, но и восшедшии на крест и совозведший с Собой мой грех, чтобы умертвить его, когда называли Его самарянином и (еще хуже) имеющим в Себе беса, не стыдился этого и не укорял оскорбителей. Тот, кому легко было наказать нечестивых через ангельские силы и единым словом, со всей кротостью и снисходительностью отсылает от Себя оскорбителей, и проливает слезы о распинавших Его. Насколько же нелепо думать, что мы, именуемые галилеянами, будем сокрушаться об этом или стыдиться этого, или перестанем оттого ревновать о благе и больше уважим эти оскорбления, нежели душу и тело, тогда как и их умеем презирать ради истины (Мф. 10.28. Лк 9.24)? Напротив, более смешно, нежели прискорбно то, о чем я говорю; и мы предоставляем такую забаву зрелищам, ибо, конечно, никогда не превзойдем тех, которые на погибель свою забавляются там и других забавляют подобными вещами.

Но весьма уже лукаво и злонамеренно то, что, не имея сил убедить нас открыто и стыдясь принуждать мучительски, но под львиной шкурой скрывая лисью, или, если угодно, под личиной Миноса тая величайшее неправосудие (не знаю, как выразить это точнее), употребил он снисходительное насилие. Впрочем, поспешая словом, иное предоставлю желающим писать историю, и думаю, что многие, почитая даже делом благочестия поражать словом столь пагубного человека, позаботятся составить трагедию (если так должно назвать) или комедию тогдашнего времени, дабы и потомству было передано такое важное дело, стоящее того, чтобы не скрывать. Сам же вместо всего расскажу для примера одно или два из его деяний, расскажу для удивляющихся ему чрезмерно, пусть знают, что они удостаивают похвалы такого человека, для которого нельзя найти даже и порицания, какое он заслужил.

Не знаю, у всех ли народов, живущих под властью царей, по крайней мере у римлян, строго соблюдается одно царское постановление: в честь царствующих ставить всенародно их изображения. К утверждению их царской власти недостаточно венцов, диадем, багряницы, многочисленных законов, податей и множества подданных; чтобы внушить больше уважения к власти, они требуют еще поклонения, и поклонения не только своей особе, но и своим изваянным и живописным изображениям, чтобы воздаваемое им почтение было полнее и совершеннее. К таковым изображениям каждый император обыкновенно присовокупляет что-нибудь свое. Один изображает, как знаменитейшие города приносят ему дары; другой — как победа венчает его главу; иной — как преклоняются перед ним сановники, украшенные отличиями власти; другие представляют или зверей, пораженных меткими ударами, или варваров, побежденных и поверженных к ногам. Цари услаждаются не только делами, в которых являют свою славу, но и их изображениями.

Что же он замышляет? Какие строит козни для христиан, наиболее твердых? Подобно тем, которые подмешивают в пишу яд, к обыкновенным царским почестям примешивает он нечестие и с римскими установлениями соединяет поклонение идолам. Поэтому на изображениях своих, вместе с другими обыкновенными начертаниями, написав демонов, предлагает такие изображения народу и городам, и особенно начальникам областей, чтобы зло было неизбежным, чтобы или воздающий честь императору воздавал ее и идолам, или уклоняющийся от чествования идолов казался оскорбителем чести императора, потому что поклонение воздавалось совокупно. Такого обмана и сетей нечестия, столь хитро расставленных, избегли немногие, которые были богобоязненнее и проницательнее других; но они и наказаны за свою проницательность под предлогом, что оскорбили честь императора; в действительности же пострадали за истинного царя и за благочестие. А люди простые и нерассудительные по большей части были пойманы, и им, может быть, само неведение послужит извинением, как вовлеченным в нечестие хитростью. Одного такого поступка достаточно, чтобы опозорить намерение царя. Ибо, думаю, что не одно и то же прилично царю и простолюдину, так как достоинство их неодинаково. В простолюдине извинили бы мы какой-нибудь и хитрый поступок, ибо кому невозможно действовать явной силой, тому извинительно прибегать и к хитрости, но царю очень стыдно уступить силе, а еще стыднее и неприличнее, как думаю, прикрывать свои дела и намерения хитростью.

Другое ухищрение его по мысли и намерению одинаково с первым, но по обширности действия гораздо хуже и нечестивее; потому что зло распростиралось на большее число людей. И я присовокуплю это к сказанному: наступил день раздачи царских даров, или годичный, или тогда нарочно назначенный царем со злым умыслом. Надлежало собраться войску, чтобы каждый получил награду по достоинству и чину. Здесь открылось новое явление низости, новое зрелище нечестия! Бесчеловечность прикрашена каким-то человеколюбием, неразумие и жадность, по большей части неразлучные с воинами, уловлены деньгами. Блистательно торжествуя над благочестием и гордясь своими ухищрениями, во всем блеске председательствовал царь; подобно какому-нибудь Мелампу или Протею, и был и показывался всем, без труда преображаясь в новые виды. Что же происходило вокруг него, и каких достойно это рыданий для благомыслящих, не только тогда присутствовавших, но и теперь слышавших о таком зрелище! Предложено было золото, предложен и ладан; поблизости был огонь, недалеко — распорядители. И какой благовидный предлог! Казалось, что таков устав царской раздачи даров, освященной древностью и высоко ценимой! Что же за это? Надлежало возложить на огонь фимиам и получить от царя цену своей погибели, цену малую за дело великое — за целую душу, за нечестие против Бога. Гибельная купля! Горькое возмездие! Целое воинство продавалось одним злоухищрением; покорители Вселенной падали от малого огня, от куска золота, от небольшого курения, и большая часть не чувствовала своего поражения, что было всего горестнее. Каждый приступал с надеждой приобретения, но, приобретая, терял самого себя; поклонялся руке царя и не думал, что поклоняется своему убийце. И понявшим это было не легче, потому что однажды увлекшись злом, первый нерассудительный поступок почитали они для себя ненарушимым законом. Какие тысячи персов, стрелков и пращников, какие закованные в железо и ниоткуда не уязвляемые воины, какие стенобитные орудия успели быв том, что совершено одной рукой в одно время гнусным умыслом.

Присовокуплю одно сказание, вызывающее больше жалости, нежели описанное раньше. Говорят, что некоторые из обманутых по неведению, когда, подвергшись обольщению, возвратились домой разделить с товарищами трапезу, и когда пришло время, по обычаю, прохладиться питьем, как будто с ними не случилось ничего худого, приняв прохладительную чашу, стали возводить очи горе и с крестным знамением призывать имя Христово; тогда один из товарищей удивился и сказал: «Что же это? После отречения вы призываете Христа!» Они полумертвые спрашивали: «Когда же мы отрекались? Что это за новость?» Товарищ объяснил: «Вы возлагали фимиам на огонь, а это значит то же, что отречение». Немедленно оставив пиршество, как исступленные и помешавшиеся в уме, пылая ревностью и гневом, бегут они по торжищу и кричат: «Мы — христиане, мы — христиане в душе! Да слышит это всякий человек, а прежде всех да внемлет Бог, для Которого мы живем и готовы умереть. Мы не солгали Тебе, Спасителю Христе! Не отрекались от блаженного исповедания. Если и погрешила в чем рука, то сердце не участвовало. Мы обмануты царем, но не уязвлены золотом. Совлекая нечестие, готовы омыться кровью». Потом прибегают они к царю, повергают перед ним золото и со всем мужеством восклицают: «Не дары получили мы от тебя, царь, но осуждены на смерть. Не для почестей были призваны, но приговорены к бесчестию. Окажи милость своим воинам: отдай нас на заклание для Христа. Его одного признаем мы царем. Воздай огнем за огонь и за пепел нас обрати в пепел; отсеки руки, которые простирали мы на зло, — ноги, которыми шли к злу. Отдай золото другим, которые не будут раскаиваться в том, что взяли: для нас довольно одного Христа; Он заменяет нам все». Так говорили они и в то же время увещевали других познать обман, отрезвиться от упоения и оправдать себя перед Христом кровью. Царь вознегодовал на них, но удержался умертвить явно, чтобы не сделать мучениками тех, которые были уже мучениками, насколько было это в их власти; царь осудил их на изгнание и таким мщением оказал величайшее благодеяние, потому что удалил от своих происков и козней.

Хотя таковы были его желания, и во многих случаях употреблял он коварство, однако же поскольку не имел в сердце твердости и следовал более внушению злого духа, нежели собственному рассудку, то не выдержал своего намерения до конца и не сохранил злобы втайне. Рассказывают об огне Этны, что, накапливаясь внизу и удерживаемый силой, до времени кроется на дне горы и сперва издает страшные звуки (вздохи ли то мучимого исполина или что другое), также из вершины горы извергает дым — предвестие бедствия; но когда накопится и сделается неудержимым, тогда, выбрасываемый из недр горы, несется вверх, льется через края жерла и страшным до неимоверности потоком опустошает ниже лежащую землю. То же видеть можно и в нем. До времени владел он собой, держался своего злоухищренного правила и вредил нам обольщением; когда же неудержимый гнев переступил меру, тогда не в состоянии он был скрывать своей злонамеренности и восстал открытым гонением на божественный и благочестивый наш сонм. Умолчу об указах его против святых храмов, которые и всенародно были объявляемы и тайно исполняемы, — о разграблении церковных вкладов и денег, столько же из-за стремления к корысти, сколько и из-за нечестия, о расхищении священных сосудов и их поругании скверными руками, о священноначальниках и их подчиненных, которые за них были влачимы и истязаемы, — о покрытых кровью столпах, которые обвивали и опоясывали они руками во время своего бичевания, о стрелках, которые, превосходя свирепостью и ревностью давшего им повеление, бегали по селениям и городам, чтобы покорить нас, как будто персов, скифов и других варваров. Не буду говорить обо всем этом; но кто не знает о бесчеловечии александрийцев? Они и прежде много издевались над нами и теперь, без меры воспользовавшись временем, как народ по природе мятежный и исступленный к нечестивым делам своим, как сказывают, присовокупили еще то, что святой храм наш наполнили двойной кровью, кровью жертвенной и кровью человеческой, и это сделали под предводительством одного из царских философов, который через это только составил себе имя. Кому неизвестно буйство жителей Илиополя и сумасбродство жителей Газы, которым он удивлялся и отдавал честь за то, что хорошо понимали, в чем являет он свое величие? — и неистовство жителей Арефузы, которые раньше были неизвестны, а с этого времени стали очень известными? Ибо людям доставляют громкое имя не одни благодетельные, но и злые дела, когда они не находят себе одобрения даже у порочных.

О жителях Газы (из многих их злодеяний должно рассказать хоть об одном, которое могло привести в ужас и безбожников) говорят, что они непорочных дев, проводивших мирную жизнь, и которых едва ли когда касался мужской взор, вывели на улицу и обнажили, чтобы прежде надругаться над ними таким образом, потом рассекли и раздробили на части, и (как мне постигнуть долготерпение Твое, Христе, в то время!) одни злобно терзали собственными зубами, как достойные почитатели бесов, пожирали сырую печень и после такой снеди принимались за обыкновенную пишу; другие трепещущие еще внутренности дев посыпав свиным кормом и выпустив самых свирепых свиней, как бы для того открыли такое зрелище, чтобы видеть, как будет пожираема и терзаема плоть с ячменем - эта смешанная снедь, дотоле невиданная и неслыханная. И виновник этих дел стоил того, чтобы такой снедью кормить только своих демонов; как и хорошо напитал их своей кровью из раны, полученной близ сердца; хотя не понимают этого люди жалкие, по крайнему нечестию неспособные даже рассуждать.

Кто же так удален от обитаемых нами стран, чтобы не знал и не предупредил рассказом вспоминающего о чудном Марке и жителях Арефузы? При славном Констанции, по данной тогда христианам власти, он разрушил одно демонское жилище и многих от языческого заблуждения обратил на путь спасения, своей не менее светоносной жизнью, как и силой слова. За это жители Арефузы, особенно те из них, которые были привержены к почитанию демонов, давно уже негодовали на него. А как скоро дела христиан поколебались, язычество же начало подниматься, Марк не избежал господствующей силы времени. Народ хотя на время и удерживает свое негодование, однако же как огонь, кроющийся в горючем веществе, или как поток, удерживаемый силой, если только представится случай, обыкновенно воспламеняется и уничтожает преграды. Марк, видя против себя движение народа, который не знает меры ни в замыслах, ни в угрозах, сначала решается бежать, не столько по малодушию, сколько следуя заповеди, которая повелевает бегать из города в город (Мф. 10. 23) и уклоняться от гонителей; потому что христиане, при всем своем мужестве и готовности к терпению, должны не только иметь в виду свою пользу, но и щадить гонителей, чтобы, насколько возможно, не увеличить чем-либо опасности, в какой находятся враги их. Когда же Марк узнал, что многих за него влекут и гонят, а многие из-за лютости гонителей подвергаются опасности, не захотел для своего спасения равнодушно смотреть на бедствия других. Поэтому принимает другое решение, самое лучшее и любомудрое: возвращается и добровольно выдает себя народу — делать с ним что хотят, и с твердостью выступает против трудных обстоятельств. Каких здесь не было ужасов? Каких не придумано жестокостей? Каждый прибавлял что-нибудь свое к довершению зла; не постыдились (не говоря о чем другом) любомудрия мужа; оно еще более раздражало их; потому что возвращение Марка почитали более презрением к себе, нежели его мужеством в перенесении опасностей. Веден был посреди города старец — священник, добровольный страдалец, и по летам, а еще более по жизни, почтенный для всех, кроме гонителей и мучителей. Веден был людьми всякого возраста и состояния; тут были все без исключения, мужи и жены, юноши и старцы, люди, занимавшие городские должности и украшенные почестями; все силились превзойти друг друга наглостью против старца; все считали делом благочестия — нанести ему как можно более зла и победить престарелого подвижника, боровшегося с целым городом. Тащили его по улицам, сталкивали в нечистые ямы, волочили за волосы; не осталось ни одной части тела, над которой бы не надругались, которой бы не терзали нечестивцы, достойно терпящие терзания в таинствах Митры; дети поднимали вверх тело доблестного страдальца на железных остриях и передавали его одни другим, превращая в забаву это плачевное зрелище; голени старца тисками сдавливали до костей, уши резали тонкими и крепкими нитками, подняв самого на воздух в коробе. Облитого медом и отваром среди дня жалили его осы и пчелы, между тем солнце жгучим зноем палило и пекло плоть его, готовя из этого блаженного (не могу сказать, несчастного) тела для них самую горячую снедь. При этом, говорят (и это стоит, чтобы записать), старец, юный для подвигов (так как и среди лютых страданий не переставал он являть светлое лицо и услаждался самими муками), произнес достопамятное и достославное изречение: «Это — прекрасное предзнаменование, что я вижу себя на высоте, а их внизу, на земле». Так он намного возвышался духом над теми, которые его держали! Так далек был от скорби, что как будто присутствовал при страданиях другого, и не бедствием, а торжеством считал происходившее с ним. И кого бы не тронуло все это, кто имел хотя несколько милосердия и человеколюбия? Но этому препятствовали обстоятельства и неистовство царя, который требовал бесчеловечности и от черни, и от городов, и от начальников, хотя для многих, не знавших глубины его злобной хитрости, и представлялось это в ином виде. Вот какие мучения вытерпел мужественный старец! И за что? За то, что не хотел одной золотой монеты бросить истязателям, чем и доказал, что подвизался за благочестие. Ибо, пока арефузийцы, положив за разрушенный им храм слишком высокую цену, требовали, чтобы он или заплатил все деньги сполна, или вновь выстроил храм, до тех пор можно было еще думать, что он противится им более по невозможности исполнить требуемое, чем по искреннему благочестию. Но когда мало-помалу побуждая их своей твердостью и каждый раз убавляя что-нибудь из цены, наконец, довел он их до того, что просили с него самое малое количество, которое весьма легко было уплатить, и после этого, с равной неуступчивостью одни домогались взять хоть что-нибудь, и тем доказать свою победу, а другой не хотел ничего дать, чтобы только не остаться побежденным, хотя многие, не только из-за побуждения благочестия, но и из-за уважения к непобедимой твердости старца, усердно вызывались заплатить более, чем требовалось: тогда уже ясно можно было видеть, что он не денег жалеет, а подвизается за благочестие. Что означали такие поступки с Марком: снисходительность ли и кротость, или наглость и бесчеловечность, — пусть скажут нам удивляющиеся царю-философу; я думаю, что никто не затруднится дать справедливый и истинный ответ. Надобно еще прибавить, что Марк был один из тех, которые тайно увели и тем спасли этого нечестивца, тогда как весь род его подвергался опасности погибнуть, может быть, претерпел он достойно все эти муки, да еще и больших страданий был достоин за то одно, что, сам того не зная, сохранил такое зло для всей Вселенной. Говорят, что бывший тогда епарх (по религии язычник, а по нравам возвышавшийся над язычниками и уподоблявшийся лучшим мужам, славным в древности и ныне), который не мог равнодушно смотреть на муки и терпение этого мужа, смело сказал царю: не стыдно ли нам, царь, что все христиане побеждают нас, так что и одного старика, претерпевшего все мучения, мы не могли одолеть? И одолеть его — дело не великое, но быть им побежденными — не крайнее ли бедствие? Так, чего низшие начальники, по долгу, стыдились, тем гордился царь! Может ли быть что-нибудь бедственнее этого не столько для страдавших, сколько для действовавших? Таковы дела арефузийцев! Бесчеловечность Эхета и Фаларида маловажна в сравнении с их жестокостью, или лучше — с жестокостью того, по чьему побуждению и распоряжению это делалось; так как от семени происходят отпрыски, и от ветра — кораблекрушение.

Каковы же и как нестерпимы и другие дела его? Кто мне даст мастерство и язык Геродота и Фукидида, чтобы я мог передать будущим временам изображение всей злости этого человека и как бы на столпе начертать для потомства историю этого времени? Я умолчу об Оронте и о мертвецах, которых в ночное время, скрывая злодейства царя, река эта, переполненная трупами, тайно губила. Это слова поэта, которые приличнее можно отнести к Оронту. Не буду говорить и о тех тайных отдаленных частях дворца его, и о тех прудах, колодцах и рвах, которые наполнены были недобрыми сокровищами, то есть не только трупами отроков и дев, рассеченными при таинствах для вызывания душ, для гаданий и беззаконных жертвоприношений, но и телами пострадавших за благочестие. Не станем, если угодно, обвинять его в этом, так как и сам он стыдился этого и тем показывал хотя некоторую умеренность. Это видно из того, что он старался скрыть эти беззакония, как мерзость, которой не должно обнаружить. А что наших кесарийцев, этих великодушных и пламенных ревнителей благочестия, он так гнал и позорил,.— за это может быть нет нужды и порицать его: ибо он доведен был до этого мщения справедливым, как ему казалось, негодованием на них за храм богини счастья, потерпевшей несчастье во время счастливое. Надобно же сколько-нибудь уступить и неправде, когда она уже взяла над ним такую силу! Но кто не знает следующего события? Когда в одной области чернь неистовствовала против христиан и, умертвивши многих из них, грозила сделать еще более, областной начальник, желая держаться середины между требованиями законов и духом времени (так как и духу времени служить считал себя обязанным и имел некоторое уважение к законам), многих из язычников подверг наказанию. Что ж вышло? На него донесли; вдруг, с великим бесчестием, схватили его и представили царю, и он предан был суду за то, что наказал язычников, хотя ссылался на законы, по которым судить было ему поручено; едва не приговорен был к смерти; наконец, царь явил ему свое человеколюбие, то есть осудил его на изгнание. И при этом какое услышали удивительное и человеколюбивое изречение! «Что за важное дело, — сказал правосудный, не преследующий христиан судья, — если одна рука языческая умертвила десять галилеян?» Не явная ли это жестокость?

Не указ ли это о гонении, более ясный и ужасный, чем те, которые изданы всенародно? В самом деле, какое различие в том, объявить ли указом гонение христианам, или изъявлять свое удовольствие гонителям их и некоторую справедливость относительно христиан вменять в тяжкое преступление. Воля царя есть неписаный закон, огражденный силой власти и более сильный, чем написанные указы, не подкрепляемые властью.

Нет, говорят почитатели дел его, выдумывающие нам нового бога, кроткого и человеколюбивого, он не предписывал всенародно указами гнать христиан и заставлять их терпеть все, что гонителям будет угодно, и тем думают доказать, что он не был гонителем. Но никто еще не называл гидру кроткой за то, что она вместо одной головы, если верить басне, имеет девять, или Патарской химеру — за то, что у нее три головы, не похожие одна на другую, отчего она кажется еще страшнее; или адского цербера — кротким за то, что у него три же головы, похожие одна на другую; или морское чудовище Сциллу за то, что вокруг нее шесть отвратительных голов, и хотя, как говорят, верхняя половина ее показывала нечто благообразное, кроткое и не неприятное для глаз (ибо Сцилла была девица, имевшая нечто сродное с нами); но ниже были головы собачьи, звериные, не имевшие ничего благовидного, губившие множество кораблей и столь же опасные, как и головы противолежащей Харибды. И ужели ты будешь винить стрелы стрелка и камни пращника, а не самого стрелка и пращника; или винить собак охотничьих, яды составителей ядов, рога бодающихся быков, когти хищных зверей, а действующих ими будешь оставлять в стороне и считать невинными в том, на что они отваживаются? Подлинно, это было бы крайнее безумие, дело, достойное настоящего софиста, защищающего свои пороки и силой слова закрывающего истину. Впрочем ему не скрыть себя, хотя бы вертелся он на все стороны, хотя бы по своей хитрости принимал всевозможные виды, и надев, как говорят, шлем Аида или владея перстнем Гигеса и поворачивая его к себе печатью, мог делаться невидимым. Напротив, чем более старается он бежать и скрыться, тем более оказывается перед судом истины и перед сведущими судьями таковых дел как виновный в таких поступках и делах, которых и сам не захочет защищать и называть справедливыми. Так легко обнаруживается лукавство! Так оно само себя поражает со всех сторон.

Но не подумайте, чтобы только уже сделанное им было столь низко и несообразно с благородством и достоинством царским, а что замышлял сделать, то было более человеколюбиво, более достойно царя. Нет! Хорошо бы еще было, если бы готовящиеся им дела не были гораздо бесчеловечнее тех, о которых сказано. Как при движении дракона, одни сгибы чешуи его уже поднялись, другие поднимаются, иные готовы к тому же, а некоторые, хотя до времени еще спокойны, но не могут не прийти в движение; или, если угодно, другое сравнение, как при ударе молнии одни части уже горят, а другие сначала чернеют, пока огонь, усилившись, и их не охватит; так и у него — одни злодейства уже совершались, а другие были предначертаны в его надеждах и в угрозах против нас, и эти предначертания были так нелепы и необыкновенны, что только ему могло прийти на ум — иметь такие намерения и захотеть привести их в действие, хотя и до него много было гонителей и врагов христиан. Ибо о чем не помышляли ни Диоклитиан, первый из лютейших гонителей христианства, ни преемник его Максимиан, превзошедший его в жестокости, ни последовавший за ними и злейший их гонитель Максимин, потерпевший за это ужасную казнь, гнусную язву телесную>, знаки которой изображены, как на позорных столбах, на его статуях, стоящих и сейчас в публичных местах, — то замышлял он, как пересказывают сообщники и свидетели тайных его дел, но удержан был Божиим человеколюбием и слезами христиан, которые обильно проливались многими как единственная защита против гонителя. Замыслы же его состояли в том, чтобы лишить христиан всех прав и запереть для них все собрания, все площади, все общественные празднества и даже сами судилища; ибо, по мнению, не должно пользоваться всем этим тому, кто не захочет возжигать фимиама на стоящих там жертвенниках и не заплатит так дорого за права столь общие. О законы, законодатели и цари! Как Творец, с одинаковым человеколюбием, для всех общим и нескудным, дает всем наслаждаться и красотой неба, и светом солнечным, и свежестью воздуха, так и вы всем свободным людям одинаковое и равное предоставляете право пользоваться покровительством законов. А он замышлял отнять у христиан это право, так чтобы они, претерпевая и насильственные притеснения и отнятие имущества, и всякую другую, важную или неважную, обиду, возбраненную законами, не могли получать законного удовлетворения в суде. Пусть гонят их с родной земли, пусть умерщвляют, пусть, если возможно, не дают им и свободно дохнуть! Страдавших все это, конечно, утверждало больше в ревности и дерзновении перед Богом, а действовавших — еще более приводило к беззакониям и бесчестию. И какое же, по-видимому, премудрое основание для этого приводил этот убийца и отступник, нарушитель законов и законодатель, или, скажу точнее — словами наших книг Священных, этот враг и мститель (Пс. 8. 3)? То, что в нашем законе предписано: не мстить, не судиться (Рим. 12.19.1 Кор. б, 1), не иметь вовсе стяжаний, не считать ничего собственностью (Мф.10.9-Деян. 4.32), но жить в другом мире и настоящее презирать как ничтожное (Флп. 3,20.2 Кор. 4,18), не воздавать злом за зло (Рим. 12.17), когда кто ударит нас по щеке, не жалеть ее, а подставить ударившему и другую, отдавать с себя не только верхнюю одежду, но и рубашку. Может быть, к этому присоединит он и то, что нам предписано молиться за обижающих, и желал всякого блага гонителям нашим (Мф. 5. 39,40,44). Как не знать в точности тому, кто некогда был чтецом слова Божия, удостоен был чести служения великому алтарю и начинал строить храмы в честь Мучеников? Но вот чему, во-первых, я удивляюсь в нем: как он столь тщательно занимался Св. Писанием, а не прочел, или намеренно не заметил, того изречения, что зло погибнет злой смертью (Мф. 21.41), злой, то есть всякий, кто отверг Бога, и, что еще хуже, кто гонит твердо хранящих исповедание веры и отягчает их такими бедствиями, каких сам достоин. Если он может доказать, что как нам должно быть совершенными (что он предписывает законом) и неуклонно держаться данных нам правил, так ему назначено, или, по воле богов его, за лучшее признано — быть самым злым человеком, и что из двух противоположных навыков, которые суть добродетель и порок, нам присуждена лучшая часть, а ему и подобным ему брошен худший жребий; то пусть он сознается в этом, и тогда за нами останется победа, что засвидетельствуют и сами враги и гонители наши. Если же и они присвоят себе несколько честности и кротости, по крайней мере на словах, хотя не на деле; если и они, при всем том, что слишком худы и довольны злыми богами своими, не дошли еще до того бесстыдства, чтобы признавать порок за жребий, им собственно принадлежавший, то пусть скажут, как это может быть справедливо и где это предписано, чтобы нам среди всех страданий только терпеть, а им не щадить нас, хотя мы и щадили их? В самом деле, посмотрите на прошедшее. Были времена и нашего могущества и вашего, и оно переходило попеременно то в те, то в другие руки: какие же напасти терпели вы от христиан, подобные тем, которые так часто терпят от вас христиан? Лишали ли мы вас каких-либо прав? Возбуждали ли против кого неистовую чернь? Вооружали ли против кого начальников, которые бы поступали строже, нежели чем им предписано? Подвергли ли кого опасности жизни? Отняли ли у кого власть и почести, принадлежавшие мужам отличным? Словом, нанесли ли кому такие обиды, на которые вы так часто отваживались или которыми угрожали нам? Без сомнения, сами вы того не скажете, вы, которые ставите нам в вину нашу кротость и человеколюбие.

Кроме того, ты, мудрейший и разумнейший из всех, ты, который принуждает христиан держаться на самой высокой добродетели, как не рассудишь того, что в нашем законе иное предписывается, как необходимое, так что не соблюдающие того подвергаются опасности, другое же требуется не необходимо, а предоставлено свободному желанию, так что соблюдающие его получают честь и награду, а не соблюдающие не навлекают на себя никакой опасности? Конечно, если бы все могли быть наилучшими людьми и достигнуть высочайшей степени добродетели — это было бы всего превосходнее и совершеннее. Но поскольку Божественное должно отличать от человеческого, и для одного — нет добра, которого бы оно не было причастно, а для другого — велико и то, если оно достигает средних степеней, то почему же ты хочешь предписывать законом то, что не всем свойственно, и считаешь достойными осуждения не соблюдающих этого? Как не всякий, не заслуживающий наказания, достоин уже и похвалы; так не всякий, не достойный похвалы, посему уже заслуживает и наказание. Надобно требовать должного совершенства, во не выступая за пределы свойственного нам любомудрия и сил человеческих.

Но я должен опять обратить мое слово к словесным наукам, я не могу не возвращаться часто к ним, надобно постараться защитить их по возможности. Много сделал богоотступник тяжких несправедливостей, за которые он достоин ненависти; но ежели в чем, то особенно, кажется, в этом он нарушал законы. Да разделят со мной мое негодование все любители словесности, занимающиеся ею, как своим делом, люди, к числу которых и я не откажусь принадлежать. Ибо все прочее оставил я другим, желающим того, оставил богатство, знатность, славу, власть — словом, все, что кружится на земле и услаждает людей не более, чем сновидение. Одно только удерживаю за собой — искусство слова, и не порицаю себя за труды на суше и на море, которые доставили мне это богатство. О когда бы я и всякий мой друг могли владеть силой слова! Вот первое, что возлюбил я и люблю после первейшего, то есть Божественного, и тех надежд, которые выше всего видимого. Если же всякого гнетет своя ноша, как сказал Пиндар, то и я не могу не говорить о любимом предмете, и не знаю, может ли что быть справедливее, как словом воздать благодарность за искусство слова словесным наукам. Итак, скажи нам, легкомысленнейший и ненасытнейший из всех, откуда пришла тебе мысль запретить христианам учиться словесности? Это была не простая угроза, но уже закон. Откуда же вышло это и по какой причине? Какой красноречивый Гермес (как ты мог бы выразиться) вложил тебе это в мысли? Какие злохитрые Телхины и завистливые демоны? Если угодно, скажем и причину этого, именно после столь многих противозаконных и злых дел надлежало тебе, наконец, дойти и до этого, и тем явно напасть на самого себя, так что, где ты особенно думал действовать умно, там-то наиболее, сам того не замечая, опозорил себя и доказал свое безумие. Если же не так, то объясни, что значит это твое определение и какая причина побудила тебя ввести это новое постановление, касающееся словесных наук? И ежели ты скажешь что-нибудь справедливое, мы не будем обвинять тебя, а будем только жалеть о себе. Ибо мы научились как побеждать убеждениями разума, так и уступать над собой законную победу.

Словесные науки и греческая образованность (το ελληνιζειν), говорит он, — наши; так как нам же принадлежит и чествование богов; а ваш удел — необразованность и грубость; так как у вас вся мудрость состоит в одном: веруй. Но и у вас, я думаю, не посмеются над этим пифагорейские философы, для которых *сам сказал* есть первый и высший догмат, более уважаемый, чем самые золотые, или, вернее, свинцовые стихи. Ибо у последователей Пифагора после первой, так много прославляемой посвященными в таинства учения его, философии молчания, направленной к тому, чтобы ученики посредством молчания приучились размерять все слова свои, принято была за правило, о каких бы предметах учения ни спрашивали, дать ответ, и потом, когда будут требовать доказательства, не отвечать ничего, кроме следующего: так думал Пифагор; и это слово, так полагал он, служило доказательством, не подлежащим никакой проверке и исследованию. Но это выражение: *«сам сказал»,* не то же ли выражает, хотя и в других буквах и словах, что и наше *«веруй»,* над которым вы не перестаете издеваться и ругаться? Ибо наше изречение означает, что не позволительно не верить словам мужей богоносных, и то же самое, что они достойны вероятия, служит таким доказательством сказанного ими, которое крепче всякого логического довода и опровержения. Но допустим на время, что этот ответ неопровержим. Как же ты докажешь, что словесные науки тебе принадлежат? А если они и твои, то почему же мы не можем в них участвовать, как того требуют твои законы и твое бессмыслие? Какая это греческая образованность, к которой относятся словесные науки, и как можно употреблять и понимать это слово? Я готов вместе с тобой, любитель выражений обоюдных, разобрать его силу и значение, зная, что нередко одним и тем же словом означаются разные понятия, а иногда разными словами — одно и то же, и наконец, различными наименованиями — и различные предметы. Ты можешь сказать, что греческая образованность относится или к языческому верованию, или к народу и к первым изобретателям силы языка греческого. Если это относится к языческому верованию, то укажи, где и у каких жрецов предписана греческая образованность, подобно, как предписано, что и каким демонам приносить в жертву? Ибо не всем велено приносить одно и то же, и не все — одному, равно — и не единственным образом, как это угодно было определить вашим гиерофантам и учредителям жертвоприношений. Вот, например, у лидийцев благочестивым делом почитается проклинать Вуфина и, ругая его, тем воздавать честь божеству; у жителей Тавриды — убивать чужестранцев, у лакедемонян — бичевать себя перед жертвенником; у фригийцев — оскоплять себя под сладкие звуки свирелей и после утомительной пляски; у иных — мужеложствовать; у других — блудодействовать; и мало ли еще есть других непотребств, совершаемых при ваших таинствах, о чем я не считаю нужным говорить отдельно! Но кому же из богов или демонов посвящена образованность греческая? Да если б это было и так: однако из этого не видно, что она должна принадлежать только язычникам или что общее достояние есть исключительная собственность какого-нибудь из ваших богов или демонов; подобно, как и другие многие вещи не перестают быть общими оттого, что у вас установлено приносить их в жертву богам. Если же ты этого не скажешь, а назовешь вашей собственностью греческий язык и потому будешь нас лишать его как отеческого наследства, нимало нам не принадлежащего, то, во-первых, не вижу, какое может быть тому основание, или как можешь ты связывать это с почитанием демонов. Ибо из того, что у одних и тех же людей и язык и верование — греческие, еще не следует, чтобы язык принадлежал к верованию и чтобы поэтому справедливо было лишать нас употребления этого языка. Такое умозаключение найдут неправильным и ваши учителя логики. Ибо, если два сказуемых соответствуют одному и тому же подлежащему, то из этого еще не следует, что они и сами — одно и то же. Иначе, если предположим, что один и тот же человек — и золотых дел мастер и живописец, то надобно будет искусство живописи считать за одно с искусством ювелира, и наоборот, искусство ювелира признать за одно с искусством живописца, что совершенно нелепо. Потом я спрошу тебя, любитель греческой образованности и словесности: вовсе ли ты запретишь нам говорить по-гречески, даже обыкновенными, простонародными, общеупотребительными словами, или не дозволишь только употреблять слова отборные и высокопарные, которые доступны для одних отлично образованных? Если эти последние, то какой это странный раздел! Будто слова: σμερδαλεον (ужасно), κοαβιζειν (звенеть, звучать), μων (ли, или), δηπωθεν (итак), αττα (некоторая), αμωσγεπως (отчасти, несколько) принадлежат к одному наречию, а прочие надобно бросить в киносарг, как прежде бросали туда незаконнорожденных? Если же и простые, неизящные выражения равно принадлежат греческому языку, почему не лишаете нас и их, и вообще всякого греческого слова, каково бы оно ни было? Это было бы, как нельзя более, человеколюбиво и вполне достойно вашего невежества.

Но я хочу открыть тебе относительно этого предмета высшее и более совершенное умозрение. Не мое дело рассуждать, есть ли особенные какие-то слова богов (не говорю о словах μωλυ, ξανθον, χαλκις над ними я смеюсь), слова, которые превосходнее и знаменательнее наших и однако же образуются посредством органов голоса, и через воздух доходят до слуха, между тем, как богам сроднее было бы беседовать между собой только посредством мыслей и образов. А наше рассуждение таково: и язык и всякое искусство, или полезное учреждение, какое бы ты себе ни представил, принадлежат не одним изобретателям, а всем, ими пользующимся; и как в искусной музыкальной гармонии одна струна издает тот звук, другая — другой, высокий или низкий, но все подчиняется одному искусному руководителю хора и составляет одну прекрасную гармонию; так и здесь — высочайший Художник и Зиждитель — Слово, хотя избрал различных изобретателей разных полезных учреждений и искусств, но все предложил всем, кто хочет, дабы соединить нас узами взаимного общения и человеколюбия и украсить жизнь нашу кротостью.

Как же ты говоришь, что греческая образованность — твоя? Не финикийцам ли принадлежат письмена или, как думают другие, не египтянам ли, или еще не евреям ли, которые и их превосходят мудростью и которые веруют, что самим Богом начертан закон на богописанных скрижалях? Тебе ли принадлежит аттическое красноречие? А игра в шашки, наука чисел, искусство считать по пальцам, меры, весы, искусство строить полки и воевать — чье это? Не эвбеян ли? Потому что в Эвбее родился Паламид, который изобрел многое и, тем возбудив зависть, потерпел наказание за свою мудрость, то есть приговорен был к смерти воевавшими против Илиона. Итак, что же? Если египтяне и финикийцы, если евреи, у которых и мы заимствуем многое для своего обучения, если, наконец, жители острова Эвбеи будут по-твоему присваивать себе все это, как собственность, что нам тогда делать? Чем будем защищаться против них, попав под собственные законы? Не приведется ли нам лишиться всего того, и, подобно вороне в чужих перьях, что у нас оборвут их, и мы останемся голыми и безобразными? Или твоя собственность — стихи? Но что, если право на них оспорит та старуха, которая, когда толкнул ее в плечо быстро бежавший навстречу ей юноша, стала бранить его и в жару гнева, как рассказывают, выразила брань свою стихом, который очень понравился тому юноше и был приведен им в правильный размер, послужив началом стихотворства, столь тобой уважаемого? Что сказать о прочем? Если ты гордишься оружием, то от кого, храбрейший воин, у тебя оружие? Не от циклопов ли, от которых ведет свое начало искусство ковать? Если представляется тебе важной, и даже важнее всего, багряница, которая сделала тебя и мудрецом, и установителем таких законов, то не должен ли ты отдать ее тирянам, у которых пастушья собака, съев улитку и испачкав свои губы багряным ее соком, показала пастуху пурпуровую краску и передала вам, царям, через тирян это пышное рубище, плачевное для злых? Что еще сказать о земледелии и кораблестроении, которых могут лишить нас афиняне, рассказывающие о Деметpax, Триптолемах, драконах, Келеях и Икариях и передающие вам об этом множество басен, на которых основываются ваши бесстыдные таинства, поистине достойные ночной тьмы? Угодно ли тебе, чтоб я, оставив прочее, обратился к главному предмету твоего безумия, или, лучше, злочестия? То самое, чтоб посвящаться и посвящать в таинства и служить богам, откуда перешло к тебе? Не от фракийцев ли? В этом само слово – θρησκευειν (служить богам) может тебя убедить. А жертвоприношения — не от халдеев ли или от киприотов? Астрономия не вавилонянам ли принадлежит? Геометрия не египтянам ли? Магия не персам ли? Гадание по снам — от кого, как не от телмисян? Птицегадание от кого, как не от фригийцев, которые прежде других стали замечать полет и движения птиц? Но чтобы не многословить, откуда у тебя все частные принадлежности богопочтения? Не каждая ли от одного какого-либо отдельного народа? А из соединения всех их вместе составилось одно таинство суеверия! Итак, что же? После того как все отойдет к первым изобретателям, не должно ли будет допустить, что у тебя не останется ничего своего, кроме злобы и твоего богоотступничества, поистине нового? В самом деле, ты первый из христиан вздумал восстать против Господа, как некогда у скифов рабы против господ. Правда, что для тебя было бы весьма важно, если бы, по твоим определениям и законам, разрушилось это злое скопище, чтобы можно было освободиться от беспокойств и опять увидеть Римскую державу в древнем благосостоянии, свободной от всякого внутреннего междоусобия, которое гораздо нестерпимее и страшнее войны с внешними врагами, подобно как ужаснее терзать свою собственную плоть, нежели чужую.

Но ежели в этих его действиях вы видите хитрое злодейство, прикрытое личиной кротости и нимало не сообразное с величием царским: то вот я представлю вам опыты еще большего коварства. Он видел, что наше учение величественно и по своим догматам, и по свидетельствам данным свыше; что оно есть и древнее и новое, — древнее по проречениям и по просвечивающимся в нем мыслям Божества, новое — по последнему Богоявлению и по чудесам, какие вследствие его и при нем были; видел, что это учение еще более величественно и славно по переданным и до сих пор сохраняемым правилам церковного благоустройства. Итак, чтобы и это не избежало его злоухищрений, что замышляет он, что делает? Подражает Рапсаку ассирийцу, военачальнику ассирийского царя Сеннахирима. Рапсак, перенеся войну в пределы Иудеи, с великой силой и многочисленным войском осадил Иерусалим и близ самого города расположил свой стан, но когда не смог ни силой взять город, ни дождаться перебежчиков, которые бы сообщили ему что-нибудь о происходившем в города, то вздумал склонить жителей к покорности кроткими убеждениями, предлагая те на их языке. Однако же осажденные, как это известно из истории, заметив его умысел и опасаясь, чтобы приятностью речей его не быть пойманными в сети рабства, прежде всего потребовали, чтобы он говорил с ними не по-еврейски, а по-ассирийски. Подобное замыслил и он. Ибо готовился во всех городах завести училища, кафедры, высшие и низшие места для сидящих, чтения и толкования языческих учений, относящихся к образованию нравов и к таинствам, также образцы молитв, попеременно произносимых то теми, то другими, епитимьи согрешающим, сообразные преступлению, чин приготовлений к посвящению, и самого посвящения — словом, все, что очевидно принадлежит к нашему благочинию; сверх этого думал устроить гостиницы и приюты, убежища для любителей целомудрия, для дев, и обители для посвятивших себя размышлению; хотел подражать и нашему человеколюбию к нуждающимся, чтобы оказывать им всякое пособие и напутствовать их одобрительными письмами, с какими мы препровождаем бедных от одного народа к другому, чему он особенно удивлялся в наших установлениях. Вот что замышлял этот новый догматовводитель и софист. А что предприятие его не совершилось и не введено в действие, не знаю, считать ли это выгодой для нас, которые скоро освободились от него и от его замыслов, или более выгодой для него самого, потому что он должен был остановиться на одних мечтаниях. В противном случае, открылось бы, как далеки от движений человеческих подражания обезьян. Рассказывают, что и обезьяны подражают таким движениям, которые перед их глазами делает человек, чтобы обмануть их; но этим самым их и ловят, так как подражание их не может дойти до нашей смышлености. По свидетельству оракула, конь фессалийский, жена лакедемонская и мужи, пьющие воду Арефузы, то есть сицилийцы, превосходнее всех однородных с ними, но гораздо справедливее то, что христианские обычаи и законы одним только христианам и свойственны, так что никому другому, кто только захотел бы подражать нам, невозможно перенять их, и это оттого, что они утвердились не человеческими соображениями, но силой Божьею и длительным постоянством.

Теперь всего приличнее рассмотреть, как бы на вид, это дивное, или лучше, нелепое построение, и узнать, какой бы мог быть у них образ учения и какая цель собраний, чтобы, как говорит Платон о своем городе, построенном на словах, увидеть мысль их в движении. Все любомудрие разделяется на две части, на умозрительную и деятельную, из которых первая выше, но труднее к пониманию, а другая ниже, но полезнее. У нас обе они одна другой способствуют. Умозрение служит нам спутником к горнему, а деятельность — восхождением к умозрению, ибо невозможно достигнуть мудрости, не живя мудро. А у них, которые не черпают в Божественном вдохновении силы связующей, обе эти части подобны корням, не утвержденным в почве и носящимся по воде; и я не знаю, которая из них смешнее и слабее. Посмотрим же на их блаженство и позволим себе, как это бывает во многих зрелищных представлениях, немного позабавиться с забавляющимися рассказчиками басен и к сказанному: «радоваться с радующимися и плакать с плачущими» (Рим. 12.15) присовокупить и это: «поговорить о пустом с пустословами». При слезах бывает и смех, как это заметили стихотворцы. Итак, представим себе великолепное зрелище или, не знаю, как иначе велят они назвать дом свой. Пусть глашатаи сзывают слушателей, пусть сходится народ, пусть первые места займут или те, которые отличаются сединой старости и отменным образом жизни, или люди знаменитые по роду, по славе и по хитросплетенной мудрости земной, в которой более прелести, чем истинного благочестия. Мы отдадим им это преимущество; что же будут они делать после этого? Пусть сами запишут своих председателей. Пусть украшают их пурпуровая одежда, ленты и разноцветные прекрасные венки. Так как я часто замечал, что они заботливо пекутся о величавой наружности, о том, как бы стать выше простолюдинов; как будто все общеупотребительное и обыкновенное достойно презрения, а что показывает надменность и не может принадлежать многим, то и должно внушать доверие. Или и в этом снизойдут они до нас и будут, подобно нам, думать, что приличнее им быть выше других нравами, а не наружным видом? Так как мы мало заботимся о видимости и о живописной наружности, а больше о внутреннем мире человека и о том, чтобы обращать внимание зрителя на созерцаемое умом, чем и учим больше народ. Итак, пусть это будет, как сказано.

Что ж далее? Конечно, ты представишь им толкователей предвестий, которые вы называете божественными, раскроешь книги богословские и нравственные. Какие же и чьи, скажи, пожалуйста! Хорошо им пропеть «Теогонию Гесиода» и разглагольствовать об описанных там битвах и заговорах, о титанах и гигантах, страшных по имени и по делам. Котт, Бриарей, Гиг, Энкелад, представляемые у вас с драконовыми ногами, молниеносные боги и наброшенные на гигантов острова, стрелы и вместе гробы мятежникам; отвратительные исчадия и преждевременные порождения гигантов, гидры, химеры, Церберы, Горгоны — словом, множество всякого зла, — вот красоты, которые можно предложить слушателям из Гесиода! Теперь пусть предстанет со своей цитрой и всеувлекающей песнью Орфей; пусть прозвучат в честь Зевса те великие и чудные слова и мысли, в коих выражается его богословие.

«О Зевс, славнейший, величайший из богов, скрывающийся под пометом овец, коней и лошаков!» Верно, хотел он этим изобразить животворную и живоносную силу бога; и можно ли было иначе это выразить? Но он не скуп и на другие столь же высокие речи. Например: «Сказавши это, богиня δοιως ανεσυρατο μυρως», чтобы ввести своих любимцев в непотребные свои тайны, что еще и ныне изображается наружными телодвижениями. Пусть присоединятся ко всему этому еще Фанес, Ерикапей, и тот, который пожрал всех прочих Богов, а потом их изверг из себя и таким образом стал отцом людей и богов. Пусть все это предложат чудным слушателям богословия, потом пусть придумают на это аллегории и чудовищные толкования, и поучение, удаляясь от своего предмета, понесется в пучины или на стремнины умозрения, не имеющего никакой опоры. Но где поместишь ты Гомера, этого великого трагикомического певца богов? В удивительных его поэмах найдешь и то и другое, то есть и горе и смех. В самом деле, можно ли без большой заботы смотреть и ожидать, помирится ли, при посредстве Геры, нарядившейся, подобно блуднице, Океан с Тефидой? Иначе, беда всей Вселенной, если они еще некоторое время проведут целомудренно! Не знаю, будешь ли ты объяснять это так, что сухость и влажность должны быть примирены, дабы избытком какой-нибудь из них не приведено было все в беспорядок; или придумаешь что-нибудь еще более нелепое. Потом, какое чудное совокупление тучесобирателя и почтенной Геры, когда она убеждает его бесстыдством среди дня! А стихотворцы в своих мерных речах льстят ему, подстилая лотос росистый и возвращая из земли шафран и гиацинт. Это на чем основано и как может быть объяснено? Как сообразить и то, что одна и та же ваша Гера, сестра и супруга великого Зевса, белотелая и розоперстная, то представляется повешенной в эфире и в облаках с железными наковальнями, влекущими ее вниз, и с золотыми (конечно, из уважения к ней) оковами на руках, так что и для богов, хотевших заступиться за нее, не безбедно было их сострадание; то надевает на себя пояс любви и, пышно нарядившись, так пленяет Зевса, что все прежние вожделения его, как он сам признается, были гораздо слабее любви, тогда в нем возбудившейся? Или, как страшно, что за лакедемонскую блудницу приходят в движение боги, гремит небо, и оттого расторгнутся основания земли, сдвинется с места своего море, откроется царство ада, и явится то, что так долго оставалось скрытым? Или, как грозно это мановение черных бровей и колебание бессмертных волос, от которого весь Олимп потрясся? Потом, не чудно ли видеть, как ранен Арес, или как этот уродливый любовник золотой Афродиты, неосмотрительный прелюбодей, заключен в медную тюрьму и связанный хромым на обе ноги Гефестом собирает вокруг себя на зрелище богов, смотрящих на его непотребство, а потом отпускается за небольшие деньги?

Все эти и многие другие мифы, так умно и так разнообразно сложенные и из ряда вон выходящие, может ли кто-нибудь, насколько бы он ни был у вас возвышен и велик и даже равен самому Зевсу по мудрости, ввести в рамки приличия, какие бы ни придумывал он выводы, самые заоблачные и превышающие меру нашего понимания? И если все это истинно, то пусть же не краснея смотрят на то, пусть величаются тем или пусть докажут, что все это не постыдно. Для чего им прибегать к мифам, к этому прикрытию стыда? Миф — защита отступающих, а не тех, которые смело наступают. Если же это — ложь, то, во-первых, пусть укажут не прячущихся богословов, и мы поговорим с ними; потом пусть скажут, не глупо ли, как чем-то твердым, величаться тем, чего сами стыдятся, как баснословного? Не странно ли выставлять напоказ в изображениях и разных видах то, что могло бы оставаться неизвестным для народа (потому что не все учатся); а что того хуже, выставлять с такой тратой денег, жертвуемых на храмы, жертвенники, идолов, приношения, дорогие жертвы, и вместо того чтобы без всякой траты творить дела благочестия, с такими убытками служить нечестию? А если скажут, что это пустые вымыслы поэтов, которые двумя этими способами, мерной речью и баснями, хотели сделать свои творения приятными и тем услаждать слух, и что впрочем здесь есть сокровенный, глубокий смысл, постижимый только для немногих из мудрых; то смотрите, как просто и вместе с тем, как справедливо я рассужу об этом. Во-первых, за что они хвалят этих оскорбителей ими чтимых богов и едва не удостаивают божеских почестей? Для таких людей великим приобретением было бы — не потерпеть наказания за свое нечестие. Ибо если законами определена смертная казнь и тем людям, которые даже не всенародно, даже немного похулили бы одного из их богов, то какую казнь надлежало бы потерпеть тем, которые опозорили в своих стихотворениях всех богов, всенародно приписав им дела самые бесстыдные, и на долгое время предали их осмеянию? Потом достойно рассмотрения и следующее: есть и у нас некоторые слова откровенные; от этого не откажусь я; но какова их двузначность, и какая сила? В них и видимое не оскорбляет приличия, и сокровенное достойно удивления и весьма ясно для вводимых в глубину и, подобно прекрасному и неприкосновенному телу, не худой облекается и одеждой. И подлинно надобно, как мне кажется, чтобы и внешние знаки Божественного, и выражения о нем не были неприличны и недостойны означаемого, не были таковы, что и люди огорчились бы, слыша о себе что-нибудь подобное; напротив, они должны быть или в высочайшей степени прекрасны, или по крайней мере не гнусны, дабы могли и доставлять удовольствие мудрым, и не причинить вреда народу. А у вас и то, что нужно понимать умом, невероятно, и то, что предлагается взорам, пагубно. Что это за благоразумие — вести по грязи в город или по скалам и подводным камням — к пристани? Что из того выйдет? Какие будут следствия такого учения? Ты будешь пустословить и иносказаниями прикрывать свои бедствия или другие вымыслы, но никто не будет тебе верить. Скорее убеждаются тем, что видят. Итак, ты слушателю не принесешь пользы, а зрителя, останавливающегося на видимом, введешь в погибель. Такова умозрительная часть их любомудрия! Так далека она от предполагаемых ими целей, что скорее все прочее можно связать между собой, скорее можно соединить разделенное самым большим пространством, чем сочетать и привести в согласие их вымыслы, или подумать, чтобы и смысл басен и оболочка их были делом одного и того же учителя.

Что же сказать о нравственной части их любомудрия? Откуда и с чего начать им, и какие употребить побуждения, чтобы научить слушателей добродетели и посредством своих увещаний сделать их лучшими? Прекрасное дело — единомыслие, чтобы и города, и народы, и семейства, и все люди жили во взаимном согласии, следуя закону и порядку природы, которая все разделила и совокупила и эту совокупность разнообразных вещей сделала единым миром. Но какими примерами научат они единомыслию? Ужели тем, что станут повествовать о битвах богов, об их междоусобиях, мятежах и множестве бед, которые они и сами терпят, и друг другу причиняют, и каждый порознь, и все вместе, и которыми наполнена почти вся их история и вся поэзия? Но указывая на такие примеры, скорее сделаешь людей из мирных браннолюбивыми, из мудрых — исступленными, чем из дерзких и глупых — умиренными и здравомыслящими. Ежели и тогда, как нет приманки к злу, трудно бывает отвращать людей от порока и из худого состояния переводить в доброе, то кто убедит их быть кроткими и воздержными, когда у них боги — путеводители и покровители страстей, и быть порочным есть дело даже похвальное, награждаемое жертвенниками и жертвами и пользующееся законной свободой (так как всякий порок находится под покровительством какого-нибудь бога, которому он приписывается)? Подлинно, это величайшая нелепость, когда то самое, за что в законах положено наказание, люди чтят как нечто божественное. Такое у вас изобилие неправды. Во-вторых, пусть учителя язычников предложат им благоговейно уважать родителей и чтить в них первую вину бытия своего после Первоначальной Вины. Пусть приведут на это доказательства и представят убеждения из богословия. Как не убедит к тому Крон, который оскопил Урана, чтобы он не мог рождать богов, и дал бы волнам случай довершить рождение богини из пены? Как не убедит Зевс, — этот сладкий камень и горький убийца тирана, который, подражая отцу своему Крону, восстал против него? Не указываю на другие подобные побуждения к почитанию родителей, содержащиеся в их книгах. В-третьих, пусть наставники язычников попытаются научить их презирать деньги, не стараться из всего извлекать прибыль и не домогаться неправедных стяжаний — этого залога бедствий. Но как же тогда выставлять передними Кердоя? Как показывать мешок его? Как чтить проворство этого бога в воровстве? Куда годятся тогда и изречения: «Феб без меди не прорицает» или: «ничего нет почтеннее обола?» А все это у них — в великом уважении. Что еще? Не захотят ли они учить целомудрию, призывать к воздержанию? Убедительные образцы недалеко: вот сам Зевс, принимавший все виды для обольщения женщин, превращавшийся в орла по неистовой любви к фригийским отрокам, чтобы как можно веселее пировали боги, смотря, как подносят им вино бесчестные любимцы Зевса; вот еще Триеспер Геракл, в продолжение одной ночи в доме Фестия совершивший тринадцатый свой подвиг, который, не знаю почему, не включен в число прочих его подвигов. Нужны ли еще образцы обуздания страстей? Пусть гнев укрощает Арес, пьянство — Дионис, ненависть к чужестранцам — Артемида, страсть к обманам — лукавый их прорицатель, неумеренный смех — тот бог, прихрамывающий в собрании жалеющих о нем богов, который едва держится на тонких голенях, обжорство — Зевс, бегущий с прочими демонами на тучный пир к непорочным эфиопам, и еще Вуин, так названный оттого, что обидел земледельца и съел у него вола, тянущего плуг, так же как и прочие боги, которые все так спешно бегут на запах тука и возлияний!

Близко ли это к нашему учению, по которому каждый должен измерять любовь к другим любовью к себе и желать ближним того же, чего самому себе, по которому ставится в вину не только делать зло, но и замышлять, и наказывается пожелание, как и само дело, по которому должно так заботиться о целомудрии, чтобы воздерживать и око, и не только руки не допускать до убийства, но и сам гнев усмирять, по которому — нарушить клятву или ложно клясться — так страшно и нестерпимо, что и сама клятва нам одним воспрещена? Денег же у многих из нас вовсе не было, а другие хотя и имели их много, но только для того, чтобы многим пренебречь, возлюбив нестяжательность вместо всякого богатства. Служить чреву, этому несносному и отвращения достойному господину и источнику всех зол, пред оставляют у нас черни; не много будет, если скажу, что подвижники христианские стараются быть как бы бесплотными, изнуряя смертное бессмертным; для них один закон добродетели — не быть побежденными даже и малым, даже тем, что все оставляют без внимания. Между тем как другие наказывают по законам своим за совершение дела, мы пресекаем сами истоки греха, заблаговременно останавливая его, как некий злой и неудержимый поток. Что ж может быть превосходнее? Или, скажи мне, где и у каких людей найдешь ты, чтоб они, когда злословят о них — благословляли, когда хулят — утешались (ибо не обвинение причиняет вред, а истина), когда гонят — уступали (1 Кор. 4.12.13), когда отнимают у них одну одежду — отдавали и другую, когда клянут — молились за клянущих (Мф. 5.40—44), — одним словом, чтобы побеждали благосердием наглость и, терпеливо перенося обиды, самих обижающих делали лучшими? Пусть и они обуздывают порок увещаниями, по наружности благовидными; уступим им это, но где же им достигнуть нашей добродетели и нашего ученья, когда у нас и то считается уже злом, если не преуспеваем в добре, не делаемся беспрестанно из ветхих новыми, а остаемся в одном положении, подобно кубарям, которые только кружатся, а не катятся вперед, и хоть двигаются от ударов бича, но все на одном месте? Нам так много предстоит добрых подвигов, что один должны мы довершать, к другому приступать, третьего пламенно желать, пока не достигнем конца и Божьей благодати, для этого мы и получили бытие, и к этому неукоснительно стремимся, если только восходим умом горе и надеемся благ, достойных величия Божия.

# СЛОВО 5. Второе обличительное на царя Юлиана

Итак, словом моим совершен и окончен первый подвиг. Ибо довольно показал я злонравие человека, изобразив, что он нам сделал и что мог еще сделать, непрестанно выдумывая что-нибудь более тягостное, нежели настоящее. Теперь предназначу уже другую цель слову, которую едва ли и предназначал кто себе, цель священнейшую перед Богом, приятнейшую для нас, полезнейшую для потомков, — присовокупить к сказанному и то, как правдивы весы Божий и какие воздаяния находит для себя нечестие, то немедленно, то в скором времени, как это угодно бывает (полагаю я) Художнику — Слову и Распорядителю дел наших, который знает, когда загладить бедствия милостью и когда вразумить дерзость посрамлением и казнями, употребив известные Ему меры исправления. Но кто вполне изобразит болезни, по суду Божию постигающие нечестивых, терзания, не остающиеся втайне, другие различные поражения и казни, соразмерные преступлениям, необыкновенные случаи смерти, сознание вины среди самих страданий, бесполезное раскаяние, вразумления в сновидениях и свыше посылаемые видения? Или те ясные и очевидные доказательства гнева Божия, которые видели на себе дерзкие, осквернившие Божий храмы или надругавшиеся над священными трапезами, или оказавшие свое неистовство на таинственных сосудах, ненаказанно пожиравшие нашу плоть и отважившиеся на все прочее? Но я с намерением умолчу об этом, не потому, что не верил увиденному и рассказываемому, или приписывал события одному стечению обстоятельств или случаю, как представляют себе некоторые безрассудно, но дабы не подумали, что останавливаюсь на маловажном, опустив более важное и особенно замечательное. Начну же речь с известного всем чуда, которому верят даже безбожники.

Как волны воздвигая на волны, с каждым днем больше неистовствовал против нас вознеистовствовавший сперва на самого себя, поправший святыню *Духа благодати оскорблявший* (Евр. 10. 29), этот (приличнее сказать) Иеровоам, или израильтянин Ахаав (беззаконнейшие из людей), или египтянин фараон, или ассириец Навуходоносор, или, все эти имена соединив вместе, назовем его одного. Ибо кажется, что он совместил в себе пороки всех: отступничество Иеровоамово, непотребное убийство Ахаавово, ожесточение фараоново, святотатство Навуходоносорово и нечестие всех вообще. Испытав над нами все прочее и пренебрегши другими родами мучительства как малыми и незначительными (ибо не было существа способнее его изобретать и выдумывать зло) он, наконец, возбудил на нас иудейский народ, сделав орудием своего коварства давнее легкомыслие его и издавна в нем таящуюся ненависть к нам. Скрывая свои замыслы под видом благоволения к иудеям, он доказывал из их книг и таинств, что теперь настало предопределенное время вступить им в свою землю, воссоздать храм и восстановить силу отеческих обычаев. Когда же выдумал это и их убедил в этом (ибо все приятное легко вовлекает в обман), иудеи, как бы воспрянув, замыслили о храме, деятельно и ревностно стали трудиться над делом. Некоторые с удивлением рассказывают, что и жены их не только, снявши с себя все украшения, охотно жертвовали ими в пользу дела и трудящихся, но и сами на руках своих носили землю, не щадя ни дорогой одежды, ни нежных членов, признавали труды свои делом благочестия, а все прочее ставили ниже своего занятия. Когда же, устрашенные внезапно сильным вихрем и землетрясением, устремились к одному из ближних храмов, одни дли молитвы, другие, как обыкновенно бывает в подобных случаях, ища спасения, где пришлось, иные же увлечены были общим смятением, вмешавшись в толпу бегущих, тогда, по словам некоторых, храм их не принял. Идя к отворенным вратам, нашли, что они затворены какой-то невидимой силой, которая чудодействует подобным образом, чтобы привести нечестивых в ужас, а благочестивых в безопасность. Но все уже говорят и уверены, что когда силились войти, из храма вышел огонь и одних пожег и истребил (так что с ними случилось нечто подобное постигшему содомлян, или чуду, совершившемуся с Надавом и Авиудом, которые воскурили чуждый огонь и погибли необычайно), а других, изувечив, оставил живым памятником Божия гнева и мщения на грешников. Так это было, и всякий должен верить этому, равно как и другим Божиим чудесам. Еще же удивительнее и очевиднее для всех был свет на небе, изображавший крест. Это начертание и имя, которое прежде презираемо было на земле безбожными, делается ныне для всех равно видимым на небе и служит знамением Божией победы над нечестивыми, предпочтительно перед всяким другим победным знамением.

Что скажут на это мудрецы века нашего, которые у нас хвалят свое, носят длинные бороды и влачат по земле нарядные плащи свои? Рассказывай вместо этого свое и ты, пишущий длинные речи, составляющий невероятные истории, устремляющий взор к горнему, перетолковывающий небесные знамения и по движению звезд заключающий о рождениях и других происшествиях! Говори мне о своих звездах, о венце Ариадны, о волосах Вероники, о похотливом лебеде, о наглом тельце и, если хочешь, о твоем змиедержце, о козероге, о льве и о всех других, которых ты, зная по злодеяниям, сделал или богами, или звездами. Где найдешь такой круг в своей математике? Где найдешь звезду, которая бы шла впереди с востока к Вифлеему путеводительницей и покровительницей твоих волхвов? Я могу сказать нечто о небесных знамениях: та звезда открыла пришествие Христово, а эта была венцом Христовой победы. Вот что скажу о небесном и горнем, которое, по великому согласию и сродству всего, участвует в наших делах; прочее же восполнит у меня псалом: *и города ты разрушил* (Пс. 9.7). Подобно тем древним городам, разоренным за подобное нечестие, они в само время беззаконных действий с нами или поглощены морем, или разрушены землетрясением, так что могу почти досказать и остальное: *погибе память их с шумам,* погибла громко. Таково было их падение и разрушение, что много нужно времени на восстановление их, если бы кто и отважился на это из соседей, даже наиболее утешающихся благочестием. Таковы были явления на земле и на небе! Но и в самом воздухе не положено ли было в то время знамений, и он не освятился ли тогда знамениями страдания (Христова)? Зрители и свидетели его чуда да покажут и ныне одежды, запечатленные тогда знамениями Креста. Как скоро кто из наших или из посторонних рассказывал о том или слушал рассказывающих, тотчас видел чудо или на себе или на ближнем: сам был в звездах, или видел звезды на одеждах другого, испещренных лучше всякой мастерской ткани или искусной живописи. Что ж произошло из этого? Зрителей так это поразило, что все почти, как бы по одному мановению и в один голос, начали призывать Христианского Бога и умилостивлять Его славословиями и молитвами. Многие, нимало не отлагая, в то же время, как случилось это, пришли к нашим священникам и после усиленной просьбы сделались членами Церкви, наставлены в таинствах Веры, очищены Божественным Крещением и, таким образом, через страх избавились от страха. Но об этом довольно.

Юлиан, более и более подстрекаемый и движимый бешенством, наконец восходит на самый верх своих бедствий. Поскольку он думал, что дела христиан идут по его желанию, поскольку сделанное им уже обнадеживало его, что все покорится ему, если он только захочет; к тому же, восхитил он победу над западными варварами, то и предпринимает это намерение, весьма благоразумное и человеколюбивое. Взяв отсюда два войска, и воинов и демонов, им управлявших (на которых больше надеялся), выступает он в поход против персов, полагаясь более на свою безрассудную дерзость, нежели на крепость сил. И этот мудрец не мог понять и того, что смелость (θαρσος) и дерзость (θρασος) хотя близки по имени, однако же больше всего различны между собой по действиям; я подразумеваю мужество и трусость. Быть смелым в делах, требующих отважности, есть знак мужества; тогда как ослабевать есть знак боязливости. Но идти и бросаться туда, где больше опасности, а не удерживаться, есть знак дерзости; тогда как уклоняться есть знак осторожности. Нельзя полагать, чтобы одно и то же значило сохранять, что имеешь, и приобретать, чего не было. Первое особенно и преимущественно достойно уважения людей благоразумных, за последнее, если оно удобно, надобно приниматься; в противном же случае, оно достойно презрения. Кто в надежде приобрести что-нибудь подвергает себя опасности лишиться всего, что имеет, тот весьма неблагоразумен. Такой человек кажется мне подобным плохому бойцу, который начинает бороться раньше, нежели станет в твердое положение, или тому кормчему, который топит и старается потопить неприятельский корабль, когда свой корабль без снастей и не способен к плаванию.

Юлиан, кажется, нимало не думал об этом; он без осмотрительности приступает к исполнению своего предприятия; думает о приобретении чужой области, когда дела римлян были им расстроены и находились в худом положении, особенно вследствие гонения. Будучи Салмонеем, который производил гром кожей, он простирал взоры к тем Траянам и Адрианам, в которых осторожность была удивлена не менее мужества, и не помыслил ни о Каре, ни о Валериане, которые за безрассудную стремительность (говорю не в укоризну злой судьбе, как выражается трагик) понесли наказание, в пределах Персии претерпев поражение, когда находились на вершине счастья. Но он решился на это и предался своей стремительности, собрав воедино все, что выходило из меры в прорицаниях и волшебствах, слыханных и неслыханных жертвах, дабы все вдруг рушилось. И какой великий, чрезвычайный обет изрек он, Христе мой и Слове! И страдания Бесстрастного, и таинство целого мира, — весь род христианский предать демонам, если преуспеет в предпринятом.

Начало же похода, столь отважного и восхваляемого многими из его единомышленников, было таково: захватив и опустошив ту часть Ассирии, которую рассекает Евфрат и по которой протекает мимо Персии до соединения своего с Тигром, Юлиан разорил некоторые крепости, в чем почти никто ему не препятствовал, потому ли что он обманул персов быстротой нападения, или потому, что сам был обманываем персами и завлекаем понемногу вперед (говорят то и другое). Так шел он дальше, между тем как подвигалось войско, а рекой на кораблях везли хлеб и снаряды; и в скором времени останавливается станом у Ктезифона, приближение к которому из-за желания овладеть этим городом казалось уже ему частью победы. С этого времени дела его пошли назад, как будто песок подсыпали под ноги или буря встретила корабль. Ктезифон — твердая крепость, которую трудно взять; она ограждена кирпичной стеной, глубоким рвом и болотистой рекой. Еще более укрепленной делает ее другая крепость, называемая Кохе и огражденная природой и искусством. Обе крепости так соединены, что представляются одним городом и разделены только рекой. Поскольку нельзя было ни взять их приступом, ни покорить осадой, ни пройти между ними, особенно на кораблях (была опасность, что сверху с обеих сторон забросают стрелами и преградят путь), то Юлиан обходит крепости и поступает таким образом: отведя немалую часть Евфрата, величайшей из рек, и в один ров, которого древний след, как говорят, был виден, пустив столько воды, сколько нужно было для плавания кораблей, повыше Ктезифона соединяет его с Тигром; а благодаря этому спасает корабли, безопасно переведенные из одной реки в другую, и избегает опасности, угрожавшей из крепости.

Между тем как Юлиан идет вперед, появляется персидское войско и непрестанно возрастает в числе, но не считает нужным стать лицом к лицу и подвергаться опасности без крайней необходимости, имея возможность одолеть с малым усилием, напротив, с высоких мест и из теснин, где представится случай, поражает копьями и стрелами, занимает наперед удобные проходы и тем преграждает путь Юлиану. Тогда приходит уже он в большое затруднение и, не зная куда обратиться, находит худой конец своего замысла. Один перс, не низкого происхождения, подражая Зопиру, бывшему у Кира при осаде Вавилона, под видом, что важным проступком навлек на себя великий гнев персидского царя и сделался весьма нерасположенным к нему, питает же расположение к римлянам, притворством своим приобретает доверие Юлиана и говорит ему: «Что это значит, государь? Почему такие легкие меры в таком деле? Для чего у тебя этот хлеб на кораблях — это излишнее бремя, внушающее только малодушие. Ничто так не побуждает противиться начальству и упорствовать, как сытое чрево и мысль, что под руками спасение. Но ежели послушаешь меня; то бросишь корабли и тем освободишь от малодушия свое храброе войско. Сам же ты другим удобнейшим и безопаснейшим путем, по которому я твой проводник (и могу сказать, что едва ли кто другой лучше меня знает Персию), вторгнешься в неприятельскую землю и возвратишься с желаемым успехом. Тогда окажешь благодеяние и мне, когда изведаешь на деле мое благорасположение и мой совет». Как скоро он сказал это, и Юлиан поверил словам его (ибо легкомыслие легковерно, особенно при Божием попущении); вдруг настали все бедствия. Корабли взял огонь; хлеба не стало; последовал смех; ибо это было почти вольное самоубийство; все надежды исчезли; проводник скрылся со своими обещаниями. Кругом враги; война разгоралась; удобного прохода не было; пища добывалась с трудом; войско пришло в уныние и негодовало на царя; нисколько не оставалось благой надежды. Одно средство представлялось к спасению в настоящих обстоятельствах — избавиться от худого царствования и военачальства.

Так все происходило до сих пор, а что последовало затем, рассказывают неодинаково; бывшие, равно, как и не бывшие на войне, соглашаются, один на то, другой на другое. Одни говорят, что Юлиана застрелили персы, когда он, в одно из беспорядочных нападений, вне себя бросался туда и сюда, и что с ним случилось нечто, подобное участи Кира, сына парисатова, который с десятью тысячами войска напал на брата своего Артаксеркса и, сражаясь отважно, утратил победу по своей запальчивости. Другие рассказывают о нем следующее: Юлиан взошел на один высокий холм, чтобы с него, как с башни, обозреть все войско и узнать, сколько осталось в сражении. Когда же войско, сверх чаяния, показалось ему весьма многочисленным, как человек, завидующий спасению своих воинов, сказал он: «Как будет досадно, если всех их поведем в римскую землю!» Один из воинов, раздраженный этими словами, не удержал досады и поразил его в чрево, не заботясь о сохранении своей жизни. А некоторые говорят, что на это отважился один из тех иноземных шутов, которые следуют за войском для веселья и для потехи на пирах. Иные же отдают эту честь одному сарацину. Как бы то ни было, Юлиан получает действительно благовременный удар и спасительный для целого мира; одним ударом меча наказывается он за сечение многих утроб, которым нечестиво веровал. И дивлюсь, как этот суетный человек, думавший, что может все знать посредством рассекаемых утроб, не предузнал этого одного, то есть удара в собственную утробу. Неприлично умалчивать и о поступке его, который, кроме многого другого, неоспоримо доказывает его неистовство. Юлиан лежал на берегу реки и страдал от раны. Поскольку же знал, что многие из прославившихся прежде него, чтобы почли их чем-то выше человека, посредством некоторых хитростей исчезали из среды людей и за то были признаны богами, то и он, плененный желанием подобной славы, притом стыдясь самого рода смерти, бесславно постигающей его за собственное безрассудство, что замышляет? что делает? Его нечестие не прекращается и с жизнью! Он покушается броситься в реку и для этого пользуется помощью людей, верных ему и участников его тайн. И если бы один из царских евнухов, догадавшийся, в чем дело, и объяснивший другим, из отвращения к злодеянию, не воспрепятствовал намерению, то, может быть, из бедствующего Юлиана явился бы еще новый бог для людей неразумных. Но он так царствовал, так предводительствовал войском, так оканчивает и жизнь!

Вскоре после него принявший царский сан и провозглашенный царем среди воинского стана, в самом пылу опасностей, необходимо требовавших предводителя, был муж знаменитый и по другим достоинствам, и по благочестию, и по наружности, истинно достойной властителя. И хотя не имел он недостатка ни в мужестве, нив ревности; однако же не мог ни сразиться с персами, ни идти вперед, потому что войско ослабело в силах и надеждах. Сделавшись наследником не царства, а поражения, он заботится о возвращении в отечество и ищет средств, как совершить это безопасно. Если бы персы по своей умеренности в победе (ибо у них был закон — в счастье соблюдать умеренность) или по опасению каких-либо слухов не обратились к мирным предложениям, сколько неожиданным, столько же и человеколюбивым, то не было бы средств, как говорят, и огненосцу остаться в войске*.* Так римлян теснили персы, сражавшиеся на своей земле и воодушевленные предшествовавшими событиями, ибо довольно приобрести сколько-нибудь успеха, чтобы иметь надежду на будущее.

Но преемник Юлиана, как сказал я, теперь заботился об одном — спасти войско, сохранить силу римлян. Ибо эти воины действительно составляли силу римлян и если действовали неудачно, то более по безрассудству военачальника, нежели по недостатку собственного мужества. С персами заключен был договор (скажу кратко) постыдный и недостойный воинства римского. Но если бы кто, оставив в стороне Юлиана, стал порицать за него преемника, то, по моему мнению, он был бы плохим судьей тогдашних происшествий. Ибо колос принадлежит не жнецу, а сеятелю; в пожаре виновен не тот, кто не мог погасить, но кто зажег. Здесь кстати привести сказанное Геродотом о Самосских тиранах: эту обувь сшил Истией, а носил Аристагор, продолжавший начатое предшественником.

После этого что оставалось делать, как не возвратить римлянам тело нечестивца, хотя как он окончил жизнь? Но как и у нас есть усопший, прежде него оставивший жизнь, то посмотрим, какое и здесь различие между обоими царями (если и это сколько-нибудь служит к счастью или злосчастью отшедших). Один сопровождается всенародными благословениями, торжествами, шествиями и нашими священными обрядами, всенощными песнопениями, возношением светильников, чем мы христиане чтим благочестивое преставление; и вынос тела его становится радостным торжеством, растворяемым печалью. Если верить молве, которая достигла слуха многих, то, когда тело Констанция несли через Тавр в его родной город, ему соименный и знаменитый, — на вершине гор некоторыми слышан был голос как бы поющих и сопровождающих, и думаю, что это был голос Сил Ангельских, — награда ему за благочестие и надгробное воздаяние. Если он, по-видимому, и поколебал правое учение; то в этом виновны невежество и зловерие его вельмож, которые, уловив душу простую, неутвердившуюся в благочестии и не предвидевшую бездны, влекли ее, куда хотели, и, под видом попечительное™, возбуждали ревность к злу Но мы, помышляя о том, что более касается всех, то есть об отце его, который положил основание царской власти в христианстве и Вере, и о наследии учения, перешедшем от отца к нему, почтили должным образом земную храмину того, кто жил достойно царя, окончил жизнь смертью праведника и оставил нам могущество. Нужно ли говорить о сопровождении целого воинства, когда тело приблизилось в великому царствующему граду, и о рядах вооруженного войска, представших царю, как живому, или о том, как весь город потек на встречу, которая блистательнее всех, когда-либо бывших и будущих? Да и этот дерзкий и отважный, облеченный в новую порфиру и потому, вероятно, высоко о себе думающий, сам составляет часть торжественного шествия, воздает и приемлет почесть; одно, как говорят, несколько принужденно, другое охотно. Ибо все войско, хотя покорилось настоящей власти, однако оказывало больше уважения умершему; и (как обыкновенно бываем благорасположеннее, когда потеря еще свежа в памяти) скорбя и сожалея о любимом царе, воины не потерпели, чтобы он был лишен царских почестей, но убеждают и отступника принять в них участие, даже принуждают встретить умершего в приличном виде, то есть, сняв с головы диадему и воздав царю должное поклонение, идти вместе с несущими в гробницу — в знаменитый храм Апостолов, которые приняли в себе и сохраняют этот священный род, удостоившийся почти равной чести. Так погребен наш Император!

Напротив, и поход Юлиана был бесславен (народы и города его преследовали кликами черни и шутов, о чем и ныне еще многие помнят); а возвращение его было еще бесславнее. Какое же это бесславие? Его несли скоморохи, шествие сопровождалось неприличными игрищами; пили, плясали, поносили его за отступничество, за поражение и смерть. И какого оскорбления не понес он? Чего не выслушал от людей дерзких, которые в оскорблении других ставят свое искусство? Наконец, принимает его город Таре, не знаю, как и за что осужденный на такое посрамление. Здесь и место погребения назначено ему бесчестно, и гроб нечистый, презренный, отвратительный для благочестивого взора.

Я описал только самые главные и важные вины Юлиана; но знаю и то, что двум или трем придворным ласкателям, равным ему в нечестии (о других охотно умалчиваю), дана была за нечестие такая награда, что они в короткое время беспрепятственно опустошили бы все владения римлян на суше и на море, если бы этим делам вскоре не был положен благоприятный конец. Настолько превосходили они грабительством и жадностью древних сторуких гигантов! Управление областями поручалось людям не самым правдивым, но самым бесчеловечным. Одно было право на получение начальства — отступничество; и те только получали дары от Юлиана, которые замышляли наибольшее зло против себя и других. Что сказать о переменах и переиначиваниях в судебных определениях, которые в одну ночь менялись и поворачивались туда и сюда, подобно приливу и отливу в море? Ибо этот неутомимый муж хотел сам производить суд, все присваивая себе из честолюбия. Может быть, подумают, что я слишком виню за малые преступления и малыми уменьшаю большие. Впрочем, всякий согласится, что такие дела не Елисейских достойны полей и не славы, какую имеет там Радомант, и какой удостаивают Юлиана люди одного с ним собратства и разряда. Одному удивляюсь в Юлиане: многих своих сверстников и знакомых, особенно по Азийским училищам, настоятельно приглашал он к себе, как бы намереваясь произвести дела дивные, и окрылял надеждами, припоминая свои обещания. Когда же они являлись, оказывалось, что это одна хитрая уловка и обольщение глаз. Одних проводил он тем, других иным. Некоторых дружески даже приглашал к столу; вместо всякой другой приманки, величал товарищами, подавал им чашу, шутил с ними, но отпускал от себя ни с чем; так что они не знали, кого более винить, его ли в обмане, или самих себя в легковерии. Не сочту нужным упоминать о том, сколь недостойно похвалы в правилах этого философа, что, имея перед собой примеры государей твердых и непоколебимых, которые, что бы ни случилось, не изменялись в лице и не показывали никаких следов смущения, он столько был негневлив и умел владеть страстями, что, производя суд, шумом и криками наполнял весь дворец, как будто сам терпел насилие и ущерб, а не других защищал от этого. Но кому неизвестно, что многих из поселян, всенародно приходивших к нему за тем, о чем обыкновенно просят царей, он при всех бивал кулаками и топтал ногами, и обходился так жестоко, что они радовались, если не подвергались чему-либо тягчайшему? В какой же части Слова упомянуть о тех дуновениях и отдуваниях, которые этот дивный муж, в осмеяние наших обрядов, производил на показ старухам, зажигая огонь на жертвеннике? Как хорошо было видеть римского царя с обезображенными щеками, возбуждающими большой смех не только у посторонних, но и у тех, которым он думал доставить этим удовольствие! Верно он не слыхал, что богиня его, Афина, прокляла свирели, когда, посмотревшись вместо зеркала в воду, увидела, что свирель обезобразила ее лицо. Ужели не заслуживают удивления те круговые чаши, которые Юлиан всенародно подавал непотребным женщинам и сам от них принимал, прикрывая свое распутство видом таинства? Другие узнали на собственном опыте, когда власть доставила Юлиану полную свободу; но я некоторым образом провидел это издавна, с тех пор, как был с ним вместе в Афинах, куда он прибыл вскоре по возвращении брата своего, испросив на то позволения у Императора. Были две причины для этого путешествия: одна благовиднейшая — обозреть Грецию и ее училища; другая отдаленнейшая и не многим известная — посоветоваться с тамошними жрецами; потому что нечестие не имело еще явной дерзости. И тогда я неплохо разгадал этого человека, хотя и не принадлежу к числу искусных в таком деле. Меня сделали прорицателем непостоянство его нрава и неумеренная восторженность; если только наилучший прорицатель — тот, кто умеет хорошо угадать. По мне, не предвещали ничего доброго: шея нетвердая, плечи движущиеся и выравнивающиеся, глаза бегающие, наглые и свирепые, ноги — не стоящие твердо, но сгибающиеся, нос, выражающий дерзость и презрительность, черты лица смешные и то же выражающие смех громкий и неумеренный, наклонение и откидывание назад головы без всякой причины, речь медленная и прерывистая, вопросы беспорядочные и несвязные, ответы ничем не лучше, смешиваемые один с другим, нетвердые, не подчиненные правилам.

Но для чего описывать подробно? Таким же видел я его прежде, каким узнал и по делам. Если бы здесь находились некоторые из бывших со мной тогда и слышавших мои слова, они без труда засвидетельствовали бы это. Ибо тогда же, как увидел, сказал я им: «Какое зло воспитывает Римская Империя!» и предрекши, желал быть ложным прорицателем. Ибо лучше бы мне быть лжепророком, нежели испытать Вселенной столько зол, и явиться на свет такому чудовищу, какого не бывало прежде; хотя и повествуют о многих наводнениях, о многих воспламенениях, извержениях и провалах земли, о людях бесчеловечных, о зверях чудовищных и многосложных, не в обыкновенном порядке производимых природой. И потому имел он конец достойный своего безумия. Здесь только Бог не явил Своего обычного долготерпения, потому что Его человеколюбие было бы бедственно для многих. В людях добродетельных оно произвело бы уныние, а в грешных — высокомерие и мысль, что никто не назирает над нашими делами, нет ни управления, ни воздаяния, но все движется и управляется случайно, — мысль, показывающая лукавый ум, весьма пагубно рассуждающий о самых важных предметах!

Вот что вещаем мы — галилеяне, люди презренные, поклоняющиеся Распятому, ученики рыбарей и, как сами говорят, невежд; мы, которые заседаем и поем псалмы вместе со старухами; мы, которые изнурены продолжительными постами и полумертвые напрасно бодрствуем и пустословим во время всенощных бдений, и — однако же низлагаем *вас Где делавший перепись? Где весивший дань?* (Ис. 33.18). Я заимствую эту победную песнь у одного из наших немудрых, как вам представляется. Где жертвы, обряды и таинства? Где заклания явные и тайные? Где искусство гадать по рассеченным внутренностям? Где чудеса предвидения и знамения чревовещателей? Где славный Вавилон, о котором столько было толков, и вся Вселенная, которую мечтал ты покорить себе, пролив немного нечистой крови? Где персы и мидяне, которых считал у себя в руках? Где боги, тобой сопровождаемые, тебя направляющие и сопровождающие, твои защитники, соратники? Где прорицания и угрозы на христиан или совершенное истребление нас и имени нашего в определенный срок? Все исчезло, обмануло, рассеялось; все велеречивые похвалы нечестивых оказались сновидением.

Когда один иноплеменный царь с многочисленным войском напал на Езекию, царя иудейского, обложил Иерусалим и злобно изрыгал нечестивые и богохульные слова на царя и самого Бога, как будто уже не оставалось средств спасти город от его владычества: тогда Езекия приходит в храм, раздирает одежды, проливает потоки слез, воздев руки к небу, призывает Бога в свидетели богохульства Сеннахирима и молит Его быть мстителем за высокомерные угрозы. «Видишь, Господи, — говорит он, — как этот иноплеменник поносит Тебя —Бога Израилева; *Ты видел, Господи, да неумолчи* (Пс. 34.22)». И молитва царя не осталась тщетной, ибо восстающий против Бога познал на деле свое безумие и ушел, не исполнив угроз своих: поражаемый вдруг некой невидимой силой, он потерял большую часть войска и был прогнан неприятным известием, сверх чаяния положившим конец осаде и его надеждам. Так поступил Езекия, окруженный многочисленным войском, царь великого Иерусалима, который, может быть, и сам собой отразил бы враждебные полчища. А мы, для которых оставалось одно оружие, одна стена, одна защита — надежда на Бога (потому что совершенно лишены были отовсюду всякой человеческой помощи), мы от кого иного могли ожидать, что услышит наши молитвы и отразит угрозы, как не от Бога, Который с клятвой отверг высокомерие Иакова ? О какие невероятные повествования! Какие дерзкие надежды! Мы демонам обещаны были в жертву; мы — великое наследие Божие, *народ святой, царственное священство* (1 Пет. 2.9), предназначались в награду за исполнение одной надежды, за победу в одной брани. Таков дар от тебя христианам за то, что к общему вреду спасен ими! Так воздал ты Господу Богу своему! До сих пор Бог удерживал еще и откладывал Свой гнев за нас, не возжег еще всей Своей ревности, а только высоко занес руку на нечестивых и хотя натянул и приготовил лук, однако же удерживал его силой и ожидал, пока выйдет наружу вся злоба Юлиана, подобно какому-нибудь злокачественному и гнойному нарыву; ибо таков закон Божия суда: или спасти покаянием, или наказать по справедливости. И тогда, с трудом перенося настоящее и сокрушаясь о будущем (потому что сама благость Божия к Своим, от нас скрываемая, была для нас нестерпима), возносили мы глас свой к Богу; то призывая Его, как Владыку, то умоляя, как благого Отца, то как бы жалуясь и вступая с Ним в суд, что свойственно людям сетующим, взывали: *«Для чего, Боже, отринул нас навсегда, возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей? Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле* (Пс. 73.1.2), который приобрел Ты страданиями Единородного Слова Своего, удостоил великого Твоего завета, привлек на небо новым таинством и залогом Духа подвигни *стопы Твои к вековым развалинам! Ты терпел, а все разрушил враг в святилище, и торжествовал* на празднике Твоем (Пс. 73.3). Мы призывали меч и египетские казни, просили Бога *судить распрю свою;* умоляли восстать наконец на нечестивых, говорили: *«доколе нечестивые, Господи, доколе нечестивые торжествовать будут* (Пс. 93.1.5)? Доколе *будут попирать народ Твой и угнетать наследие* Твое? доколе не перестанут и говорить и делать беззаконие?» Мы повторяли эти и подобные им плачевные слова: *«Положил нас в пререкание и поношение соседям нашим, в притчу во языцех, в поругание* всем людям (Пс. 79.7; 43.14,15). Мы вспоминали о винограднике, который перенесен из Египта — из мрака безбожия, возрос в красоту и величие Веры, а потом лишился своей ограды — смотрения Божия стерегущего нас, стал открыт для всех проходящих, для злых властелинов, и опустошен диким вепрем этим, лукавым человеком, усвоившим себе зло, преисполненным тиной зла.

Так размышлял и взывал я прежде к Богу. Что же теперь изменяю в звуках песни? Оплакиваю уже погибель нечестивых; делаюсь человеколюбив к ненавистникам, и говорю так: *«Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов* (Пс. 72.19), как прах, возметаемый вихрем, как пух, развеваемый ветром, как утренняя роса, как свист пущенной стрелы, как удар грома, как быстролетная молния?» Если бы они, хотя теперь, переменились в мыслях, перестали предаваться множеству заблуждений, и потекли во след истины, то, может быть, и само падение обратилось бы им в пользу. Ибо и наказание часто служит ко благу наказываемых. Но что, если они останутся при том же мнении, еще будут держаться идолов и не уцеломудрятся бедствием, которое вразумляет и неразумных? Иеремия так оплакивает Иерусалим, что бездушные вещи призывает к плачу и у стен требует слез (Пл. Иер. 2. 18); какой же найдется плач, достойный этих столь упорных людей? Кто оплачет одно настоящее, не проливая еще слез о будущем наказании за то, что они безумствовали, удалились от Бога, *и служили твари вместе Творца* (Рим. 1.2 5), и не только послужили, но восстали на служителей Божиих и вознесли на них нечестивую руку, достойную таких зол? Но как Богу угодно, так и да будет! Кто знает, что Бог, *Который разрешает узников* (Пс. 145. 7), возводит от врат смерти обремененного и долу поверженного, не хочет смерти грешника, но ждет обращения его, — Который и нас, сидевших во тьме и сени смертной, просветил и умудрил, — этот Бог и их воспримет некогда, и, отложив тяжелый и железный жезл, упасет их жезлом пастырским?

Но слово мое опять возвращаю к той же победной *песне: пал Вил, низвергся Дагон* (Ис. 46.1), *похож на пустыню Сарон, посрамлен Ливан* (Ис. 33.9); теперь уже не скажут глупой, недвижимой и бесчувственной толпе идолов: начальствуй! — не станут искать мухи, бога Аккаронского, или чего-либо еще более смешного; не будут помышлять о рощах и высотах, и о всякой лесистой и тенистой горе, не *принесут сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам (Пс.* 105.37), за что издревле Израиль укоряем был пророками. Но что мне до этого? Обращусь к настоящему — к тому, что нас собственно касается. Не будут уже лукаво смотреть на священные наши храмы, нечистой кровью осквернять жертвенники, получившие имя от пречистой и бескровной Жертвы; не будут безбожными алтарями бесчестить священных мест, расхищать и осквернять приношений, к нечестию присоединяя корыстолюбие; не будут оскорблять седину иереев, честность диаконов, целомудрие дев; не будут уже к рассеченным утробам Святых пускать нечистых свиней, чтобы вместе с пищей пожирали и эти утробы; не будут истреблять огнем и рассеивать на ветер останки Святых, предавая их бесчестию с самыми бесчестными костями, чтобы лишить подобающей им чести; не будут уже ставить *седалищ губителей,* и забавляться хулой епископов и пресвитеров, также Пророков и Апостолов, и даже самого Христа; не будут уже торжествовать над нами, запрещая нам законом лжеименное образование, чтобы вместе с тем закрыть нам уста. Подай сюда свои царские и софистические речи, свои неотразимые силлогизмы и энтимемы; посмотрим, как и у нас говорят неученые рыбаки. *Удали отмена шум песней твоих, и звуки гуслей твоих,* повелевает тебе Пророк мой (Амос. 5.2 3). Да воспоет опять с дерзновением Давид, который таинственными камнями низложил надменного Голиафа, победил многих кротостью и духовным сладкозвучием исцелял Саула, мучимого злым духом. Пусть свещеносец твой погасит огонь; а мудрые и священные дивы возжгут для Жениха свои светильники. Пусть твой иерофант сложит с себя одежду блудницы; а *священники облекутся правдой* (Пс.131, 9) и украшением *славы вместо духа уныния* (Пс. 61.4), облекутся в великий и нескверный хитон, во Христа — наше украшение. Пусть умолкнет твой проповедник и не говорит бесславного; да вещает же мой проповедник богодухновенное. Оставь свои волшебные и чародейские книги, и пусть перечитываются одни пророческие и апостольские. Прекрати свои гнусные и тьмы исполненные ночные сборища; и я восстановлю священные и светлые всенощные бдения. Загради свои тайники и пути, низводящие в ад; я покажу тебе пути открытые и ведущие на небо. Какие запасы оружия, какие изобретения снарядов, какие тьмы и полчища людей произвели бы то, что сделали наши молитвы и Божья воля? Бог словом рассеял тьму, словом произвел свет, основал землю, округлил небо, распределил звезды, разлил воздух, положил пределы морю, протянул реки, одушевил животных, сотворил человека по образу Своему, дал всему красоту. Словом и ныне рассеял Он ночной мрак и все привел во свет, порядок и прежнюю стройность. Теперь не владычествуют уже алчные и лживые демоны; не оскорбляется тварь поклонением, воздаваемым ей вместо Бога. Отбрось своих Триптолемов, и Келеев, и таинственных драконов; устыдись, наконец, книг своего богослова — Орфея; воспользуйся даром времени, покрывающего твое бесстыдство. Если же это — одни басни и вымыслы, то обнаружу твои ночные таинства. Теперь не говорит уже дуб, не прорицает треножник, и Пифия не наполняется, не знаю чем, но не более, как баснями и бредом. Источник Кастальский опять умолк и молчит-, его вода возбуждает не дар пророчества, но смех. Аполлон опять стал безгласным истуканом, Дафна — деревом, оплакиваемым в басне! Дионис опять андрогин и водит с собой толпу пьяных; великое твое таинство — бог Фалл страждет любовью к прекрасному Просимну. Семела опять поражена молнией. Опять хромает на обе ноги, но проворен в отыскивании прелюбодеев Гефест, этот бог, замаранный сажей, хотя он славный художник и Олимпийский Ферсит. Арес опять за любодеяние скован вместе со Страхом, Ужасом и Смятением и ранен за дерзость. Афродита опять любодейца, срамно рожденная, служительница срамных браков. Афина опять дева и рождает дракона. Геракл опять беснуется, или, лучше сказать, перестает бесноваться.

Опять из похотливости и сладострастия превращается во все виды Зевс, советник и властитель богов, который один поднимает всех их со всем существующим, а сам не может быть сдвинут с места всеми. Гроб Диев опять показывается в Крите. Как только вижу твоего Кердоя, Логия и Эпагония, закрываю глаза и бегу прочь от твоего бога, потому что стыжусь смотреть. Не препятствую тебе поклоняться силе красноречия и суме. Одно у тебя стоит уважения: чествование, воздаваемое андрогинами у египтян Нилу, Исиды, Мендезийские боги, Аписы и все прочие чудовищные и из многих составленные звери, которых ты рисуешь или лепишь. Смеюсь твоему Пану, Приапу, Гермафродиту и прочим богам, которые в неистовстве или изуродованы, или растерзаны. Предоставляю все это зрелищу и стихотворцам, украшающим ваших богов; а я заключу слово увещанием.

Мужи и жены, юноши и старцы, все служащие в этом святилище и занимающие низшие степени, все, которых Господь избавил некогда от заблуждения и безбожия, а ныне от восстания язычников и от бедствий настоящих и ожидаемых! Выслушайте слово мужа, который научился этому не слегка, но из ежедневных событий, из древних историй, книг и деяний! Великое дело — не испытать никакой скорби; а может быть, и не великое, если истинно слово, что *его же любит Господь, наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает* (Евр. 12. 6) и о котором особенно печется. Напротив, великое дело — вовсе не грешить, или по крайней мере не согрешить тяжко; потому что быть совершенно безгрешным — Бог поставил выше человеческой природы. А вторым после этого делом полагаю, чтобы падшие и наказанные, а потом прощенные всегда чувствовали наказание и избегали новой казни за новое преступление. Поэтому и мы самим делом восчувствуем Божие наказание. Покажем самих себя достойными не того, что прежде потерпели, но того, что напоследок получили. Будем оправдываться в постигшем нас бедствии тем, что мы, не как злодеи, были преданы язычникам, но вразумлены, как дети. Не станем забывать о буре во время тишины, о болезни — во время здравия, о плене — по благополучном возвращении в Иерусалим, о Египте — после Египта. Время злострадания да не будет у нас лучшим временем успокоения; но оно будет таким, если окажется, что мы тогда были смиренны и умеренны и во всех надеждах простирались к небу, а теперь превозносимся, надмеваемся и опять обратились к тем же грехам, которыми были доведены до постигших нас бедствий. Нет, *дети мои* (1 Цар. 2.24), говорит священник Илий, увещевая детей своих, согрешивших против Бога. Напротив, зная, что легче возвратить потерянное благоденствие, нежели сохранить дарованное от Бога (ибо потерянное возвращается целомудрием, а дарованное утрачивается беспечностью), зная, что больное тело восстанавливается лекарствами и воздержанием, а восстановленное, при малом нерадении и пресыщении, опять приходит в расслабление и впадает в прежние недуги, зная все это и внушая друг другу, придем в самих себя и будем целомудренно располагать временем. И во-первых, братия, будем праздновать не плотским весельем, не пиршествами, не пьянством; вы знаете их плод — нечистые ложи и распутство. Не будем устилать улиц цветами, умащать трапез срамом благовоний, украшать преддверий; да не освещаются дома чувственным светом, да не обращаются в дома бесчиния звуками свирелей и рукоплесканиями! Так установлено язычниками праздновать новомесячия. А мы не этим почтим Бога, не тем превознесем настоящее время, что нас недостойно, но чистотой души, светлостью ума, светильниками, озаряющими все тело Церкви, то есть божественными созерцаниями и размышлениями, возносимыми на священный подсвечник и освещающими всю Вселенную. В сравнении с этим светом ничтожны, по моему мнению, все огни, возжигаемые у людей при частных или общественных торжествах. Есть у меня и миро, но такое, которым помазуются только священники и цари, как многосоставным и многоценным и за нас истощенным, — миро, составленное искусством великого Мироварца. О если бы и я сподобился принести благовоние этого мира! Есть у меня и духовная и божественная трапеза, которую *ыне.приготовил1Ьсподь в виду врагов моих* (Пс. 22. 5); за нею успокаиваюсь и веселюсь и по насыщении не предаюсь постыдным помыслам, но усыпляю в себе всякое восстание страстей. Есть у меня и цветы, которые прекраснее и долговременнее всякого весеннего цветка, цветы *поля [полного], которое благословил Господь* (Быт. 27.27), то есть священники, благоухающие пастыри и учителя, и из народа все, что есть чистого и избранного. Ими-то я желаю увенчаться и украситься, когда, по примеру святого апостола, *подвигом добрым подвизаясь, течение совершу, веру сохраню* (2 Тим. 4.7). Заменим тимпаны духовными песнями, бесчинные крики и песни — псалмопением, зрелищное рукоплескание — рукоплесканием благодарственным и стройным движением рук, смех — размышлением, пьянство — мудрой беседой, шутливость — степенностью. Если же тебе, как любителю торжественных собраний и празднеств, нужно плясать — скачи, но не пляской бесстыдной Иродиады, делом которой была смерть Крестителя, а скаканием Давида, при установлении на место Киота, которое, как думаю, было таинственным знаменованием быстрого и свободного шествования перед Богом.

Вот первая и важнейшая часть моего увещания! Вторая же часть, насколько знаю, будет для многих тяжела и неприятна. Ибо человек, получивший возможность воздать злом за зло, особенно, если то, что потерпел, дает справедливую причину к гневу, — не любит повиноваться слову, которое обуздывает его раздражительность. Однако же слово мое достойно того, чтобы его выслушали и приняли. Не будем неумеренно пользоваться обстоятельствами времени, не допустим излишества в употреблении своей власти, не будем жестокосерды к тем, которые нас обижали, не будем делать того, что сами осуждали. Из настоящей перемены воспользовавшись тем, что избегаем зла, возненавидим всякое отмщение. Люди умеренные почитают для своих оскорбителей достаточным наказанием их страх, ожидание того, чего они достойны, и мучения собственной их совести. Ибо, кто боится будущего наказания, тот уже страдает, хотя и не терпит еще наказания; он сам себя наказывает, может быть, более, нежели, как наказали бы его исполнители казни. Итак, не пожелаем умерять (Божия) гнева, да не явимся наказывающими слабее надлежащего, но поскольку не можем за все наказать, то простим во всем и через то сделаемся лучше наших обидчиков и станем их выше. Покажем, чему их учат демоны и чему нас научает Христос, Который страданиями приобрел славу и восторжествовал не менее тем, что не сделал того, что мог сделать. Воздадим Богу одно благодарение, распространим таинство благостью и на этот только случай воспользуемся обстоятельствами. Победим мучителей правдолюбием. Особенно в прощении покажем человеколюбие и силу заповеди, которая воздает и нам равным человеколюбием, как скоро имеем в том нужду; ибо знаем, что *какою мерою* меряем, *такою отмерена будет* нам (Мк. 4. 24). Если же кто и очень огорчен, предоставим огорчивших нас Богу и будущему суду. Не будем уменьшать будущего гнева тем, что возложим на них собственную свою руку. Не будем помышлять об отнятии у них имущества, не повлечем их на суд, не станем изгонять из отечества, наказывать бичами; кратко скажу: не сделаем им ничего такого, что сами потерпели. А если возможно, собственным примером своим сделаем и их кроткими. Пострадали ли у кого сын или отец, или жена, сродник, друг, или другой кто из ценимых им дорого: вознаградим каждого за страдание, убедив его с твердостью перенести все, что ни потерпел. Выше этого дара, что иное можем воздать им? Сказать ли и о величайшем благодеянии, какое мы получили? Наши гонители преследуются упреками народов и городов на зрелищах, на торжищах, на собраниях. Везде ублажают старое, выставляют новое на позор, и к большому удивлению, даже соучастниками наших гонителей с укоризнами ниспровергаются сами боги, как обманывавшие их долгое время, и уже позже уличенные в обмане. Кто вчера был поклонником, тот ныне стал ругателем. Чего еще более требовать?

Это воздается ныне несчастным, и может быть, это еще малая часть воздаяния. Будет время, когда оскорбителей моих и великого их вождя увижу оплакивающими свое нечестие, когда всякое беззаконие будет судимо и подвергнуто истязанию. Умалчиваю о наших Божественных изречениях и о тех казнях, которые, по нашему учению, уготованы в будущем. Обратись к своему учению и к ужасам, о которых любят рассуждать не одни стихотворцы, но и философы; обратись к своим Пирифлегетонтам, Коцитам и Ахеронтам, в которых мучатся за неправду Тантал, Титий, Иксион. К ним причислится Юлиан, царь этого собратства, и даже предварит их, по нашему слову и определению. Не жаждой будет он томиться, стоя по горло в озере; не будет приводим в ужас камнем, по изображению трагика, висящим над головой и непрестанно то поднимающимся, то опускающимся; его не будут вертеть на быстро кружащемся колесе; и птицы не будут терзать его печень, никогда не истощающуюся, но всегда восполняемую, — пусть все это будет истина или одна басня, скрывающая истину в вымысле. Но тогда увидим, как и чем он будет наказан, увидим, что мучение его будет тяжелее описанных, потому что взыскания и воздаяния всегда соразмерны преступлениям.

Таков от нас дар тебе, превосходный и мудрый муж (скажу твоими же словами), за удар ногой! Это воздаем тебе мы, которым по великому и удивительному твоему уложению запрещено было учиться красноречию. Видишь, что не до конца должны мы были молчать, что твои уставы не могли осудить нас на всегдашнее безмолвие; но что и нам дана свобода возвысить голос и облегчить твое неразумие. Как невозможно никаким искусством удержать Нильские водопады, низвергающиеся из Эфиопии в Египет, или остановить солнечный луч, хотя на малое время и затмевается он облаком; так нельзя связать и языка христиан, обличающего ваши дела. Это приносят тебе Василий и Григорий, противники и противоборники твоего замысла, как сам ты думал, других уверял, своими угрозами прославляя и поощряя нас к большему благочестию. Зная нас еще в Греции как людей, приобретших себе имя и известность жизни красноречием и взаимным единодушием, ты почтил нас честью Циклопа, то есть последних оставлял на погибель и, может быть, замышлял принести в победный дар демонам как нечто великое и достойное твоего величия, если бы встретили мы тебя, возвращающегося из Персии; или даже, плохо рассчитывая, питал надежду и нас ввергнуть в одну с собой бездну. Ибо мы не малодушнее тех юношей, которые были орошены в огне, победили зверей верой, охотно подверглись опасности вместе с мужественной матерью и еще мужественнейшим священником, показали, что одна только вера непобедима; не малодушнее, конечно, и тех, которые при тебе явили свою неустрашимость и из которых один, посрамив мать богов твоих и разрушив жертвенник, веден был к тебе как осужденник, вошел как победитель и, немало посмеявшись твоей багрянице и твоим речам как преиспещренным и смешным, вышел от тебя с большим дерзновением, нежели с каким возвращается иной с вечери и со светлого пиршества; а другой, когда все тело глубоко просечено было ремнями, едва дыша от ран, не только не ослабел в пытках и не счел претерпеваемых мучений тяжкими, но даже заметив, что некоторые части тела не подвергались еще ударам, начал обвинять мучителей в нанесении ему оскорблений, потому что не все его тело почтили, но оставили нечто неистерзанным и неосвященным, а с этим вместе указывал на голень, которая одна избежала железных ногтей, и требовал, чтобы и ее не щадили.

Итак, это *тебе* слово, ценимое христианами не ниже лжи и нелепостей Порфириевых, которыми вы восхищаетесь как божественными словами, и не ниже твоего Мисопогона или Антиохика; ибо тем и другим именем надписываешь ты свое сочинение. Его делали тогда важным твоя порфира и льстецы, всему в тебе удивлявшиеся, а теперь стало оно бородой, которую все таскают, рвут и осмеивают, равно как и трудившихся над ней. В нем, как будто рассуждая о чем-то важном, ты весьма надмеваешься тем, что не имеешь излишней заботливости о теле и никогда не чувствовал несварения пищи от переедания; а с намерением умалчиваешь о том, что так жестоко гнал христиан и истреблял этот многочисленный священный народ. Но какой вред для общества, когда один человек страдает несварением пищи или имеет естественную отрыжку? Когда же начато было такое гонение и произведено столько беспорядков; тогда не должна ли была вся Римская держава прийти в трудное положение, как и действительно оказалось на опыте? Воздвигаем тебе памятник, который выше и славнее столпов Геракловых. Те были водружены на одном месте и видимы только приходившими туда; а этот памятник, переходя от одного к другому, не может не быть везде и всем известен. И твердо знаю, что поздние времена увидят его обличающим тебя и твои дела, а также научающим и всех прочих не отваживаться на подобное восстание против Бога, чтобы, поступая подобно тебе, не получить одинакового с тобой воздаяния.

# СЛОВО 6. О мире, произнесенное в присутствии отца после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих

Ревность разрешает язык мой, и я оставляю без исполнения закон человеческий для закона духовного: дарю миру слово, хотя прежде ни за что не соглашался приступить к слову. Ибо как скоро возмутились против нас члены, великое и честное тело Христово начало разделяться и рассекаться, так что едва не *сыплются кости* наши *в челюсти преисподней* (Пс. 140.7), подобно тому, как глубина земли раздирается плугом и рассыпается по поверхности; как скоро лукавый, разодравши нераздираемый, неразделимый и весь тканый хитон(Ин. 19.23), присвоил его весь себе, успев через нас сделать то, чего не мог сделать через распинателей Христовых; тогда я решил, что *буду обуздывать уста мои* (Пс. 38.2) и в других случаях несловоохотные, рассуждая, что духовный порядок требует сперва очистить себя самого деятельным любомудрием, потом *открыть уста* разума, *привлечь дух* (Пс. 118. 131), а после уже *излить слово благое* (Пс. 44. 2) *и проповедовать премудрость Божию,* совершенную *между совершенными* (1 Кор. 2,6). Притом, как *есть время всякой вещи,* малой и великой, по справедливому и весьма разумному изречению Соломона (Екк. 3.1), так и я, не менее всякого другого, знал время говорить и молчать. Поэтому *был нем и безгласен* (Пс. 38.3), когда, вблизи меня не стало ничего доброго, как будто облако набежало на сердце мое и сокрыло луч слова, *а болезнь моя обновлялась* днем и ночью, все возжигало ее во мне, все напоминало о разъединении братии: бдения, пощения, молитвы, слезы, мозоли на коленах, биение в груди, воздыхания из глубины сердца, всенощное стояние, переселение умом к Богу, тихий плач среди молений, приводящий в умиление слушающих, также поющие, славословящие, поучающиеся день и ночь в законе Господнем, носящие *в устах своих словословия Богу* (Пс. 149.6). О том же напоминали мне и эти прекрасные черты и признаки жизни по Богу, эти безмолвные проповедники — волосы сухие и нечистые, ноги босые и, подобно апостольским, ничего не носящие на себе мертвого, стрижение волос тому же соответствующее; одежда, смиряющая гордость, пояс прекрасный своей неукрашенностью, подбирающий несколько, но нимало не приподнимающий одежду, походка твердая, взор неблуждающий, улыбка приятная или, лучше сказать, только вид улыбки, целомудренно удерживающий от неумеренного смеха, слово с разумом, молчание драгоценнейшее самого слова, хвала, приправленная солью, но не для ласкательства, а в руководство к лучшему, порицание — более самой похвалы вожделенное, умеренность в печали и в веселости, и растворение одной другой, мягкость, соединенная с мужеством, и суровость со скромностью, так что одно другому не вредит, но одно через другое делается похвальным; умеренность в общении с другими и в уклонении от общения, — общении для назидания другим, и уклонения для собственного поучения тайнам Духа, — общении, сохраняющем уединение среди самого общества, и уклонении, соблюдающем братолюбие и человеколюбие среди самого уединения, а что и этого еще важнее и выше, богатство, состоящее в бедности, обладание — в пришествии, слава — в бесчестии, сила — в немощи, прекрасное чадородие — в безбрачии, так как рождаемое по Богу лучше порождений по плоти. Наконец, люди, почитающие для себя наслаждением не иметь никаких наслаждений, смиряющиеся ради небесного царства, не имеющие ничего в мире и стоящие выше мира, живущие во плоти как бы вне плоти, которых *часть —Господь* (Чис. 18. 20), *нищие ради царствия* (Мф. 5. 3), и нищетой царствующие. Вот кто своим присутствием веселил меня, составлял мое богатство, мое лучшее утешение, и своим отсутствием приводил меня в уныние! Вот что стесняло и возмущало мою душу; вот отчего *ходил я, плача и сетуя!* Вот почему отринул я с другими удовольствиями и само слово! Ибо *возлюбленные отвратились* от меня и о*братили ко Мне спину, а не лицо* (Вт. 32.15. Иер. 2.27); паства стала свободнее (чтобы не сказать отважнее) *пастыря; виноград истинный,* прекрасно очищенный добрым виноградарем и приносивший добрые плоды в божественные точила, *превратился* для меня *в горечь* (Иер. 2.21), *друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали* (Пс. 37, 12). Из сильной любви к Богу и ко Христу мы разделили Христа, из-за *Истины* (Ин. 14. б) стали лгать друг на друга, *ради Любви* (Ин. 4.8) поучались ненависти, *из-за Камня* (1 Кор. 10,4) поколебались, из-за *краеугольного камня* (Еф. 2.20) рассыпались, сверх нужды ратовали из-за Мира, были низлагаемы из-за Вознесенного на древо, подвергались смерти из-за Погребенного и Воскресшего.

Так было прежде! И для чего среди радости возобновлять неудовольствие, останавливаясь на событиях печальных, которых не желал бы не только испытать, но и привести на память, о которых лучше не говорить, а молчать, скрыв в глубине забвения постигшее нас несчастье? Разве кто для того только напомнит о скорбном, чтобы вразумиться нам этим примером и, как в болезни, избегать причин, которые довели до такого состояния.

Но теперь, когда ушли от нас болезнь, печаль и воздыхание, когда мы, чтящие Единого, стали едины; мы, чтящие Троицу, так сказать, срослись между собой, стали единодушны и равночестны; мы, чтящие Слово, оставили бессловесность; мы, чтящие Духа, горим ревностно не друг против друга, но заодно друг с другом; мы, чтящие *Истину,* одно мудрствуем и одно говорим; мы, чтящие *Мудрость,* стали благоразумны; чтящие Того, Кто — *Свет, Путь, Дверь, как во дни благообразные ходим,* все идем прямым путем, все внутри двора; чтящие *Агнца и Пастыря* сделались кроткими и принадлежим уже к тому же стаду и единому пастырю, который пасет стадо не со *снарядам глупого пастуха* (Зах. 11,16), погубляющего овец своего пастбища и предающего их волкам и стремнинам, но пастыря весьма испытанного и опытного теперь, когда мы, чтящие Пострадавшего за нас, стали сострадательны и готовы облегчать тяготы друг другу, чтящие *Главу* образуем стройное тело и скрепленное всяким духовным союзом (Ефес. 4.16), когда Бог *творит все и претворяет* в полезнейшее (Амос. 5.8), *обратил плач* наш *в радость* и вместо *вретища дал* нам *веселие* (Пс. 29. 12); тогда и я, вместе с прошедшими скорбями, отлагаю молчание и приношу настоящему времени и вам, или паче Богу, слово, самую приличную благодарственную жертву, дар, который чище злата, дороже многоценных камней, ценнее тканей, святее жертвы подзаконной, святее начатка первородных, угоден Богу больше тельца юного, еще несовершенного по рогам и раздвоенным копытам (Пс. 68. 32) и несмышленного, угоден больше курения, больше всесожжения, больше многих тысяч тучных овнов, больше всего, чем Закон, заключающий в себе только начальные основания, держал во власти еще младенчествующего Израиля, преднаписуя в кровавыхжертвах будущее жертвоприношение. Это приношу Богу, это посвящаю Ему, что одно и оставил я у себя, чем одним и богат я, потому что от прочего отказался из повиновения заповеди и Духу; все, что я ни имел, променял на драгоценную *жемчужину,* сделался (или лучше сказать, желаю сделаться тем счастливым *купцом,* который за малое, несомненно тленное, купил великое и нетленное (Мф. 13.45.46); но удерживаю за собой одно слово, как служитель слова, и добровольно никогда не пренебрегу этого стяжанием, но ценю, люблю его, веселюсь о нем более, нежели о всем том, в совокупности, что радует большую часть людей; делаю его сообщником всей жизни, добрым советником, собеседником и вождем на пути к горнему и усердным сподвижником. И так как презираю все дольнее, то вся моя любовь после Бога обращена к слову или, лучше сказать, к Богу, потому что и слово ведет к Богу, когда оно соединяется с разумением, которым одним Бог истинно приемлется и сохраняется и возрастает в *нас Я назвал мудрость сестрой моей* (Пр. 7.4), *почтил и объял ее,* сколько мне дозволено было, и домогаюсь венка *благодати и прекрасного венца* (Пр. 4.8.9), то есть даров премудрости и слова, озаряющего ум наш и освещающего наши шествия к Богу. Через слово я обуздываю порывы гнева, им усыпляю иссушающую зависть, им успокаиваю печаль, оковывающую сердце, им уцеломудриваю сластолюбие, им полагаю меру ненависти, но не дружбе (ибо ненависть должно умирять, а дружбе не должно знать пределов). Слово в изобилии делает меня скромным и в бедности великодушным, оно побуждает меня идти с идущим твердо, простирать руку помощи падающему, сострадать немощному и сорадоваться возмогающему. С ним равны для меня и отечество, и чуждая страна, и переселение для меня — не более, как переход с одного чужого места на другое, не мое. Слово для меня разделяет миры, и от одного удаляет, к другому приводит. Оно учит меня не возноситься *с оружием правды (2* Кор. 6. 7) и в несчастных, и прискорбных обстоятельствах со мной любомудрствует, подавая *непостыжающую надежду* (Рим. 5. 5) и облегчая настоящее будущим. Словом и ныне встречаю друзей своих и братьев и предлагаю трапезу словесную и чашу духовную и всегдашнюю, а не такие, какими земная трапеза льстит чреву, которое не может быть исправлено, *но уничтожится* (1 Кор.6.13). *Долго молчал я, терпел* (Ис. 42.*14), удерживался; ужели* и всегда буду терпеть? Молчание Захарии разрешил родившийся Иоанн (ибо неприлично было молчать отцу *гласа,* когда глас уже произошел; но как неверие гласу связало язык, так явление гласа должно было разрешить отца, которому и благовествован и родился этот *глас и светильник,* предтеча Слова и Света), а мне разрешает язык и возвышает глас, как глас трубы, это благодетельное событие, это прекрасное зрелище, какое представляют чада Божий, прежде расточенные, а ныне собранные воедино, покоящиеся под одними и теми же крылами, *в единомыслии* идущие *в дом Божий* и соединенные между собой единым союзом добродетели и Духа. Я не могу молчать, когда уже не восстаем друг на друга (до того наш ум уловлен был лукавым, или терпел от него насилие, или *застрелен* был им *во тьме* (Пс. 10,2), им же наведенной, или как иначе это выразить, что мы радовались несчастьям друг друга, не думая о том, что взаимное несогласие причиняет вред всему телу). Не могу молчать, когда Иуда и Израиль *поставляют себе одну главу* (Ос. 1.11), Иерусалим и Самария собираются к единому горнему Иерусалиму, и мы стали уже *не Павловы, Аполлосовы и Кифины* (из-за чего и против чего и происходили горделивые прения), новее *—Христовы* (1 Кор. 1.12).

Но поскольку вы овладели теперь и мной и словом не без насилия, но не поневоле, а по любви, то буду вещать (хотя едва мету), потому что вы так повелеваете, и произнесу слова благодарения и вразумления.

Благодарение мое таково: *Кто* *изречет могущество Господа?* Кто во услышание всех возвестит *все хвалы* (Пс. 105. 2)? Теперь *оба едина, и средостение ограды, разорено* (Еф. 2.14). Ты сделал, что мы перестали быть *притчею во языцех,* предметом *покивания головы между иноплеменниками* (Пс. 43. 15). Ты дал нам столько потерпеть зла, сколько нужно было, чтобы во время разделения познали мы благо мира, и, поразив скорбью, опять восстановил нас. Чудное врачевание! Ты враждой научил миру скоро возненавидевших вражду; противным устроил противное, и столько разлучил вас, что мы тем с большей охотой устремились друг к другу: подобно как ветви растений, насильно разведенные и потом оставленные на свободе, опять стремятся одна к другой, принимая прежнее естественное положение, и показывают в себе то свойство, что насилием можно их нагнуть, а не исправить. *Рука* уже не презирает *ока,* и *око — руки; глава* не восстает против *ног,* и *ноги* не чуждаются главы (1 Кор. 12,21) и не вредят или, лучше сказать, не терпят вреда от беспорядка и безначалия, от которого и во всем происходит замешательство и разрушение, но все члены, по естественному чину и закону, которым все между собой соединено и сохраняется, равно заботятся друг о друге, — и мы составляем теперь *одно тело и один дух, как и призваны к одной надежде вашего звания* (Еф. 4.*4).Посему будут прославлять Тебя народы сильные* (Ис. 25.3), став богатыми из убогих. *Ты явил нам милость Свою* (Пс. 30.22), и к древним сказаниям присоединяется нечто *новое. А когда же умножился грех, стала преизобиловать благодать(Рим.* 5.20). Бросив зерно, получил я колос; оплакивая потерю овец, приобрел пастырей и верно знаю, что приобрету еще наилучшего из пастырей', хотя он, по некоторым духовным причинам и медлит принять паству. Этому пастырю уже вверены и благодать Духа, и таланты для употребления, и попечение о стаде; он помазан помазанием святыни и совершения, но мудрость еще удерживает его от начальства, и он до времени держит *свечу под сосудом,* но вскоре *поставит ее на подсвечник, светить* всякой душе в Церкви (Мф. 5.15) и быть *светом стезям нашим* (Пс. 118. 104). Он теперь обозревает еще дебри, горы и потоки и приготовляет сети волкам — хищникам душ, дабы вовремя благопотребно принять жезл и пасти словесное стадо, вместе с Истинным Пастырем, вселяясь *на злачные места,* среди вечно зеленеющих словес Божиих, и *питая водами тихими, то* есть Духом (Пс. 22.2). На это мы надеемся и об этом молимся.

Но мне уже время присовокупить к благодарению и увещание, которое предложу также, сколько можно, короче, потому что вы большей частью вразумлены уже самими событиями, и для наученных опытом не нужны продолжительные поучения.

Во-первых, не надлежало нам, братия, разделяться и тем губить свое древнее достоинство и украшение, по которому наше малое стадо, хотя и нельзя ставить его наряду с многочисленными паствами, однако же равнял я с самыми великими и обширными, даже предпочитал некоторым по силе Духа. Так было прежде: каждая паства имела свое меньшее или большее украшение; отличительным свойством нашей паствы была непоколебимость и безмятежие, а поэтому часто называли ее ковчегом Ноевым за то, что одна спасалась от всемирного потопа и хранит в себе семена благочестия. Даже когда обличил ось, что и мы люди, когда мы не избегли совершенно зависти лукавого, не устояли против болезни, все заражающей, но понесли свою долю в общем несчастье и не соблюли до конца прекрасного и отеческого наследия, то есть блага единомыслия: и в этом случае имели мы немалое преимущество перед другими (если только, уповая на Христа, можно нам похвалиться чем-нибудь и при самой вражде нашей), — то преимущество, что последние подверглись злу и первые исправились. Впасть в болезнь есть удел общей природы и немощи человеческой, которая на всех простирается, и на самых крепких по телу и духу, но восстать от болезни и возвратиться друг к другу есть дело рассуждения и благодати, которая прекрасно и справедливо вознаградила вас, даже лучше, нежели как мы желали и другие надеялись. Ибо тех, которые были поставлены главами отделившихся, как поставленных ради благочестия и в пособие страждущему Православию, мы приняли с любовью и обходились не как с врагами, но как с братьями, обнялись с теми, которые возмутились против нас не надолго за отеческое наследие, впрочем, возмутились братски, а не злонамеренно. Вражду их мы не похвалили, но ревность одобрили, ибо несогласие за благочестие гораздо лучше согласия по какой-нибудь страсти. Таким образом, саму потерю обратили мы себе в приобретение, покрыв любовью умышленное ими против нас, и в том одном изменив порядок, что не благодать последовала за избранием, но избрание за благодатью и что для сообщения ее воспользовались мы чуждым рукоположением, будучи несколько упреждены Духом. А вы, оставив подозрение против письмени, обратились к духу и хотя не одобрили простоты при ясности речений, однако же не подозревали нечестия; зная, что у нас так же тверда и непоколебима Троица, как в естестве Своем, и что отсечь или отчуждать что-нибудь от Трех для нас значит то же, что отсечь все, и нагло восстать против всего Божества. В этом мы, даже во время самого разделения, иногда и перед известными людьми защищали друг друга. А это служит самым сильным доказательством, что истина не побуждается и временем и что вражда не погасила в нас совершенно искры любви. При самом раздоре сохранялось в нас важнейшее, то есть единомыслие и уверенность, что мы не колеблемся в истине и не противоречим ей, но запечатлены тем же характером веры и первого упования нашего. Ибо людей, искренно чтящих Бога, ничто не может так сильно побудить к единомыслию, как согласие в учении о Боге, и ничто так не располагает к раздору, как несогласие в этом учении. Человек самый скромный в других случаях становится самым пламенным, *кроткий —храбрым* (Иоил. 3.11), когда видит, что через свое равнодушие он лишается Бога, или, лучше сказать, своим падением причиняет ущерб Богу, Который нас почитает Своим богатством и обогащает.

Таким образом, в самом разлучении, как сказал я, мы были столько умеренны, что наше единомыслие стало виднее разъединения и благоприятными расположениями той и другой стороны почти закрыто произошедшее. Поскольку же для прочности мира недостаточно одной поспешности в примирении, если оно не будет подкреплено разумом, и разуму не будет поборником сам Бог, от Которого всякое добро получает начало и приходит в совершенство, то молитвой и размышлением постараемся утвердить в силе наше примирение. Помыслим, во-первых, о превосходнейшем и высочайшем из всего сущего Боге (если только не найдет кто приличнейшим поставить Его и выше сущности (ωσια), или в Нем заключить все бытие, так как от Него сообщается бытие и прочему); помыслим, во-вторых, и о существах первых от Бога и окрест Бога, то есть об ангельских и небесных Силах, которые первые пьют от Первого Света и просветляемые словом истины сами суть свет и отблески Совершенного Света. Этим существам ничто так не свойственно, как мир и безмятежие. Ибо в Божестве нет несогласия, потому что нет и разъединения (так как разъединение есть следствие несогласия), но в Нем столько согласия и с самим Собой и со вторичными существами, что наряду с другими и предпочтительно перед другими именами, какими угодно называться Богу, это преимущественно стало Его именованием. Он называется миром (Еф. 2.14), *любовью* (1 Ин. 4.16) и подобными именами, внушая нам самими наименованиями стремиться к стяжанию этих совершенств. А из ангелов тот, который дерзнул произвести возмущение и выше своего достоинства вознес выю против Господа Вседержителя или, по пророческому слову, замыслил о *престоле выше облаков* (Ис. 14.13.14), — понес наказание, достойное высокоумия, осужден быть вместо света тьмой или, справедливее сказать, сам стал тьмой. Между тем прочие пребывают в своем достоинстве, в котором главное составляет мир и безмятежность, потому что от Всехвальной и Святой Троицы, от Которой имеют они светозарность, получили и то, чтоб быть едиными. Потому что и Троица есть и исповедуется Бог Единый не менее по согласию, как по тождеству сущности. Поэтому все те, которые любят благо мира и, напротив, ненавидят раздор и отвращают его, близки к Богу и Божественным духам; а те, которые браннолюбивы нравом, ищут славы в нововведениях и тщеславятся тем, чего бы надлежало стыдиться, принадлежат к противоположной стороне. Ибо и дьявол не только сам с собой в раздоре, по своей многовидности и по своим страстям, но то же производит и в других, как человекоубийца искони и ненавистник добра, прикрывая себя тьмой возмущения (дабы *сострелять во тьме* общее тело Церкви); с каковым ухищрением и лукавством, думаю, приступает он по большей части и к каждому из нас и тайно высматривает в нас место, где бы совершенно ворваться, как храбрый воин вторгается в проломленную стену или в прорванный строй.

Итак, необходимость доброжелательства и согласия достаточно уже доказывается этим одним, то есть подражанием Богу и существам Божественным, ибо на них только взирать и безопасно душе, созданной по образу Божию, дабы стремлением к Божественному и посильным уподоблением в наибольшей мере сохранить ей свое благородство. Кроме того, внимая гласу Божию, *взглянем* еще *вверх и посмотрим на землю* (Ис. 8.2 2), и вникнем в законы твари. Небо, земля, море — словом, весь мир, эта великая и преславная книга Божия, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог, этот мир, пока стоит твердо и в мире с самим собой, не выступая из пределов своей природы, пока в нем ни одно существо не восстает против другого и не разрывает тех уз любви, которыми все связал Художник — Творческое Слово, до тех пор соответствует своему названию, и подлинно есть мир и красота несравненная; до тех пор ничего нельзя представить себе славнее и величественнее его. Но с прекращением мира и мир перестанет быть миром. В самом деле, не примечаешь ли, что закон любви управляет небом, когда оно в стройном порядке сообщает воздуху свет и земле дожди? А земля и воздух не родительской ли любви подражают, когда дают всем животным — одна пищу, другой возможность дышать, и тем поддерживают жизнь их? Не миром ли управляются времена года, которые, кротко между собой растворяясь, постепенно заступают одно место другого и средними временами смягчают суровость крайних, служа тем вместе к удовольствию и к пользе? Что сказать о дне и ночи, которые уравниваются друг с другом, равномерно возрастая и убывая, из которых один призывает нас к делам, а другая к покою? Что сказать о солнце и луне, о красоте и множестве звезд, которые стройно появляются и заходят? Что сказать о море и суше, которые, мирно между собой соединяясь, благосклонно и человеколюбиво передают друг другу человека и богато и щедро расточают ему свои сокровища? Что сказать о реках, которые текут через горы и поля и не выступают из своих пределов, разве только для пользы, *и не возвратятся покрыть землю* (Пс. 103.9)? Что сказать о смятении и растворении стихий? Что сказать о соразмерности и согласии членов, о пищи, о рождении и обитании, определенных каждому животному, из которых одни господствуют, другие подчиняются, одни покорны нам, другие свободны? Если все это бывает так и распоряжается, и управляется по первоначальным законам гармонии, так как бы все вместе текло, одно имело дыхание, то можно ли сделать из этого другое заключение, кроме того, что все проповедует нам о дружестве и единомыслии, что все предписывает нам закон единодушия? Но когда в мире вещество возмутится само против себя и, своим смятением готовя разрушение, сделается неукротимым, или когда Бог, в страх и наказание грешникам, нарушит несколько стройный порядок или наводнением, или землетрясением, или необыкновенными дождями, или затмением солнца, или продолжительностью какого-нибудь времени года, или извержением огня, тогда беспорядок и страх разливаются всюду, и среди смятения открывается, как благодетелен мир.

Не буду говорить о том, что миром поддерживаются, а от несогласия приходят в расстройство города, царства, лики поющих, войска, дома, общества плывущих на одном корабле, супружества и дружеские союзы; остановлюсь на Израиле, и напомнив вам об его бедствиях, рассеянии и скитании, в каком находится он ныне и долго еще будет находиться (в чем верю пророчествам); спрошу потом вас о достоверно вам известной причине этих несчастий, чтобы бедствия других научили нас единомыслию.

Не правда ли, что пока израильтяне сохраняли мир между собой и с Богом, мучимые в Египте, как в железной печи, и соединяемые общим притеснением (иногда и притеснение служит спасительным врачеванием); до тех пор назывались они *народам святым, частью Господнею и царством священников.* (Исх. 19. 6. Вт. 32.9)? И не именем только были они таковы, а на деле иные. Ими управляли вожди, водимые Богом; днем и ночью путеводствовал их столп огненный и облачный; во время бегства для них расступилось море; когда голодали, — небо подавало им пищу; когда жаждали, — камень источал им воду; когда сражались, — воздеяние рук заменяло им тысячи воинов, при помощи молитвы воздвигало победные памятники и пролагало путь вперед; перед ними отступали реки, подражая однородному морю, останавливались стихии и стены падали от звука труб. Что сказать о язвах египетских и о гласах Божиих, услышанных с горы, о двояком законодательстве, — одном письменном, а другом в духе, и обо всем том, чем некогда почтены были израильтяне выше своего достоинства? Но когда впали они в болезнь, с яростью восстали друг на друга, разделились на многие части, будучи доведены до последней крайности крестом и своим упорством, с каким восстали против Бога и Спасителя нашего, не познав Бога в человеке, когда навлекли на себя *тот жезл железный* (Пс. 2.9), которым Бог угрожал им издалека (имею в виду господствующую ныне Державу и преобладающее царство), тогда что стало? Чего не потерпели они? Иеремия плачет о прежних их бедствиях и сетует о пленении вавилонском: подлинно, и то было достойно плача и сетования. Как не пролить было горьких слез, когда стены раскопаны, город сровняли с землей, святилище разрушили, приношения разграбили, нечистые ноги вступают в недоступное, скверные руки на службу сластолюбию берут неприкосновенное, пророки умолкли, священники отводятся в плен, к старейшинам нет милости, девы предаются поруганию, юноши падают, огонь чужой и огонь брани, также реки крови занимают место священного огня и крови, назореев волокут по улицам, песни заменены плачем, и, скажу собственными словами Плача Иеремии, *сыны Сиона драгоценные* (Плач. 4.2) и равноценные злату, жившие в довольстве и не испытавшие бедствий, идут необыкновенным путем, *а пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник* (1.4)? А немного раньше: *руки женщин мягкосердых* (4. 10) при усиливающейся осаде не детям подают пищу, но детей терзают себе на пищу и утоляют голод свой тем, что для них всего любезнее. Не ужасно ли это, не верх ли ужаса не только для терпевших тогда, но и для слышащих об этом ныне? Всякий раз, как беру в руки эту книгу и читаю Плач (а читаю его всякий раз, когда хочу чтением уцеломудрить благоденствие), — голос у меня прерывается, слезы льются сами собой, бедствие как бы совершается перед моими глазами, и я плачу с плакавшим пророком. Но кто из умеющих слагать плачевные песни и вполне изобразить скорбь словом, достойно оплачет последний удар, — переселение израильтян, ныне тяготеющее над ними иго рабства, всем известное под римским владычеством унижение, главнейшей виной которого было возмущение? Какие книги вместят это? Для них один памятник бедствия, — целая Вселенная, по которой они рассеяны, прекратившееся Богослужение, едва узнаваемое ныне место самого Иерусалима, который в той только мере для них доступен и тем только их услаждает за прежнюю славу, что они, явившись там на один день, могут оплакать запустение.

Если же возмущение действительно так страшно и гибельно по своим последствиям, как видно из сказанного и как показывают многие другие примеры, то гораздо страшнее людям, которые освободились уже от мелочной привязчивости и вкусили благ мира, снова подвергнуться той же болезни и, как говорится, возвратиться на свою блевотину, не вразумившись самим опытом, который поучителен и для несмышленых. Ибо, как вижу, легкомысленными и неразумными считают не тех, которые преданы какому-либо пороку, но тех, которые, подобно переменчивым ветрам, или переменам и приливам воды в Еврипах, или непостоянным волнам моря, легко увлекаются и переходят то на ту, то на другую сторону. Примечаю и то, что остающихся в раздоре делает более доступными, по крайней мере, надежда на согласие, которая облегчает большую часть их несчастья; потому что для несчастного великое утешение — надеяться на перемену и иметь в виду нечто лучшее; но те, которые часто приступали к единомыслию и всегда снова устремлялись к раздору, сверх всего другого, лишаются и надежды на лучшее, боятся согласия не менее, чем раздора, и по причине удобопреклонности к тому и другому и непостоянства ни тому, ни другому не доверяют.

Да не подумают, однако же, будто бы я утверждаю, что всяким миром надобно дорожить. Ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие; но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. И если нужно о том выразиться кратко, то скажу свою мысль: не хорошо быть и слишком вялым и чрезмерно горячим, так чтобы или, по мягкости нрава, со всеми соглашаться, или, из упорства, со всеми разногласить. Как вялость недеятельна, так удобопреклонность на все необщительна. Но когда идет дело о явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч, не смотреть на требования времени и властителей и вообще на все, нежели приобщаться к закваске лукавства и прикасаться к зараженным. Всего страшнее — бояться чего-либо более, нежели Бога, и из-за этой боязни служителю истины стать предателем учения веры и истины. Но когда огорчаемся по подозрению и боимся, не исследовавши дела, тогда терпение предпочтительнее поспешности и снисходительность лучше настойчивости. Гораздо лучше и полезнее, не отделяясь от общего тела, как членам его, исправлять друг друга и самим исправляться, нежели, преждевременно осудив своим отлучением и тем разрушив доверенность, потом повелительно требовать исправления, как свойственно властелинам, а не братьям.

Познав это, братия, обнимем и облобызаем друг друга, будем искренно едины, будем подражать *Разорившему средостение ограды* и кровью Своей все собравшему и примирившему. Скажем этому общему отцу, досточтимому старцу, кроткому и тихому Пастырю: видишь ли, какая награда за *смирение? Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе* (Ис. 60,4). Они собраны, как ты того желал, и чего единого просил день и ночь, дабы закончить свое странствование в старости доброй. Вот, они все пришли к тебе, упокаиваются под крылами твоими и окружают свой алтарь; со слезами они удалились, с радостью возвращаются. Радуйся и увеселяйся, наилучший и чадолюбивейший из отцов, потому что ты как невеста убранством одет и облечен всеми ими. Скажи и ты нам: *«Вот я и дети, которых мне дал Господь* (Ис. 8.18)! Приложи и другое слово Господне, особенно ныне приличное: тел; *которых ты дал мне, я сохранил* (Ин. 17.12) и из них ни единого не погубил. И о если бы никто не погиб, но все мы пребыли в едином духе, единодушно подвизались за Евангельскую веру, едино мудрствовали; вооружаясь щитом веры, перепоясав чресла истиной, знали одну только брань, — брань против лукавого и против воинствующих под его начальством; не боялись тех, которые могут убить тело, но не могут похитить души; боялись же Господа души и тела; сохраняли драгоценный залог, полученный нами от отцов, то есть поклонялись Отцу, и Сыну, и Святому Духу, в Которых мы крестились, в Которых уверовали, с Которыми сочетались; познавали Отца в Сыне и Сына в Духе, прежде соединения разделяли, прежде разделения соединяли; не почитали Трех за единого (потому что они не безыпостасны и не одну составляют ипостась, так что богатство наше не в одних именах, но в самой вещи), и верили, что Три суть единое, — единое же не ипостасью, но Божеством — Единица в Троице поклоняемая и Троица в Единице возглавляемая, вся достопоклоняемая, вся царственная, единопрестольная, равнославная, премирная и превысшая времени, не созданная, невидимая, неприкосновенная, непостижимая, *сама только ведающая о Себе, какой порядок имеет сама в Себе,* а для нас равно досточтимая, достойная равного служения. Едина входящая во Святая Святых, всякую же тварь оставляющая вне и отделяющая иных первой, а других второй завесой; так первой отделены от Божества существа небесные и Ангельские, второй же отделено наше естество от существ небесных.

Так, братия, будем поступать и так вести себя, и разномыслящих, пока можно, будем принимать и врачевать как язву истины; страждущих же неисцельно станем отвращаться, чтобы самим не заразиться их болезнью, прежде нежели сообщим им свое здоровье. И Бог мира, всяк ум превосходящего, будет с нами, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.

   

# СЛОВО 7. Надгробное брату Кесарию, произнесенное еще при жизни родителей

Может быть, думаете вы, друзья, братья и отцы, любезные делом и именем, что я охотно приступаю к слову, желая слезами и сетованием сопроводить ушедших от нас или предложить длинную и витиеватую речь, каковыми многие услаждаются. И одни готовятся скорбеть и проливать со мной слезы, чтобы вместе с моим горем оплакать свое, какое у кого есть, и научиться скорби в страданиях друга; другие же надеются насытить слух и получить удовольствие, предполагая, что и само несчастье обращу в случай показать себя, как бывало со мной прежде, когда, кроме прочего, довольно избыточествовал я предметами слова и щедр был на сами слова, пока не воззрел к истинному и высочайшему Слову, не предал всего Богу, от Которого все, и взамен всего не приял Бога. Нет, не так обо мне разумейте, если хотите разуметь справедливо. Не буду более надлежащего плакать об умершем я, который не одобряю этого в других. Не стану и хвалить сверх меры и приличия; хотя слово для обладавшего даром слова и хвала для любившего особенно мои слова есть такой дар, который ему приятен и приличнее всякого дара, и не только дар, но долг, который справедливее всякого долга. Однако же пролью слезы и почту удивлением, насколько это оправдывает данный на то закон, ибо и это не чуждо нашему любомудрию, так как *память праведника пребудет благословенна* (Пр. 10.7). *Над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастию, начни плач* (Сир. 38.16), говорит некто, равно предотвращая нас и от нечувствительности и от неумеренности в скорби. Потом покажу немощь человеческого естества, упомяну и о достоинстве души. Как сетующим подам должное утешение, так скорбь от телесного и временного возведу к духовному и вечному.

Начну с чего для меня всего приличнее начать. Всем вам известны родители Кесаря; и видимы и слышимы вами их добродетели; вы подражаете и удивляетесь им, а незнающим, ежели есть таковые, рассказываете о них, избирая для этого — один то, другой другое. Да и невозможно было бы одному пересказать все; такое дело, сколько бы кто ни был неутомим и ревностен, требует не одного языка. Из многих же и великих качеств, похвальных в них (да не подумают, что преступаю меру, хваля своих!), одно всех важнее и не уступает прочим в знаменитости; это — благочестие. Скажу и то, что эти почтенные люди украшены сединами, равно заслуживают уважения и за добродетель и за престарелость. Тела их истощены летами, но души юнеют Богом.

Отец, бывший дикой маслиной, искусно привит к маслине доброй и до того напоен ее соками, что ему поручено прививать других, вверено врачевание душ. Сподобившись высокого сана и почтенный высоким председательством у людей этих, как второй Аарон или Моисей, приближается он к Богу, и другим, стоящим издали, преподает Божий глаголы. Он кроток, не гневлив, спокоен по наружности, горяч духом, обилен дарами видимыми, но еще более обогащен сокровенными. Но для чего описывать, кого вы сами знаете? Если и надолго простру слово, — не скажу, сколько бы надлежало и сколько каждый из вас знает и желает слышать. Лучше предоставить всякому думать по-своему, нежели, изображая чудо словом, убавить большую часть его.

А мать издревле и в предках посвящена Богу, не только сама обладает благочестием, как неотъемлемым наследием, но передает его и детям. Действительно, от святого начатка и примешение свято (Рим. 11. 16). И она до того возрастила и приумножила это наследие, что некоторые (скажу и это смелое слово) уверены и уверяют, будто бы совершенства, видимые в муже, были единственно ее делом, и (что чудно) в награду за благочестие жены дано мужу большее и совершеннейшее благочестие.

Всего же удивительнее то, что оба они и чадолюбивы, и христолюбивы; вернее же сказать, больше христолюбцы, нежели чадолюбцы. Для них и в детях одно было утешение, чтобы прославлялись и именовались по Христе; под благочадием разумели они добродетель и приближение детей к совершенству. Они милосерды, сострадательны, многое спасают от тли, от разбойников и от миродержителя; сами из временного жилища переселяются в постоянное, и детям собирают драгоценнейшее наследие — будущую славу. Так достигли они маститой старости, равно уважаемые и за добродетель и за возраст, исполненные дней как преходящих, так и пребывающих. В том только не имеют они первенства между земнородными, в чем каждый из них препятствует другому стоять первым. Для них во всем исполнилась мера благополучия; разве иной исключит последнее событие, которое не знаю как назвать — испытанием ли, или Божиим смотрением. Но я назвал бы смотрением, потому что, предпослав одного из детей, который по возрасту мог скорее поколебаться, тем свободнее могут они сами отрешаться от жизни и со всем домом возноситься к горнему.

Все это говорено мной не с намерением восхвалить родителей, ибо знаю, что едва ли бы кто успел в этом, хотя бы на похвалы им посвятил и целое слово. Я хотел только из свойства родителей показать, какова должна быть добродетель Кесаря. Не удивляйтесь же и не почитайте невероятным, что при таких родителях явил он себя достойным таких похвал. Напротив, удивительно было бы, если бы, презрев домашние и близкие примеры, подражал он другим. И действительно, начало было таково, какое и приличествовало человеку, который имел благородное происхождение и обещал впоследствии жизнь превосходную. А середину сокращу: красота, величественность роста, во всем приятность и, как бы в звуках, стройность, — такие были преимущества в Кесарии, которым удивляться не наше дело, хотя для других и кажутся они немаловажными. Перейду же к последующему, о чем трудно и умолчать, хотя бы захотел.

В таких правилах воспитанные и наставленные по достаточном упражнении здесь в науках, в которых, по быстроте и высокости дарований (трудно и сказать, сколько) превзошел он многих (могу ли без слез вспомнить об этом и от горести против обещания не изобличить себя в нелюбомудрии?), когда наступило время оставить нам родительский дом, — мы в первый еще раз разлучились друг с другом. Я, по любви к красноречию, остался в процветавших тогда палестинских училищах, а он отправился в Александрию, в этот город, который и тогда, и доныне был и почитался, неточным местом всякого образования.

Какое же из совершенств его наименую первым, или важнейшим, о чем умолчу без величайшего ущерба слову? Кто доверчивее его был к наставникам? Кто дружелюбнее со сверстниками? Кто больше его избегал сообществ и бесед с неблагонравными? Кто вступил в теснейшее общение с людьми отличнейшими, как с чужеземцами, так и из соотечественников наиболее одобряемыми и известными? Он знал, что короткое обращение с людьми немало способствует к навыку и в добродетели и в пороке. Аза такие качества, кто более его отличаем был начальством, уважаем в целом городе? И хотя, по обширности города, все оставались в безвестности, однако же, кто был известнее его целомудрием, славнее умом? Какого рода наук не проходил он? Или, лучше сказать, в какой науке не успел более, нежели как успевал другой, занимаясь ею одной? Кто, не только из сверстников по учению и летам, но из старших возрастом и начавших учиться прежде него, мог с ним, хотя несколько, сравниться?

Он изучал все науки как одну, и одну как все. Быстрых по дарованиям сверстников побеждал трудолюбием, и неутомимых в занятиях — остротой ума; вернее же сказать, скорых превосходил скоростью, трудолюбивых — прилежанием, а преимуществовавших в том и другом — и тем и другим. Из геометрии, из астрономии и из науки, для других опасной, избирал он полезное, сколько нужно, чтобы, познав стройное течение и порядок небесных тел, благоговеть перед Творцом; а что в этой науке есть вредное, того избегал, и движению звезд не подчинял ни существ, ни явлений, как делают иные, сослужебную себе тварь поставляющие наряду с Творцом; напротив, само движение звезд, как и все прочее, приписывал он, сколько должно, Богу. Что же касается науки чисел и их отношений, также чудного врачебного знания, которое углубляется в свойство естеств и темпераментов и в начала болезней, чтобы, исторгая корни, отсекать и ветви, то найдется ли человек столько невежественный, что дал бы Кесарию второе место, а не предпочел лучше стать первым после него и иметь совершенство между вторыми? И все это не осталось незасвидетельствованным; напротив, Восток, Запад и все страны, где только впоследствии бывал Кесарии, служат знаменитыми памятниками его учености.

Когда же в единую душу свою, как в большой корабль, нагруженный всякими товарами, собрав все добродетели и сведения, отправился он в свой родной город, чтобы и других наделить сокровищами своей учености; тогда случилось нечто удивительное. И как воспоминание об этом меня особенно восхищает, а может быть и вам доставит удовольствие, то не излишним будет пересказать о том кратко. Мать в материнских и чадолюбивых молитвах своих просила Бога, чтобы ей обоих нас, как отпустила вместе, так и возвратившимися увидеть вкупе. Ибо мы, когда бывали вместе, казались какой-то четой, если не для других, то для матери, достойной благожеланий и лицезрения, хотя теперь и разлучены по злобной зависти. А тогда Бог, Который внемлет праведной молитве и награждает любовь родителей к благонравным детям, подвиг нас, без всякого с нашей стороны соумышления и соглашения, одного из Александрии, а другого из Греции, одного сушей, а другого морем, прибыть в одно время и в один город. Это была Византия, город первопрестольный ныне в Европе, в котором Кесарии через некоторое время приобрел такую славу, что ему предложены были отличия в обществе, знатное супружество и место в Сенате. Даже по общему приговору отправлено к великому Царю посольство с прошением — первый из городов, если Царь желает сделать его действительно первым и достойным этого наименования, почтить и украсить первым из ученых мужей, а благодаря этому заставить, кроме прочего, говорить о Византии, что она, при иных преимуществах, изобилуя многими мужами, отличными в знании философии и других наук, имеет еще у себя врачом и гражданином Кесария. Но об этом довольно. А что с нами тогда встретилось, хотя казалось иным одной случайностью, не имевшей ни основания, ни причины, как и многое в нашей жизни приписывается случаю; однако же для боголюбивых ясно показывало не дело случая, но исполнение молитвы благочестивых родителей, по которой собираются к ним дети и с суши, и с моря.

Не умолчу и том прекрасном качестве Кесария, которое иным представляется, может быть, маловажным и не стоящим упоминания, но мне и тогда казалось и теперь кажется весьма важным, если только похвально братолюбие. И когда ни буду говорить о делах Кесария, не перестану причислять этого к первым совершенствам. В Византии, как сказал я, удерживали его почестями, и ни под каким предлогом не соглашались отпустить. Однако же превозмог я, во всем уважаемый и высоко ценимый Кесарием; я убедил его исполнить моление родителей, свой долг к отечеству, а также и мое желание; убедил продолжить путь, и притом вместе со мной, предпочесть меня не только городам и народам, почестям и выгодам, которые отовсюду обильно или уже лились к нему, или льстили надеждой, но едва и не самому Государю и его приказаниям. Что до меня, то с этого времени, отбросив всякое честолюбие, как тяжкое иго властелина или мучительную болезнь, решился я посвятить себя любомудрию и стремиться к горней жизни; или лучше сказать, такое желание началось во мне раньше, но образ жизни принят после. Кесарии же первые плоды учености посвятил своей родине, и своими трудами заслужив должное уважение, потом увлечен был желанием славы и, как меня уверял, желанием сделаться полезным для города. Он отправился к царскому двору, что мне не совсем нравилось и не по моему было расположению, ибо (извинюсь перед вами) для меня лучше и выше быть последним у Бога, нежели занимать первое место у земного царя. Однако же поступок Кесария не заслуживал и укоризны; ибо жизнь любомудренная как всего выше, так и всего труднее; она и возможна не для многих, а только для тех, которые призваны к этому высоким Божиим Умом, благопоспешествующим в благом предприятии. Но немаловажно и то, ежели кто, избрав второй род жизни, сохраняет непорочность и больше помышляет о Боге и о своем спасении, нежели о своей славе; кто, действуя на позорище этого мира, хотя принимает почести, как сень или личину разнообразного и временного, однако же сам живет для Бога и блюдет в себе образ, о котором знает, что получил его от Бога и за который обязан дать отчет Даровавшему. А я знаю, что таков точно был образ мыслей Кесария. Ему дается первое место между врачами; для чего не потребовалось и больших усилий, а стоило только показать ему свои сведения, или даже одну предварительную часть своих сведений. Вскоре включен он в число приближенных к Государю и получает самые высокие почести. Между тем предлагает высшим чиновникам пособия своего искусства безмездно, зная, что к возвышению всего вернее ведет добродетель и известность, приобретенная честными средствами. А благодаря этому далеко превзошел он славой тех, ниже которых был чином. Все любили его за целомудрие и поверяли ему свое драгоценнейшее, не требуя с него Гиппократовой клятвы; даже простодушие Кратесово в сравнении с Кесариевым было ничто. Всеми он уважаем был более и того, чего стоил; и хотя ежедневно удостаивался важных отличий, однако же и сами Государи, и все первые после них люди в государстве, почитали его достойным впредь еще больших почестей. Всего же важнее то, что ни слава, ни окружающая роскошь не могли повредить благородства души его. Напротив, при многих и важных отличиях, одно только достоинство считал он первым, — и быть и именоваться христианином; а все прочее, в сравнении с этим, казалось ему игрушкой и суетой. Другим предоставлял он забавляться тем, как бы в театре, который наскоро строят и потом разбирают, или скорее ломают, нежели устанавливают; что и действительно видим в многочисленных переворотах жизни и в переменчивости счастья, так что подлинное и несомненно постоянное благо одно, именно благочестие. Таковы были плоды Кесариева любомудрия и под хламидой! В таких мыслях он жил и умер, явив и доказав, по внутреннему человеку, перед Богом еще большее благочестие, нежели какое было видимо людьми.

Но если должно мне обойти молчанием другие его дела, покровительство сродникам, впадшим в несчастье, презрение к надменным, уважение к друзьям, свободу перед начальниками, подвиги за истину, весьма часто и за многих сочиняемые слова, не только сильные доводами, но отличающиеся благочестием и одушевлением, то вместо всего этого нужно сказать об одном знаменитейшем из всех его дел.

Рассвирепел на нас царь злоименный, он вознеистовствовал прежде на себя, отвергшись веры во Христа, а потом стал уже нестерпим и для других. Не смело, не по примеру других христоненавистников, передался он в нечестие, но прикрывал гонение личиной кротости, и подобно тому пресмыкающемуся змию, который владел его душой, всякими ухищрениями завлекал несчастных в одну с собой бездну. Первой же из его хитростей и козней было — страждущих за христианство наказывать, как злодеев, чтобы нам не иметь и чести Мучеников, ибо и в этом завидовал христианам этот великий муж. А вторая лесть состояла в том, что делу своему придавал имя убеждения, а не насилия; чтобы произвольно уклоняющимся в нечестие тем больше было стыда, чем меньше предлежало им опасности. И он привлекал кого деньгами, кого чинами, кого обещаниями, кого разного рода почестями, предлагая их в глазах всех не по-царски, но совершенно раболепно. На всех же старался действовать очаровательностью речей и собственным примером. Кроме многих других, делает он покушение и на Кесария. Какое тупоумие и даже безумие — надеяться, что уловит Кесария, моего брата и сына таких родителей!

Да позволено будет продлить слово и насладиться повествованием, как услаждались присутствовавшие при этом чудном деле! Доблестный муж, оградившись знамением Христовым и вместо щита прикрывшись великим словом, предстает перед сильным по оружию и великим по дару слова, не теряет твердости, слыша льстивые речи, а является, как борец, готовый подвизаться словом и делом против сильного в том и другом. Итак, поприще открыто, вот и подвижник благочестия! С одной его стороны Подвигоположник Христос, вооружающий борца Своими страданиями, с другой — жестокий властелин, то обольщающий приветливыми речами, то устрашающий обширностью власти. И зрителей также два рода: одни остаются еще в благочестии, другие увлечены уже властелином; но те и другие внимательно наблюдают, какой оборот примет дело; и мысль, кто победит, приводит их в большее смущение, нежели самих ратоборцев. Не убоялся ли ты за Кесария, не подумал ли, что успех не будет соответствовать его стремлению? Но не сомневайтесь: победа со Христом, победившим мир. Всего более желал бы я пересказать теперь, что было тогда говорено и предлагаемо; потому что в этом споре немало расточено тонких оборотов и красот, которые не неприятно было бы для меня возобновить в памяти. Но это вовсе не приличествовало бы времени и предмету слова. Кесарии решил все словоухищрения его, отверг скрытные и явные обольщения, как детские игрушки, и громко возвестил, что он христианин и будет христианином: однако же Царь не удалил его от себя совершенно. Ему сильно хотелось пользоваться и хвалиться ученостью Кесария; и тогда произнес он следующие, часто повторяемые всеми слова: «Благополучный отец! злополучные дети!» Ибо этим поруганием он благоволил почтить вместе и меня, известного ему по афинскому образованию и благочестию.

Между тем Кесарии, сберегаемый до второго представления к Царю, которого гнев Божий благовременно вооружил против персов, возвратился к нам, как блаженный изгнанник, как победоносец, не обагренный кровью и прославленный бесчестием более, нежели блистательными отличиями. Такая победа, по моему суждению, гораздо выше и почтеннее могущества Юлиана, высокой багряницы и драгоценной диадемы. И повествованием об этом превозношусь я более, нежели как стал бы превозноситься, если бы Кесарии разделял с ним целое царство. Если он уступает злым временам, то делает по нашему закону, который повелевает бедствовать за истину, когда потребуют обстоятельства, и не изменять благочестию из робости, но также и не вызываться, пока можно, на опасность, как страшась за свою душу, так щадя и тех, которые повергают нас в опасность.

Когда же мрак рассеялся, далекая страна прекрасно решила дело, *оружие очищенное* (Пс. 7,13) низложило нечестивца, а христиане снова восторжествовали; нужно ли говорить, с какой тогда славой и честью, при каких и скольких засвидетельствованиях, принят опять к царскому двору Кесарии, как будто он через это оказывал, а не сам получал, милость? Новая почесть заняла место прежней. И хотя государи менялись по времени однако же доброе мнение о Кесарии и его первенство при дворе было непоколебимо. Даже государи препирались между собой в том, кто из них более ласкал Кесария и кто имел больше права назвать его искреннейшим другом и приближенным. Таково было благочестие Кесария, и таково воздаяние за благочестие! Пусть слышат об этом и юноши, и мужи, и пусть той же добродетелью снискивают подобную знаменитость все, которые домогаются ее и почитают ее частью благополучия! Только *плод добрых трудов славен* (Прем. 3,15).

Но вот еще чудное событие в жизни Кесария, которое служит сильным доказательством богобоязненности, вместе и его собственной, и родителей его. Кесарии проживал в Вифинии и был начальником по такой части, которая близка к самому государю. Он был хранителем царской казны и имел под своим смотрением сокровища. А этим государь пролагал для него путь к высшим чинам. Но во время недавнего в Никее землетрясения, которое, как сказывают, было ужаснее прежних и почти всех застигло и истребило вместе с великолепием города, из знатных жителей едва ли не один, или весьма с немногими, спасается от гибели Кесарии. И спасение совершилось невероятным для него самого образом: он был покрыт развалинами и понес на себе только малые признаки опасности, насколько нужно было для него, чтобы принять страх наставником высшего спасения, и оставив служение непостоянному, из одного царского двора поступив в другой, совершенно перейти в горнее воинство. Он сам встретился с такой мыслью и ревностно возжелал ее исполнения, как уверял меня в письмах своих; а я воспользовался случаем присоветовать то, к чему и прежде не переставал увещевать, сожалея, что великие его дарования обращены на худшее, что душа столь любомудрая погружена в дела общественные и уподобляется солнцу, закрытому облаком.

Но спасшись от землетрясения, Кесарии не спасся от болезни, потому что был человек: и первое принадлежало ему собственно, а последнее было ему общим со всеми; первым одолжен он благочестию, а в последнем действовала природа. Так утешение предшествовало горести, чтобы мы, пораженные его смертью, могли похвалиться чудным его спасением в то время. И теперь сохранен для нас великий Кесарии; перед нами драгоценный прах, восхваляемый мертвец, переходящий от песнопений к песнопениям, сопровождаемый к алтарям мученическим, чествуемый и святыми руками родителей, и белой одеждой матери, заменяющей в себе горесть благочестием и слезами, которые препобеждаются любомудрием и псалмопениями, которыми укрощается плач; перед нами приемлющий почести, достойные души новосозданной, которую Дух преобразовал водой.

Таково тебе, Кесарии, погребальное от меня приношение! Прими начатки моих речей, ты часто жаловался, что скрываю дар слова, и вот, на тебе надлежало ему открыться! Вот от меня тебе украшение, и знаю, что оно для тебя приятнее всякого другого украшения! Не принес я тебе шелковых волнующихся и мягких тканей, которыми ты не увеселялся и прежде, потому что украшал себя одной добродетелью. Не принес и тканей из чистого льна, не возлил многоценных благовоний, которые ты и при жизни отсылал в женские чертоги и которые благоухают не долее одного дня; не принес чего-либо другого, столь же ничтожного и уважаемого людьми ничтожными; так как все это, вместе с прекрасным телом твоим, покрыл бы ныне этот холодный камень. Прочь от меня с теми языческими игрищами и представлениями, которые совершались в честь несчастных юношей и при которых за маловажные подвиги предлагались маловажные награды! Прочь с теми обрядами, в которых насыпями, приношением начатков, венцами и свежими цветами упокоивали усопших людей, покоряясь более отечественному закону и неразумию горести, нежели разуму! Мой дар — слово, оно, переходя далее и далее, достигнет, может быть, и будущих времен и не попустит, чтобы переселившийся отсюда совершенно нас оставил, но сохранит его навсегда для слуха и сердца, явственнее картины представляя изображение возлюбленного. Таково мое приношение! Если оно маловажно и не соответствует твоим достоинствам, то по крайней мере благоугодно Богу, как соразмерное силам. Притом, мы воздали часть, а другую, кто останется из нас в живых, воздаст при годичном чествовании и поминовении.

А ты, божественная и священная глава, войди на небеса, упокойся в недрах Авраамовых (что ни знаменовали бы они), узри лик Ангелов, славу и великолепие Блаженных, или лучше, составь с ними один лик и возвеселись, посмеиваясь с высоты всему здешнему, так называемому, богатству, ничтожным достоинствам, обманчивым почестям, заблуждению чувств, превратностям этой жизни, беспорядку и недоразумениям как бы среди ночного сражения! И да предстоишь Великому Царю, исполняясь горнего света, от которого и мы, приняв малую струю, сколько может изобразиться в зеркале и гаданиях, да взойдем наконец к Источнику блага, чистым умом созерцать чистую истину и за здешнее ревнование о добре обрести ту награду, чтобы насладиться совершеннейшим обладанием и созерцанием добра в будущем! Ибо это составляет цель нашего тайноводства, как прорицают и Писание и богословы.

Что остается еще? Предложить исцеляющие слова скорбящим. Для плачущих действительнейшее пособие то, которое подано сетующим с ними. Кто сам чувствует равную горесть, тому удобнее утешать страждущих. Притом, слово мое обращается особенно к тем, за которых было бы мне стыдно, если бы они не превосходили так же всех в терпении, как превосходят во всякой другой добродетели. Ибо они хотя больше всех чадолюбивы, однако же больше всех и любомудры, и христолюбивы. Как сами всего более помышляют о переселении отсюда, так и детей научили тому же, или, лучше сказать, целая жизнь определена у них на помышление о смерти. Если же горесть омрачает мысли и, подобно гноетечению из глаз, не позволяет чисто рассмотреть, что должно, то да примут утешение старцы от юного, родители от сына, подававшие многим советы и приобретшие долговременную опытность — от того, кто сам имеет нужду в их советах. Не удивляйтесь же, если будучи юным, даю уроки старцам; и то ваше, если умею видеть иное лучше седовласых.

Сколько еще времени проживем мы, почтенные и приближающиеся к Богу старцы? Долго ли еще продлятся здешние злострадания? Непродолжительна и целая человеческая жизнь, если сравнить ее с Божественным и нескончаемым естеством. Еще более краток остаток жизни и, так сказать, прекращение человеческого дыхания, окончание временной жизни. Чем предварил нас Кесарии? Долго ли нам оплакивать его, как отшедшего от нас? Не поспешаем ли и сами к той же обители? Не покроет ли и нас вскоре тот же камень? Не сделаемся ли в скором времени таким же прахом? В эти же краткие дни не столько приобретем доброго, сколько увидим, испытаем, а может быть, сами сделаем худого; и потом принесем общую и непременную дань закону природы. Одних сопроводим, другим будем предшествовать; одних оплачем, для других послужим предметом плача, и от иных воспримем слезный дар, который сами приносили умершим. Такова временная жизнь наша, братия! Таково забавное наше появление на земле — возникнуть из ничего и, возникнув, разрушиться! Мы то же, что беглый сон, неуловимый призрак, полет- птицы, корабль на море, следа не имеющий, прах, духовение, весенняя роса, цвет, временем рождающийся и временем облетающий. *Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет* (Пс. 102, 15); прекрасно рассуждал о нашей немощи божественный Давид. Он тоже говорит в следующих словах: *изнурил силы мои, сократил дни мои* (Пс. 101,24), и меру дней человеческих определяет *пядями* (Пс. 38,6). Что же сказать вопреки Иеремии, который и к матери обращается с упреком, сетуя на то, что родился и притом по причине чужих грехопадений (Иер. 15, 10*)? Видел всяческое,* говорит Екклесиаст; обозрел я мыслью все человеческое, богатство, роскошь, могущество, непостоянную славу, мудрость, чаще убегающую, нежели приобретаемую; неоднократно возвращаясь к одному и тому же, рассмотрел опять роскошь и опять мудрость, потом сластолюбие, сады, многочисленность рабов, множество имения, виночерпцев и виночерпиц, певцов и певиц, оружие, оруженосцев, коленопреклонения народов, собираемые дани, царское величие и все излишества и необходимости жизни, все, чем превзошел я всех до меня бывших царей; и что же во всем *этом? Все суета сует, всяческая суета и томление духа* (Еккл. 1,2. 14), то есть какое-то неразумное стремление души и развлечение человека, осужденного на это, может быть, за древнее падение. *Насущность всего,* говорит *он, Бога бойся* (Еккл. 12,13), здесь предел твоему недоумению. И вот единственная польза от здешней жизни — самим смятением видимого и обуреваемого руководствоваться к постоянному и незыблемому. Итак, будем оплакивать не Кесария, о котором знаем — от каких зол он освободился, но себя самих; ибо знаем, для каких бедствий оставлены мы и какие еще соберем для себя, если не предадимся искренно Богу, если, обходя преходящее, не поспешим к горней жизни, если, живя на земле, не оставим землю и не будем искренно последовать Духу, возводящему в горнее. Это прискорбно для малодушных, но легко для мужественных духом.

Рассмотрим еще и то: Кесарии не будет начальствовать, но и у других не будет под начальством; не станет вселять в иных страха, но и сам не убоится жестокого властелина, иногда недостойного, чтобы ему начальствовать; не станет собирать богатства, но не устрашится и зависти, или не повредит души несправедливым стяжанием и усилием присовокупить еще столько же, сколько приобрел. Ибо таков недуг богатолюбия, что не имеет предела в потребности большего и врачует себя от жажды тем, что непрестанно пьет. Кесарии не сложит новых речей, но за речи же будет в удивлении, не будет рассуждать об учении Гиппократа, Галена и их противников, но не станет и страдать от болезней, из чужих бед собирая себе скорби; не будет доказывать положений Евклида и Птолемея и Герона, но не станет и сетовать о надменных сверх меры невеждах; не станет показывать своих сведений в учении Платона, Аристотеля, Пиррона, Демокритов, Гераклитов, Анаксагоров, Клеанфов, Эпикуров, и еще не знаю кого из почтенных стоиков или академиков, но не будет и заботиться о том, как решить их правдоподобия. Нужно ли мне упоминать о чем-либо другом? Но что, конечно, всякому дорого и вожделенно, у него не будет ни жены, ни детей. За то ни сам не станет их оплакивать, ни ими не будет оплакиваем; не останется после других и для других памятником несчастья. Он не наследует имения, за то будет иметь наследников, каких иметь всегда полезнее и каких сам желал, чтобы переселиться отсюда обогащенным и взять с собой все свое. И какая щедрость! Какое новое утешение! Какое великодушие в исполнителях! Услышана весть, достойная общего слышания, и горесть матери истощается прекрасным и святым обетом — все, что было у сына, все его богатство, отдать за него в погребальный дар, и ничего не оставлять ожидавшим наследства.

Ужели и этого недостаточно к утешению? Предложу сильнейший способ лечения. Для меня убедительны слова мудрых, что всякая добрая и боголюбивая душа, как скоро, по разрешении от сопряженного с нею тела, освободится, приходит в состояние чувствовать и созерцать ожидающее ее благо, а по очищении или по отложении (или еще, не знаю, как выразить) того, что ее омрачало, услаждается чудным каким-то услаждением, веселится и радостно шествует к своему Владыке; потому что избегла здешней жизни, как несносной тюрьмы, и свергла с себя лежавшие на ней оковы, которыми крылья ума влеклись долу. Тогда она в видении как бы пожинает уготованное ей блаженство. А потом и соприрожденную себе плоть, с которой упражнялась здесь в любомудрии, от земли, ее давшей и потом сохранившей, восприняв непонятным для нас образом и известным только Богу, их соединившему и разлучившему, — вместе с ней вступает в наследие грядущей славы. И как, по естественному союзу с плотью, сама разделяла ее тяготы, так сообщает ей свои утешения, всецело поглотив ее в себя и сделавшись с ней единым духом, и умом, и богом, после того как смертное и преходящее поглощено жизнью. Послушай же, как любомудрствует божественный Иезекииль о соединении костей и жил (Иез. 37), а за ним и божественный Павел о скинии земной и о храмине нерукотворенной, из которых *одна разрушится,* а другая уготована на *небесах (2* Кор. 5,1). Он говорит, что *выйти из тела* значит *войти к Господу;* и жизнь в теле оплакивает как отхождение от Господа, и потому желает и поспешает отрешиться от тела. Для чего же мне малодушествовать в надежде? Для чего прилепляться к временному? Дождусь архангельского гласа, последней трубы, преобразования неба, претворения земли, освобождения стихий, обновления целого мира. Тогда увижу и самого Кесария не отходящим, не износимым, не оплакиваемым, не сожалениями сопровождаемым, но святым, прославленным, превознесенным, каким ты, возлюбленнейший из братьев и братолюбивейший, неоднократно являлся мне во сне, потому ли, что так изображало тебя мое желание, или потому, что это была сама истина.

А теперь, оставив слезы, обращусь к себе, чтобы самому против воли не сделаться достойным слез, и рассмотрю свое положение. *Сыны человеческие* (ибо к вам простирается слово), *доколе будете* и тяжелы мыслью, *доколе будете любить суету и искать лжи* (Пс. 4, 3), почитая здешнюю жизнь чем-то великим и немногие эти многочисленными, а этого вожделенного и приятного разлучения отвращаясь, как чего-то тяжкого и ужасного? Еще ли не познаем самих себя? не отвергнем видимого? не обратим взоров к мысленному? Ежели скорбеть о чем-нибудь должно, то не поболезнуем ли о *продолжении пришествия* (Пс. 109, 5), вместе с божественным Давидом, который называет все земное селениями тьмы, *местом озлобления* (Пс.43,20), *глубоким болотом* (Пс. 68,3), *тенью смертной* (Пс. 106, 10) ? Поболезнуем; потому что медлим в гробах, которые носим с собой; потому что мы, бывшие богами, умираем, как люди, греховной смертью. Этот-то страх объемлет меня; об этом помышляю день и ночь; не позволяют мне успокоиться и будущая слава, и будущий суд. Одной настолько желаю, что могу сказать: *истаевает душа моя о спасении Твоем* (Пс. 118,81); а другого ужасаюсь и отвращаюсь. И страшит меня не то, что это тело мое, удоборазрушаемое и тленное, совершенно погибнет, но то, что славное творение Божие (славное, когда преуспевает в добре, а равно и бесчестное, когда грешит), творение, в котором есть ум, закон и надежда, осуждено будет на одинаковое бесславие с неразумными, и по разлучении с телом станет ничем его не лучше, чего и желали бы люди порочные и достойные будущего огня. О если бы *мне умертвить земные члены* (Кол. 3,5)! О если бы мне, идя путем узким, для немногих проходимым, а не широким и легким, все принести в жертву духу! Ибо славно и велико то, что последует за этим; уповаемое — более того, чего мы достойны. *Что есть человек, что Ты помнишь его* (Пс. 8,5)? Какая это новая обо мне тайна! Мал я и велик, унижен и превознесен, смертен и бессмертен, я вместе земной и небесный! Одно у меня общее с дольним миром, а другое — с Богом; одно — с плотью, а другое — с духом! Со Христом должно мне спогребстись, со Христом воскреснуть, Христу сонаследовать, стать сыном Божиим, даже Богом!

Видите, куда, наконец, возвело нас слово. Я готов почти благодарить постигшую нас горесть, которая расположила меня к такому любомудрию и даже сделала пламенно желающим переселиться отсюда. Это предназначает нам великая тайна, предназначает Бог, за нас очеловечившийся и обнищавший, чтобы восставить плоть, спасти образ и воссоздать человека, да будем *все одно во Христе,* Который во всех нас сделался совершенно всем тем, что сам Он есть; да не будет в нас более *ни мужского пола, ни женского,* ни варвара, ни скифа, *ни раба, ни свободного* (Гал. 3,28.29), так как это плотские признаки; но да имеем единый Божий Образ, Которым и по Которому мы созданы; да изобразится и запечатлеется в нас Он настолько, чтобы по Нему только могли узнавать нас. И в этом надеемся успеть по великому человеколюбию великодаровитого Бога, Который, требуя малого, искренно любящим Его и в настоящем, и в будущем дарует великое, будем все переносить, все терпеть ради любви к Нему и по упованию, за все благодарить, как *за правое,* так и *за левое,* то есть, за приятное и за скорбное, потому что Божие слово часто и последнее обращаем в оружие спасения (2 Кор. 6,7). Вверим Богу и наши души, и души тех, которые предварили нас в месте успокоения, потому что были на общем пути как бы готовее нас.

И сам, шествуя тем же путем, прекращу здесь слово. Но прекратите слезы и вы, поспешающие ко гробу своему, ко гробу, который приемлет от вас Кесарии в дар скорбный и всегдашний; ко гробу, который готовился родителям и благовременен был для старости, но Распорядителем дел наших дарован сыну и юности, хотя и не в обыкновенном порядке, однако же не вне порядка.

Ты же, Владыка и Творец всяческих, а по преимуществу, этого создания! Боже людей Твоих, Отец и Правитель, Господь жизни и смерти! Хранитель и Благодетель душ наших, все благовременно творящий и предуготовляющий художническим Словом, как Сам ведаешь, во глубине премудрости и мироправления! Прими ныне Кесария в начаток нашего отшествия. Хотя он последний из нас; однако же, первым предаем его судьбам Твоим, которыми все держится. А напоследок и нас, сохранив в теле, пока полезно, прими во время благопотребное; прими уготованных, не смущенных, не предающихся бегству в последний день, не насильно отсюда увлекаемых, что бывает с душами миролюбивыми и плотолюбивыми, но благодушно отходящих к тамошней жизни долговечной и блаженной, к жизни во Христе. Аминь.

# СЛОВО 8. Надгробное Горгонии, сестре Св. Григория Назианзина

Хваля сестру, буду превозносить свое собственное. Впрочем, нельзя признать этого ложным потому единственно, что оно свое. Напротив, поскольку оно истинно, потому и похвально; а истинно не потому только, что справедливо, но и потому, что известно. Мне нельзя говорить и по пристрастию, хотя бы и захотел; моим судьею будет слушатель, который умеет сличить слово с истиной, и если справедлив, то как не одобрит похвал незаслуженных, так потребует заслуженных. Поэтому не того боюсь, что скажу сверх истины, а напротив того, что не выскажу истины и, далеко не достигнув достоинства предмета, своими похвалами уменьшу славу сестры, ибо при ее доблестях трудно сделать, чтобы слово равнялось делам. Как не надобно и хвалить всего чужого, если оно несправедливо, так не должно и унижать своего, если оно достойно уважения; дабы первому не послужило в пользу то, что оно чужое, а последнему—во вред то, что оно свое. Ибо закон справедливости нарушается в обоих случаях — и когда хвалят только чужое, и когда умалчивают о своем. Но приняв для себя целью и правилом одну истину и ее только имея в виду, и не заботясь о всем прочем, что важно для людей простых и низких, буду хвалить или обходить молчанием, что достойно хвалы или молчания. Если отнять что у своего, злословить, обвинять его или нанести ему другую большую или меньшую обиду, не почитаем делом честным, а напротив, всякое преступление против родственника признаем самым тяжким, то всего несообразнее будет думать, что поступим справедливо, кого-либо из своих лишив слова, которым особенно обязаны мы служить людям добрым и через которое можем доставить им бессмертную память. Неуместно также обращать большее внимание на мнение людей злонамеренных, которые могут обвинить в пристрастии, а не на мнение благонамеренных, которые требуют должного. Если хвалить чужих не препятствует нам то, что дела их неизвестны и не засвидетельствованы (хотя бы это могло быть справедливейшим препятствием), то ужели наша любовь и зависть других воспрепятствуют хвалить знаемых, особенно тех, которые уже переселились от нас, которым и льстить уже поздно; потому что они оставили, как все прочее, так и хвалителей и порицателей.

Но поскольку я достаточно защитил себя и доказал, что настоящее слово для меня самого необходимо, то приступлю теперь к самим похвалам и не буду заботиться об украшении и изяществе слога (ибо и та, которую хочу хвалить, не любила украшений, а поставляла красоту в том, чтобы не иметь прикрас), но воздам усопшей приличную честь, как самый необходимый долг, и вместе постараюсь научить других соревнованию и подражанию ее добродетелям. Ибо у нас цель всякого слова и дела — вести к совершенству тех, которые нам вверены. Итак, пусть другой, соблюдая правила похвальных слов, хвалит отечество и род почившей, и действительно ему можно будет сказать много прекрасного, ежели захочет украшать ее и извне, как дорогую прекрасную картину убирают золотом, камнями и такими украшениями искусства и искусной руки, которые плохую картину своим прибавлением еще больше обнаруживают, а прекрасной, будучи ее ниже, не придают красоты. А я выполню закон похвального слова в том единственно, что упомяну о наших общих родителях (ибо, говоря о таком сокровище, несправедливо будет умолчать о родителях и учителях). Потом немедленно обращу слово к ней самой и не утомлю ожиданием желающих слышать о делах ее.

Кто не знает нового нашего Авраама и наших времен Сарру? Так именую Григория и Нонну, супругу его (ибо полезно — не оставлять в забвении те имена, которые возбуждают к добродетели). Один из них оправдался верой, другая жила в супружестве с верным? Один сверх надежды стал отцом многих народов, другая духовно рождает; один избег служения отечественным богам, другая была дочерью и матерью свободных; один переселился из своего рода и дома для земли обетованной, другая была причиной переселения, и в этом уже одном (осмелюсь так сказать) стала выше самой Сарры; один прекрасно странствовал, другая охотно ему сопутствовала; один прилепился ко Господу, другая почитает и именует мужа своим господином, и частью за то самое оправдана. Им даны обеты, у них, насколько от них самих это зависит, есть свой Исаак и дар. После молитв и под руководством жены своей образовался он — добрый пастырь, и она показала на себе пример доброй пасомой. Он искренно убежал от идолов, и потом сам обращает в бегство демонов; она никогда не вкушала даже и соли вместе с идолослужителями. Супружество их равночестно, согласно и единодушно, и не столько — плотский союз, сколько союз добродетели и единения с Богом; как летами и сединами, так и благоразумием и славой дел, они усердствуют друг перед другом и превышают всякого другого. Они. мало связаны плотью, и духом, еще прежде разлучения с телом, переселены отсюда; не их — этот мир, презираемый; но их — тот мир, предпочитаемый; их обнищание и их обогащение доброй куплей, как презирающих здешнее и искупающих тамошнее. Краток остаток их жизни настоящей, и немногое остается довершить их благочестие; но велика и продолжительна жизнь, в которой они подвизались. Одно еще присовокуплю к сказанному о них: хорошо и справедливо, что они не принадлежали к одному полу; ибо один был украшением мужей, другая жен, и не только украшением, но и образцом добродетели.

От них Горгония получила бытие и славу; отсюда в ней семена благочестия; от них и добрая жизнь ее и мирное отшествие со спасительными надеждами. Конечно, и это уже прекрасно и не всегда бывает уделом тех, которые много хвалятся благородством и гордятся предками. Но если о Горгонии должно рассуждать с большим любомудрием и возвышеннее, то ее отечество — горний Иерусалим, не зримый, но умосозерцаемый град, где и нам предоставлено гражданство, куда и мы поспешаем, где гражданин — Христос, а сограждане — весь торжествующий сонм и Церковь первородных, окрест этого великого Градозиждителя празднующих в созерцании славы и ликующих непрестанным ликованием. А благородство ее — соблюдение образа Божия, уподобление Первообразу, совершаемое умом и добродетелью, и чистое желание, которое непрестанно более и более преобразует нас по Богу в истинных тайнозрителей горнего, знающих — откуда мы, какими и для чего сотворены. Так понимаю я; а потому знаю и говорю, что душа Горгонии одна из благороднейших под солнцем; и мое мерило, мой уровень благородства и худородства лучше, нежели у черни; я различаю это не по крови, но по нравам сужу; о хвалимых или осуждаемых не по родам, но по свойствам каждого.

Теперь слово о ее доблестях; пусть же каждый принесет нечто свое и вспомоществует слову, потому что невозможно объять всего одному, сколько бы ни были обширны его ум и собранные им сведения. Она отличалась целомудрием и превзошла им всех современных ей жен, не говорю уже о тех, которые были уважаемы за целомудрие в древности. И как в жизни возможны два состояния — супружество и непорочность, и одно выше и богоподобнее, но труднее и опаснее, а другое ниже, но безопаснее; она, устранившись невыгод того и другого, избрала и совокупила воедино все, что в обоих лучшего, то есть и высоту непорочности, и безопасность супружества. Она была целомудренной без гордыни, с супружеством совместивши добродетели непорочности и тем показав, что ни непорочность, ни супружество не соединяют и не разделяют нас всецело с Богом или с миром, так, чтобы одно само по себе, напротив, ум должен быть хорошим правителем, и было достойно отвращения, а другое — безусловной похвалы: в супружестве и в непорочности, и из них, как из некоторого вещества, искусно обрабатывать и созидать добродетель. Ибо она не отлучилась от Духа оттого, что сочеталась с плотью, и не забыла о первой Главе оттого, что признала главой мужа, но послужив миру и природе в немногом, и сколько требовал закон плоти или, лучше сказать, Тот, Кто дал такой закон плоти, она всецело посвятила себя Богу. Но что особенно хорошо и достойно в ней уважения, — она и мужа своего склонила на свою сторону, и имела в нем не строптивого господина, но благого сослужителя. Мало этого, сами плод тела, то есть детей и внуков своих, она сделала плодом духа; ибо весь род и все семейство, как единую душу, очистила и приобрела Богу, а благоугоддивостью в супружеской жизни и прекрасными последствиями такого поведения само супружество сделала похвальным. В продолжение жизни она служила для детей образцом всего доброго, а когда отозвана отсюда, — оставила после себя домашним волю свою, как безмолвное наставление. Божественный Соломон в книге детоводственной мудрости, то есть в Притчах (гл. 31), похваляет в жене то, что она сидит дома и любит мужа; и жене, которая блуждает вне дома, невоздержна, бесчестна, наружностью и языком *блудницы уловляет честных* (6*,*2 6), противопоставляет жену, которая усердно занимается домашним, неутомима в делах *женских, руки свои протягивает к прялке, двойные одежды,* приготовляет мужу, благовремение покупает *поле,* хорошо кормит слуг, угощает друзей обильным столом и исполняет все прочее, что Соломон восхвалил в жене целомудренной и трудолюбивой.

Но если бы я стал хвалить за такие качества сестру; то это значило бы хвалить статую по тени, или льва по когтям, оставив без внимания важнейшее и совершеннейшее. Какая из женщин больше ее стоила быть видимой и, однако же. реже показывалась и была недоступнее для мужских взоров? Какая из женщин лучше ее знала меру строгости и веселости в обращении? В ней строгость не казалась угрюмостью и обходительность — вольностью, но в одном было видно благоразумие, в другой — кротость. И это, в соединении ласковости с величавостью, составляло правило благоприличия.

Да внемлют этому те из женщин, которые преданы суетности, рассеянности и не любят покрывала стыда! Какая из женщин так уцеломудрила очи? до того осмеяла смех, что и наклонность к улыбке почитала для себя важным делом? Какая из женщин затворяла крепче слух свой и охотнее отверзала его для слова Божия? Еще более: какая из женщин подчинила так язык владычеству ума, чтобы вещать оправдания Божий, и установила такой строгий порядок устам? Скажу, если угодно, и об этом ее совершенстве, которого она не считала важным, подобно всем истинно целомудренным и благонравным женщинам; хотя и заставили считать это важным женщины слишком пристрастные к украшениям и нарядам и не вразумляемые словом тех, которые учат подобным добродетелям. Ее украшали не золото, отделанное искусной рукой до переизбытка красоты, не златовидные, волосы, блестящие и светящиеся, не кудри, вьющиеся кольцами, не бесчестные ухищрения тех, которые из честной головы делают род шатра, не многоценность пышной и прозрачной одежды, не блеск и приятность драгоценных камней, которые окрашивают собой ближний воздух и озаряют лица, не хитрости и обаяния живописцев, не покупная красота, не рука земного художника, которая действует вопреки Зиждителю и Божие создание покрывает обманчивыми красками и позорит своею честью, вместо образа Божия выставляет напоказ похотливым очам кумир блудницы, чтобы поддельной красотой закрыть естественный лик, хранимый для Бога и будущего века. Напротив, она хотя знала много всякого рода наружных женских украшений, однако же ничего не находила драгоценнее своих нравов и внутри сокровенного велелепия. Один румянец ей нравился — румянец стыдливости, и одна белизна — происходящая от воздержания; а притирания и подкрашивания, искусство делать из себя живую картину, удобно смываемое благообразие она предоставила женщинам, определившим себя для зрелищ и распутий, для которых стыдно и позорно краснеть от стыда.

Так она вела себя в этом отношении! Но нет слова, которое бы могло изобразить ее благоразумие и благочестие, и немного найдется подобных примеров, кроме родителей ее и по телу, и по духу. Их одних имея для себя образцом и нимало не уступая им в добродетели, в том только одном, и притом совершенно охотно, уступала, что от них заимствовала это благо, и их внутренне и перед всеми признавала началом своего просвещения. Что проницательнее было ее разума? К ее советам прибегали не только родственники, единоземцы и соседи, но и все, знавшие ее в окрестности; и ее увещания и наставления почитали для себя ненарушимым законом. Что было замысловатее ее речей, что благоразумнее ее молчания? Но поскольку упомянул я о молчании, то присовокуплю, что и ей всего свойственнее, и женщинам приличнее, и настоящему времени полезнее. Какая из женщин лучше ее знала, что можно знать о Боге, как из Св. Писания, так и по собственному разуму пребывая в собственных пределах благочестия, меньше ее говорила? А что касается того, к чему обязана познавшая истинное благочестие, и в чем одном прекрасно, не знать насыщения, то какая из женщин украшала так храмы приношениями? И другие храмы и этот самый храм, не знаю, требуют ли еще украшений после нее? Особенно же, какая из женщин так созидала себя в живой храм Богу? Какая из женщин столь уважала священников, и особенно своего сподвижника и учителя в благочестии, который имеет добрые семена, —двоих детей, посвященных Богу? Какая из женщин усерднее предлагала собственный дом живущим по Богу и делала им такой прекрасный и богатый прием и, что важнее этого, принимала их с таким почтением и благоговением? Кроме того, какая из женщин обнаружила столь бесстрастный ум во время злостраданий и столь сострадательное сердце к бедствующим? Чья рука была щедрее для нуждающихся? И я смело обращу в похвалу ей слова Иова: *дверь ее всякому прохожему была открыта, и странник не ночевал на улице* (Иов*.* 31,32); она была *глазами слепому, ногами хромому* (Иов.29,15) и матерью сиротам. О милосердии же ее к вдовам нужно ли говорить, разве сказать то, что плодом этого было — не именоваться вдовой? Дом ее был общим пристанищем для бедных родственников, а имуществом ее пользовались все нуждавшиеся, как своей собственностью*. Расточи, раздай нищим* (Пс. 111,9). И по непреложному и нелживому обетованию, она многое вложила в небесные житницы, много раз и в лице многих, получивших от нее благодеяния, принимала Христа. Но всего лучше то, что она не старалась заставить о себе думать выше надлежащего, а прекрасно возделывала благочестие втайне, перед Видящим тайное. И все похитила у миродержца, все перенесла в безопасные хранилища, ничего не оставила земле, кроме тела. Все променяла на надежды в будущем; одно богатство оставила детям — подражание и ревность к тем же добродетелям.

Таково и столь невероятно было ее великодушие! Однако же в уповании на свою благотворительность она не предала тела своего роскоши и необузданному сластолюбию, этому злому и терзающему псу; как случается со многими, которые милосердием к бедным думают купить себе право на роскошную жизнь и не врачуют зла добром, но вместо добра приобретают худое. О ней нельзя сказать, что, хотя порабощала в себе плотское постами, однако же другому предоставляла лечение, простираясь на земле; или, хотя находила в этом пособие для души, однако же менее кого-либо другого ограничивала меру сна; или, хотя и в этом дала себе закон, как бесплотная, однако же восклонялась на землю, когда другие проводили всю ночь в прямом положении (какой подвиг приличен преимущественно любомудрым мужам); или, хотя и в семь оказалась мужественнее не только жен, но и самых доблестных мужей; однако же что касается мудрого возглашения псалмопений, чтения и изъяснения Божия слова, благовременного припамятования, преклонения изможденных и как бы приросших к земле колен, слезного очищения душевной скверны в сердце сокрушенном и духе смиренном, молитвы горе возносимой, нерассеянности и парения ума, то мог бы кто-либо из мужей или жен похвалиться превосходством перед ней во всем этом или в чем-либо одном. Напротив, как ни высоко это, однако же справедливо может быть сказано о ней, что в ином совершенстве она соревновалась, а в другом сама была предметом соревнования, одно изобрела, а другое восхитила силой, и если имела подражателей в каком-либо одном, то всех превзошла тем, что в одной себе совместила все совершенства. Она столько преуспела во всех, сколько никто другой не успел и в одном, даже посредственно. Она довела каждое совершенство до такой высоты, что вместо всех достаточно было бы и одного. Какое пренебрежение к телу и одежде, цветущим единой добродетелью! Какая сила души, почти без пищи поддерживающей тело, как невещественное! Или лучше сказать, сколько терпения в теле, еще до разлучения с душой уже умерщвленном, чтобы душа получила свободу и не стеснялась чувствами! Сколько ночей, проведенных без сна, псалмопений и стояний, продолжавшихся от одного дня до другого! Твои песни, Давид, непродолжительны только для душ верующих! Где нежность членов, распростираемых по земле и вопреки природе огрубевших? Какие источники слез, посеваемых в скорби, чтобы пожать радость! Ночной вопль, проникающий облака и достигающий неба! Горячность духа, который в вожделении молитвы не страшится ни ночных псов, ни морозов, ни дождей, ни громов, ни града, ни мрака! Естество жены, победившее в общем подвиге спасения естество мужей и показавшее, что жена отлична от мужа не по душе, а только по телу! Чистота, как вскоре по крещении, и душа уневещенная Христу в чистом брачном чертоге — теле! И горькое вкушение, и Ева — матерь человеческого рода и греха, и змий-соблазнитель, и смерть — побеждены ее воздержанием! И истощение Христово, и образ раба, и страдание — почтены ее самоумерщвлением! Как мне, или исчислить все ее добродетели, или, умолчав о большем их числе, лишить пользы их, кому они неизвестны.

Но время уже продолжить слово и о наградах за благочестие. Ибо кажется мне, что вы, хорошо знающие о ее добродетелях, давно желаете и надеетесь услышать в слове моем не о настоящих только наградах, не о тех, какими увеселяется она теперь там и которые выше человеческого разумения, недоступны ни слуху, ни зрению, но и о тех, которыми Праведный Мздовоздаятель награждал еще здесь: ибо Он и это нередко творит в назидание неверным, уверяя через малое в великом, и через видимое в невидимом. Буду же говорить и о том, что всем известно, и о том, что для многих тайна; ибо она, по своему любомудрию, не хвалилась благодатными дарами.

Вам известно, как однажды взбесились мулы и понеслись с колесницей, как ужасно была она опрокинута, жалким образом влачима и разбита, как вследствие этого неверующие соблазнялись тем, что и праведники предаются таким несчастьям, и как скоро вразумлено было неверие. У Горгонии были сокрушены и повреждены все кости и члены, и сокрытые и открытые; но она не захотела иметь другого врача, кроме Предавшего ее бедствию, как потому, что стыдилась взора и прикосновения мужчин (ибо и в страданиях сохраняла благопристойность), так и потому, что искала защиты единственно у Того, Кто попустил ей претерпеть такое страдание. И действительно от Него, а не от другого кого получила она спасение. Поэтому некоторые не столько поражены были ее болезнью, насколько изумлены чудесным выздоровлением и заключали из этого, что такое печальное происшествие для того и случилось, чтобы ей прославиться в страданиях. Хотя она страдала как человек, однако же исцелена силой высшей, а не человеческой, и для потомства оставила сказание, которым доказываются, как ее мера в страданиях и терпение в бедствиях, так еще более Божие человеколюбие к подобным ей. Ибо к сказанному о праведнике: *когда падет, не разобьется* (Пс. 36, 24), как бы присовокуплено теперь еще и это, хотя разобьется, однако же вскоре будет восставлен и прославлен. Если страдание ее было выше вероятия, то выше также вероятия и возвращение к здравию; так что болезнь почти совершенно закрыта выздоровлением, и исцеление стало очевиднее нанесенного ей удара. Такое бедствие вполне достойно хвалы и удивления! Такая болезнь выше здравия! И слова: *уязвит, и уврачует, и исцелит,* и после трех дней воскресит (Осии б, 2.3), указывающие, как и событие показало, на нечто высшее и таинственнейшее, не менее приличны и ее страданиям!

Но это чудо известно всем, даже и дальним, слух о нем распространился повсюду; везде рассказывают и слышат об этом, равно как и о других Божиих чудесах и силах. О том же, что до сих пор еще неизвестно многим и что, как сказал я, скрыто ее любомудрием и благочестием, чуждым тщеславию и превозношению, повелишь ли мне сказать ты, превосходнейший и совершеннейший из Пастырей, пастырь этой священной овцы? Дашь ли и на это свое соизволение (ибо одним нам вверена тайна, и только мы с тобой свидетели чуда)? Или будешь еще сохранять слово, данное усопшей? Но по моему мнению, как тогда было время молчать, так теперь время поведать, не только во славу Божию, но и в утешение скорбящим.

Горгония одержима была телесным недугом и тяжко страдала; болезнь была необыкновенная и странная: делалось внезапное воспаление во всем теле, и как будто волнение и кипение в крови; потом кровь стыла и цепенела, в теле появлялась невероятная бледность, ум и члены ослабевали, и все это повторялось не через продолжительное время, но иногда почти непрестанно. Болезнь казалась не человеческой; не помогали ни искусство врачей, как ни внимательно вникали они в свойство припадков, каждый отдельно, и все в совокупных совещаниях, — ни слезы родителей, как ни сильны бывали они часто во многом, — ни общественные молитвы, прошения, совершаемые целым народом с таким усердием, как будто бы каждый молился о собственном своем спасении; и действительно, ее спасение было спасением для всех, равно как ее злострадания в болезни — общим страданием. Что же предпринимает эта великая и высоких наград достойная душа? Какое изобретает лечение болезни? Ибо в этом заключается уже тайна. Отвергнув все другие способы, она прибегает ко Врачу всех, и воспользовавшись темнотой ночи, когда болезнь ее несколько облегчилась, припадает с верой к жертвеннику, громогласно взывая к Чествуемому на нем, нарицая Его всеми именами и вспоминая обо всех когда-либо бывших чудесах Его (как знавшая и ветхозаветные и новозаветные сказания). Наконец отваживается на некоторое благочестивое и прекрасное дерзновение, подражает жене, иссушившей ток крови прикосновением к краю риз Христовых; и что делает. Приложивши к жертвеннику главу свою с таким же воплем и столь же обильными слезами, как издревле омывшая ноги Христовы, дает обет не отойти, пока не получит здоровья; потом, помазавши все тело этим лекарством своего изобретения, что могла рука собрать со всего образа честного Тела и Крови, смешавши то со своими слезами, (какое чудо!) немедленно отходит, ощутив в себе исцеление, получив облегчение в теле, сердце и уме, приняв в награду за упование исполнение упования, и крепостью духа приобретши крепость телесную. Велико это подлинно, однако же не ложно; да верит этому всякий, и здравый и болящий, один для сохранения, другой для получения здоровья! А что мое повествование — не хвастовство, это видно из того, что я, молчавший при жизни ее, открыл теперь; и будьте уверены, даже и ныне не объявил бы, если бы не запрещал мне страх скрывать такое чудо от верных и неверных, от современников и потомков.

Такова была жизнь ее! Но гораздо большую часть обошел я молчанием для соразмерности слова и из опасения показаться не знающим меры в похвалах ей. Но конечно, я не оказал бы должного уважения ее святой и славной кончине, если бы не упомянул о прекрасных обстоятельствах ее, тем более, что Горгония с таким желанием и нетерпением ожидала себе смерти. Упомяну же об этом, как можно короче. Она сильно желала разрешиться (ибо много имела дерзновения к Зовущему) и быть с Христом предпочитала всему на земле. И никто, при всей страсти и необузданности, не любит так своей плоти, как она, свергнув с себя все узы и став выше этого бренного, в котором проводим жизнь, желала вполне соединиться с Вожделенным и всецело восприять Возлюбленного (присовокуплю еще) и Возлюбившего ее, Который ныне озаряет нас немногими лучами Своего света, чтобы только могли мы понимать, с Кем разлучены. Не тщетным остается ее желание, столь божественное и высокое, но что еще более, она предвкушает желаемое благо в предведении после продолжительного бдения, вознагражденного одним из самых приятных снов и видением, в котором, по устроению Божию, предназначен ей срок и даже открыт сам день отшествия, чтобы она *уготовилась и не смутилась* (Пс. 118,60). Итак, для нее готова была благодать очищения и освящения, которую все мы получили от Бога, как общий дар и основание новой жизни; или лучше сказать, вся жизнь была для нее очищением и освящением. И хотя дар возрождения прияла она от Духа, но безопасное соблюдение этого дара было приуготовано прежней жизнью. Дерзну даже сказать, что само Таинство было для нее не новым дарованием, а только печатью. Ко всему этому старалась она присовокупить еще освящение своего мужа. (Хотите ли, чтобы я изобразил его вам кратко? Это был муж Горгонии, и не знаю, нужно ли что говорить о нем кроме этого.) Она заботилась, чтобы целое тело посвящено было Богу, и чтобы не переселиться ей отсюда, когда совершенна одна только половина ее самой, а некоторая часть остается еще несовершенной. И это моление ее не оставлено без исполнения Творящим волю боящихся Его и Приводящим к концу прошения их. А когда же все устроилось по ее намерению, ни одно из желаний не оставалось без исполнения, и назначенный день приближался; тогда она начинает готовиться к смерти и отшествию и в исполнение общего для этого устава возлегает на одр. Потом, передавши последнюю волю свою мужу, детям и друзьям, как прилично было жене, приверженной к мужу, чадолюбивой и братолюбивой, после любомудренной беседы о будущей жизни, и день своей кончины сделавши днем торжества, она засыпает, хотя не исполнив дней человеческого века, чего и не желала, зная, что продолжительная жизнь бесполезна для нее самой, и большей частью бывает предана праху и заблуждению, но столько преисполненная дней по Богу, сколько, не знаю, бывает ли кто исполнен из умирающих в глубокой старости и совершивших на земли многие годы. Так она разрешается, или, лучше сказать, вземлется, отлетает, переселяется и немногим предваряет тело.

Но какое важное едва не ускользнуло от меня обстоятельство! Разве не допустил бы до этого ты, духовный отец ее, который внимательно наблюдал и нам поведал чудо, так много и ее прославляющее, и для нас служащее напоминанием ее добродетели и побуждением желать такой же кончины. И меня при воспоминании об этом чуде объемлет какой-то ужас и заставляет проливать слезы. Она уже кончилась и была при последнем дыхании; стояли вокруг нее домашние и посторонние, пришедшие воздать последнее целование; престарелая мать воздыхала и терзалась душой (ибо желала бы предварить ее отшествием), общая любовь смешивалась со скорбью, одни желали бы что-нибудь услышать на память о ней, другие — сами сказать; но никто не смел произнести слова; безмолвны были слезы, и скорбь неутешна; непозволительным казалось — сопровождать рыданиями отходящую с миром; глубокая соблюдалась тишина, и смерть имела вид какого-то священного торжества. А она, по-видимому, была бездыханна, недвижима, безгласна, ее молчание заставляло думать, что тело оцепенело, и органы гласа уже омертвели, по причине удаления того, что приводило их в движение. Но Пастырь, тщательно наблюдавши в ней все перемены, потому что все с нею происходившее было чудесно, приметив легкое движение губ, приложил ухо к устам, на что давали ему право близость и единодушие. Но лучше бы тебе самому поведать тайну безмолвия, в чем она состояла. Никто не отрекся бы верить сказанному тобой. Ею были произносимы псалмопения, именно слова исходного псалма, и (если нужно выговорить истину) свидетельствовали о дерзновении, с каковым кончалась Горгония. Блажен, кто упокоивается с этими словами: *в мире спокойно усну и почию* (Пс. 4,9). Это и воспевала ты, это и исполнилось на тебе, совершеннейшая из жен; это было и псалмопение и надгробие по отшествии тебе, прекрасно умиренная по мятеже страстей, и в общую череду успения вкусившая сон, даруемый возлюбленным Божиим, как прилично было той, которая и жила и отошла со словами благочестия.

Поэтому я уверен, что гораздо лучше и превосходнее видимого твое настоящее состояние — глас празднующих, веселье Ангелов, небесный чин, видение славы, а больше всего, чистейшее и совершеннейшее сияние Всевышней Троицы, уже не скрывающейся от ума, как связанного и рассеиваемого чувствами, но всецело целым умом созерцаемой и приемлемой, и озаряющей наши души полным светом Божества. Ты наслаждаешься всеми теми благами, которых потоки достигали тебя еще и на земле, за искреннее твое к ним стремление. Если же для тебя сколько-нибудь спасительно и наше прославление, если святым душам дается от Бога в награду и то, чтобы чувствовать подобные прославления, то прими и мое слово, вместо многих и больше многих погребальных почестей, слово, какое прежде тебя воздал я Кесарию, а после него воздаю и тебе, ибо для того и соблюден я на земле, чтобы надгробными речами сопровождать братии. Почтит ли кто после вас и меня подобной честью, — не могу того сказать, но желал бы сподобиться единой чести — чести в Боге и пришествуя и вселяясь во Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава, и Отцу со Святым Духом вовеки. Аминь.

   



# СЛОВО 9. Защитительное, говоренное им отцу своему Григорию в присутствии Василия Великого после рукоположения Св. Григория Богослова в епископа Сасимского

Снова на мне помазание и Дух, и опять хожу *плача и сетуя* (Пс. 34, 14). Вы, может быть, дивитесь этому, но и Исаия, пока не видит славы Господней и престола высокого и превознесенного и серафимов вокруг него, не говорит ничего подобного, не показывает ни огорчения, ни страха; и хотя обвиняет Израиля, но себя щадит и отделяет как ни в чем невиновного. Когда же увидел это и услышал святой и таинственный глас, — как бы начиная лучше сознавать себя, говорит: о *горе мне, ибо я человек с нечистыми устами* (Ис. 6, 5), и присовокупляет последующие за этим слова, которых не скажу, чтобы не произнести чего оскорбительного. Нахожу также о Маное, древнем Судии, а потом и о Петре, столпе Церкви, что один, когда узнал, насколько бывшее ему видение превышает его природу и силы, говорит жене: мы погибли, ибо видели Бога; другой же не выносит Спасителева присутствия и чудодействия, которое явил Господь плывшим с Ним при ловле рыбы, и потому, хотя приходит в удивление, однако же отсылает с корабля, присовокупляя и причину ту, что сам он недостоин Божия явления и собеседования. И когда слышу в Евангелии о сотнике, который просит Христа показать силу, но отрекается видеть Его у себя, потому что кров его не может вместить Божия достоинства и величия; тогда не могу порицать себя за страх и сетование Ибо как солнце обличает слабость глаза, так Бог пришествием Своим — немощь души; и для одних Он — свет, а для других — огонь, смотря по тому, какое вещество и какого качества встречает в каждом. Как думать и о Сауле? И он был помазан, принял Духа, сам стал духовен (не могу и сказать о нем иначе), даже пророчествовал, притом так неожиданно и необыкновенно, что чудо это обратилось в пословицу и доныне повторяемую: *неужели и Саул во пророках* (1 Цар. 10,11). Поскольку же он не всецело предал себя Духу и не совершенно обратился *в человека иного,* как было предречено (1 Цар. 10, 6), но оставалась в нем некоторая искра прежнего зла, и несколько худого семени, еще продолжалась борьба плоти и духа... но к чему выставлять на позор все его недостатки? Вам известен этот сопротивный дух, и певец, который отгоняет его. Разве можем из этого познать еще то, что, как благодать не касается людей недостойных и органа худого и ненастроенного (ведь прекрасно сказано, в чем я уверен, *как в лукавую душу не войдет премудрость* (Прем. Сол. 1, 4), так (присовокуплю это от себя), по причине непостоянства и переменчивости устройства и природы человека, не менее трудное для него дело сохранить в себе достоинство и стройность, как и вначале благоустроить себя и сделаться достойным). Но нередко сама благодать (наименую такое зло, которое в нас всего бедственнее и непонятнее), приводя в кипение и надмевая, удаляла от Бога приближавшихся к Нему неправо; и мы в самом уже возношении бываем низлагаемы, *грех оказывается грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть* (Римл. 7,13). Этого-то убоявшись, исполнился я горести, потупил взоры и испытал нечто подобное тому, что бывает при блеске молнии с детьми, в которых зрелище это производит удовольствие, смешанное с ужасом. Я вместе возлюбил и устрашился Духа; нужно стало некоторое временя, чтобы мне, собравшись с самим собой, отрезвиться и избрать лучшее и безопаснейшее и чтобы, когда не будет скорби, как плевел в семени, и худые мысли уступят место лучшим, — совершенно победил Дух и употребил меня на Свое служение и делание, к совершению людей этих, к управлению душами, к обучению словом, делом и примером, *с оружием правды в правой и левой руке* (2 Кор. 6,7), к благоискусному прохождению пастырства, которое отвлекает от мира, приходит к Богу, истощает тело, соединяет с Духом, избегает тьмы, радуется о свете, отгоняет зверей, собирает стадо в ограду, остерегается стремнин и пустынь и гонит на горы и высоты, о которых, по моему мнению, говорит и чудный Михей, возводя нас от земли на приличную нам высоту: *приблизьтесь к горам вечным — встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя* (Мих. 2,10), хотя некоторые и думают найти себе покой в земном и дольнем.

Такому пастырству научите меня, друзья, а теперь уже Пастыри и сопастыри мои; такого пастырства дайте мне уставы, — и ты, общий отец, в продолжение времени поставивший и переживший многих Пастырей, и ты, испытатель и судья моего любомудрия! Но застигнутые и оглушаемые бурей, можем ли мы искусно пасти и питать стадо? Равнодушно выслушай меня, ты, который, будучи в числе овец, когда мы с тобой (не оскорбись моим словом) принадлежали еще к бессловесному стаду, поступал гораздо человеколюбивее, нежели как поступаешь, став пастырем, когда мы удостоены духовной пажити. В твоей стал я власти, как тебе хотелось, и ты победил непобедимого. Вот тебе сверх прочего и слово, которого ты, зная, домогался и которое хваля осыпал меня, коснеющего в безмолвии, частыми и густыми снегами слов твоих. Но есть нечто, за что могу укорить тебя в дружбе. Кто из общих друзей рассудит меня, кто будет неподкупным судьей и произнесет правдивый приговор, не станет, как поступают многие, уважать лица на суде? Прикажешь ли сказать, в чем укоряю, и не обратишь ли опять против меня слова своего? И у тебя, дивный муж, произошло со мной нечто неизъяснимое, подлинно неизъяснимое и невероятное, чего до сих пор у нас не слыхано. Я уступил не убеждению, но принуждению. И не чудно ли! как все переменилось, какое положено между нами расстояние! Чем? (Как угодно тебе, так и скажу) — престолом или величием благодати?

Впрочем веди, *поспеши и царствуй* (Пс. 44,5), и паси меня, пастыря, потому что я готов следовать за тобой и быть водим твоей пастырской, высокой и божественной душой. (Ибо надобно сказать истину, хотя из любви дерзнул я на твое и сверх закона.) Научи меня своей любви к пастве, своей заботливости и вместе благоразумию, внимательности, неусыпности, покорности плоти твоей, с какой она уступила духу, этому цвету лица, свидетельствующему о пастырских трудах, при кротости — строгому обращению, при производстве дел — веселости и спокойствию (чего не во многих найдешь, и чему немного бывало примеров), своим ратованиям за паству и победам, которые одержал ты во Христе. Скажи, на какие пажити водить стадо, к каким ходить источникам или каких избегать пажитей и воды, кого пасти палицей и кого пасти свирелью; когда выводить на пастбища и когда сзывать с пастбищ; как вести брань с волками и как не вести брани с пастырями, особенно в нынешнее время, когда (выражу скорбь словами святейших пророков) *пастыри сделались бессмысленными* (Иер. 10,21), *и разгоняют овец паствы* (Иер. 23,1); как изнемогшее поднять, падшее восставить, заблуждающее обратить, погибшее взыскать и крепкое сохранить; как мне научиться этому и соблюсти это согласно с истинным и вашим учением о долге Пастыря, а не стать худым пастырем, который *молоко ест, волною одевается, тучное заколает или продает,* а прочее оставляет зверям и стремнинам, и самого себя пасет, а не овец, в чем укоряемы были древние предстоятели Израиля (Иезек. 34,3.4). Этому научите, этими правилами подкрепите меня, по этим заповедям будьте Пастырями и сопастырями и спасите как учением, так и молитвами меня и мою священную паству, чтобы и мне устоять, и вам похвалиться в день явления и откровения великого Бога и Пастыреначальника нашего, Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу Вседержителю со Святым и Животворящим Духом и ныне, и во веки веков. Аминь.

   



# СЛОВО 10. Защитительное, говоренное им отцу своему и Василию Великому по возвращении Св. Григория Богослова из уединения

Нет ничего сильнее старости и достоуважаемее дружества. Ими приведен к вам я — узник во Христе, связанный не железными веригами, но неразрешимыми узами Духа. До сих пор почитал я себя крепким и непреодолимым и (какое неразумие!) не уделял слов моих даже этим друзьям моим и братьям, но все предоставив, кому это угодно, желал жить в покое, любомудрствовать в безмолвии, беседуя с самим собой и с Духом. Представлял в уме Кармил Илиин, пустыню Иоаннову и премирную жизнь любомудрствующих, как Илия и Иоанн; настоящее уподоблял буре и искал себе какой-нибудь скалы, или утеса, или стены, где бы укрыться. Рассуждал сам с собой: пусть для других будут почести и труды, для других брани и отличия за победы, а для меня, избегающего браней и углубляющегося в самого себя, довольно жить, как могу, как бы на легком судне переплыть небольшое море, и скудостью здешней жизни приобрести себе малую обитель в жизни будущей. Может быть, больше низости, но зато и больше осторожности, показывает мысль — равно избегать и высоты и падения. Так размышлял я, пока можно еще было писать тени и сновидения и питать ум пустыми вымыслами. Что же теперь? Превозмогло меня дружество, покорила седина отца — старость мудрости, предел жизни, безопаснейшее пристанище, и дружба того, который сам богатеет для Бога, и других обогащает. Отлагаю уже гнев, *да услышат кроткие и возвеселятся* (Пс. 33, 3)! Спокойно смотрю на руку, сделавшую мне насилие, с радостным взором обращаюсь к Духу; сердце мое не мятется, рассудок возвращается; дружба, подобно потушенному и угасшему пламени, опять оживает и возгорается от малой искры.

*Отказывается от утешения душа моя* (Пс. *76, У), и уныл во мне дух мой* (Пс. 142,4). Я говорил: впредь не буду верить дружеству, и для чего мне надеяться на человека? Ибо *всякий человек льстивно* ходит, и *всякий брат ставит преткновение ближнему своему* (Иер. 9, 4). Все мы из одной персти, из одного смешения, вкусили от одного и того же древа зла, но один ту, другой другую носим благообразнейщую личину. И какая мне польза, рассуждал я, от этой ревностной и прославляемой дружбы, которая началась с мира и перешла в дух? Какая польза из того, что у нас были один кров и одна трапеза, общие наставники и уроки? Что пользы из этого, более нежели братского, слияния сердец, и впоследствии — искреннего единодушия? Ужели мне не позволят и того, чтобы остаться внизу, во время владычества и возвышения друга, когда многие домогаются и достигают противного, то есть того, чтобы вместе с друзьями владычествовать и участвовать в их благоденствии? Но для чего мне пересказывать все, что придумывали печаль и уныние, которое называю омрачением ума? Но таковы действительно, и даже еще хуже, были мои рассуждения. Обвиню сам себя за свое высокоумие или безумие.

Но теперь изменяю свои мысли, и сам изменяюсь, что гораздо справедливее прежнего, а для меня приличнее. Искренность же моей перемены можешь видеть, дивный муж, не только из того, что разрешено тобой мое молчание, на которое ты жаловался и в котором много укорял меня, но также из того, что сами слова мои служат тебе защитниками. Это явный знак нашей дружбы и живущего в нас духа. Но в чем же состоит оправдание твое? (Если погрешу в чем-либо, —сам поправь меня, как имеешь обычай делать в других случаях.) Ты не потерпел, чтобы дружество предпочтено было Духу; и если я для тебя дороже, может быть, всякого другого, то Дух несравненно для тебя предпочтительнее, нежели я. Ты не потерпел, чтобы талант оставался скрытым и закопанным в землю; не потерпел, чтобы долго скрывался под спудом светильник, ибо так ты думаешь о моем свете и моем делании; ты домогался, чтобы к тебе — Павлу присоединен был Варнава, домогался, чтобы к Силуану и Тимофею присовокуплен был и Тит, и чтобы тебе через тех, которые искренно о тебе заботятся, распространять благодать Божию: от *Иерусалима и окрестности до Иллирика распространять благовествование* (Рим. 15, 19). Для этого-то и меня изводишь в среду, и когда желал бы я уклониться, — берешь и сажаешь подле себя (в этом-то, может быть, скажешь ты, состоит мое оскорбление), и делаешь сообщником забот и венцов; для этого помазуешь меня в первосвященника, облекаешь в подир, возлагаешь на меня кидар, приводишь к жертвеннику духовного всесожжения, приносишь в жертву тельца освящения, освящаешь руки Духу, вводишь меня для тайнозрения во святая святых и делаешь служителем *скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек* (Евр. 8,2). Но достоин ли я и помазующих, и Того, для Которого и перед Которым совершается помазание, — об этом знает Отец истинного и подлинного Помазанника, Которого помазал Он *елеем радости более соучастников Его* (Пс. 44,8), помазав человечество Божеством, да сотворит обоих едино; знает и сам Бог и Господь наш Иисус Христос, через Которого получили мы примирение; знает и Дух Святый, поставивший нас на это служение, в котором стоим *и хвалимся надеждою славы* (Рим. 5,2) Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.

   



# СЛОВО 11. Говоренное брату Василия Великого, святому Григорию, епископу Нисскому, когда он пришел к св. Григорию Богослову по рукоположении его в сан епископа

Друга верного нельзя ничем заменить, *и нет меры доброте его. Верный друг — крепкая защита* (Сир. 6, 14 и 15) и огражденное царство (Прит. 18,19); друг верный — сокровище одушевленное. Друг верный дороже золота и множества драгоценных камней. Друг верный —*запертый сад, запечатанный источник* (Песн. 4,12), которые временно открывают и которыми временно пользуются. Друг верный — пристанище для упокоения. А ежели он отличается благоразумием, то это еще драгоценнее! Ежели он высок ученостью, ученостью всеобъемлющей, какой должна быть и была некогда наша ученость, то это еще преимущественнее? А ежели он и *сын света* (Иоан. 12, 36), или *человек Божий* (1 Тим. 6,11), или *приближающийся к Богу* (Исх. 19,22), или *муж* лучших *желаний* (Дан. 9,22), или достойный одного из подобных наименований, какими Писание отличает мужей божественных, высоких и принадлежащих горнему, то это уже дар Божий и, очевидно, выше нашего достоинства. А ежели и приходит он к нам от друга, и притом равночестного и добродетелью, и дружеством с нами, то это еще приятнее и сладостнее, и благоуханнее мира, украшающего *бороду* иерея *и края одежды* (Пс. 132,2).

Довольно ли этого? И точно ли изобразило вам слово мужа этого? Или надобно, подражая прилежным живописцам, не один раз набросать краски, чтобы представить вам в слове совершенное его изображение? Итак, опишем его вам полнее и явственнее. Кто всех знаменитее из законодателей? — Моисей. Кто всех святее из священников? — Аарон. Оба братья не менее по благочестию, как и по плоти. Или лучше сказать, один — *бог фараону* (Исх. 7, 1), ходатай и законодатель Израиля, входящий внутрь облака, созерцатель Божественных тайн и тайноводитель, строитель истинной скинии, *которую возвел Господь, а не человек* (Евр. 8, 2); оба же равно иереи, как сказано: *Моисей и Аарон между священниками Его* (Пс. 98,6). Один — князь князей, иерей иереев, употребляет Аарона, где только нужен язык, и сам служит *ему вместо Бога* (Исх. 4,16). А другой немного ниже первого, но много превосходит других достоинством и близостью к Богу. Оба поражают казнями Египет, рассекают море, переводят через него Израиля, потопляют врагов, низводят хлеб свыше, то дают, то услаждают, сверх упования, воду в пустыне. Оба низлагают Амалика святым воздеянием рук и преобразованием высшего таинства. Оба ведут и поспешают в землю обетованную. Не знакомое ли что для вас в этом образе? Живописующее слово не ясно ли изобразило вам со мной одноименного и единодушного мужа? Один из них меня помазал и укрывавшегося извел на среду. Не знаю, что его побудило и чем он увлекся, поступив недостойно живущего в нем Духа. (Как ни жестоко слово это, однако же скажу, потому что дружество переносит все, что ни терпит и ни слышит). Другой приходит утешить меня и примирить с Духом. И теперь для меня дорого его пришествие (да и как не дорожить им тому, кто предпочитал вас всей своей жизни?), однако же укоряю его за то, что пришел позже, чем требовала нужда.

К чему помощь после нашествия и поражения, наилучший из друзей и помощников? К чему кормчий после бури и лекарство по заживлении раны? Устыдился ли ты причиняемого нам насилия, как братолюбивый или и сам, как имеющий власть, вознегодовал на непослушание? Которого из братьев обвиняешь и которого освобождаешь от укоризны? Скажу тебе словами Иова (и он сетовал на друга, хотя не на такого и не в таких страданиях): *как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому и как во всей полноте объяснил дело* (Иов. 26,2)? А это, как вижу, бывает ныне со многими судьями, которые легче простят самую важную вину людям значительным, нежели малость — незначительным. Хотя же ты и сам, может быть, видишь это (мне, который ставит тебя в образец и правило совершенства, и вместе имеет повеление не быть скорым на суд (Матф. 7,1), непозволительно и произнести о тебе что-либо недоброе), однако же и тебе, и всякому желающему готов я по дружбе дать отчет в моей или непокорности, как назовут, может быть, некоторые, или предусмотрительности и осторожности, как сам себя уверяю; дабы ты видел, что имеешь друга, который — не вовсе безрассуден и невежда, но может иное рассмотреть лучше многих, — смел в том, что достойно смелости, и боязлив, где есть место страху, и где не бояться — всего страшнее для имеющего ум. Как же рассудите и что признаете лучшим? Прикажете ли теперь дать вам отчет или найдете это неприличным времени, ибо собрались мы праздновать, а не судиться; или велите отложить дело до другого времени и собрания, ибо потребно слово продолжительнее того, какое дозволяет настоящий день.

Что же изреку вам достойное этого торжества, чтобы и мне самому не отпустить вас голодными, тогда как я распорядитель пира? Очистим себя, братия, ради мучеников, вернее же сказать, ради Того, для Которого и они очистили себя кровью и истиной; освободим себя *от всякой скверны плоти и духа* (2 Кор. 7,1), омоемся, *очистимся* (Ис. 1,16) и сами представим *тела наши* и души в *жертву живую, святую, благоугодную Богу,* это наше *словесное служение* и молитву (Рим. 12, 1). Ибо для чистого ничто так не драгоценно, как чистота и очищение. Будем подвизаться ради подвижников, побеждать ради победивших, свидетельствовать истину ради свидетелей. Принесем это в дар их подвигам, дабы и нам самим сделаться увенчанными и наследниками той же славы, как нами им воздаваемой, так и соблюдаемой на небесах, о которой напоминает и которую в малых чертах изображает видимое здесь. Будем подвизаться против начал и властей, против невидимых гонителей и мучителей, против миродержителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных и близнебесных, против внутренней борьбы в нас самих, в наших страстях, против тварей ежедневно извне искушающих. Вооружимся терпением против раздражительности, как зверя, против языка, как острого меча, и погасим сластолюбие, как огонь. Приставим к слуху двери, которые бы благовременно отворялись и затворялись, и уцеломудрим око, не дадим осязанию приводить нас в бешенство, вкусу — терзать, да *не войдет смерть в окна наши* (Иер. 9, 27) (как, по моему рассуждению, названы чувства), и осмеем неумеренность смеха, не преклоним колен перед Ваалом по причине скудости, не поклонимся золотому образу из страха, будем страшиться, чтобы не убояться чего-либо более, нежели Бога, и чтобы не поругать образа Его грехом. Во всем воспримем щит веры и избежим всех стрел лукавого.  
     Страшна эта брань, велико ополчение, и победа велика! Если для этого мы собрались или сходимся, то подлинно угодно Христу наше празднество, действительно почтили или почтим Мучеников, истинно победные составляем лики. Если же имеем в виду угодить прихотям чрева, предаться временным забавам, внести сюда удобоистощимое, думаем найти здесь место для пьянства, а не для целомудрия, и время для купли и дел житейских, а не для восхождения и (осмелюсь так сказать) обожения, к которому служат нам посредниками Мученики, то, во-первых, не знаю, благовременно ли это. Ибо какое сравнение соломы с пшеницею, плотских забав с подвигами Мучеников? Первые приличны зрелищам, а последние — моим собраниям. Первые свойственны развратным, а последние целомудренным; первые — плотоугодникам, последние — отрешившимся от тела. А потом хотел бы я сказать нечто более смелое, но удерживаюсь от злоречия из уважения ко дню; по крайней мере скажу (это будет гораздо скромнее), что не этого требуют от нас Мученики.

Итак, братия, не будем святого совершать нечисто, высокого — низко, честного — бесчестно, и, кратко сказать, духовного - по-земному. Торжествует и иудей, но по букве; празднует и эллин, но в угождение демонам, а у нас, как все духовно: действие, движение, желание, слова, даже походка и одеяние, даже мановение, потому что ум на все простирается и во всем образует человека по Богу; так духовно и торжествование и веселье.

Не запрещаю давать себе и прохладу, но пресекаю всякую неумеренность. Если же мы духовно собираемся и празднуем память Мучеников, то желая много сказать, чтобы мы сами получили за это одинаковые с ними награды и наследовали туже славу (ибо, как думаю, для очищенных кровью и подражающих жертве Христовой святых мучеников соблюдается то, чего око не видало, ухо не слыхало, и не воображал ум человеческий, свободно созидающий в себе представление о блаженстве), по крайней мере (что, как я утверждаю, также не маловажно), увидим светлость святых мучеников, внидем в радость того же Господа и, насколько знаю, яснее и чище просветимся светом блаженной, начальной Троицы, в Которую мы уверовали, Которой служим и Которую исповедуем перед Богом и людьми, нимало не страшась и не стыдясь ни внешних врагов, ни встречающихся между нами лжехристиан и противников Духа. И, о если бы нам до последнего издыхания с великим дерзновением соблюсти этот прекрасный залог святых Отцов, живших ближе к Христу и к первоначальной вере, — это исповедание, в котором с детства мы воспитаны, которое прежде всего научились произносить, и с ним, наконец, переселиться из этой жизни, взяв с собой отсюда не другое что, как одно благочестие! Бог же мира, Крестом примиривший с Собой нас, сделавшихся Его врагами через грех, благовествовавший *мир* *и близким, и дальним* (Ефес. 2,17), находящимся под законом и вне закона, Отец любви и Любовь (ибо этими преимущественно именами угодно Ему называться, чтобы самими именами предписывать нам братолюбие), давши *новую заповедь —* настолько любить друг друга, насколько мы сами Им возлюблены (Иоан. 13,34), позволяющий делать доброе насилие и терпеть его по страху, благоразумно уступать и иметь также дерзновение с разумом, усовершающий великие паствы и малые увеличивающий благодатью, — Он сам, по множеству благости Своей, да утешит нас утешением многим и да ведет нас вперед, пася с нами и спасая стадо; а вас да совершит на всякое дело благое, да наставит духовно торжествовать в честь Мучеников, да удостоит насладиться там, где обитель всех веселящихся, и когда явитесь в правде, да насытит вас велением Своей славы, созерцаемой во Христе Иисусе, Господе нашем. Ему слава и держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

   



# СЛОВО 12. Говоренное отцу, поручившему ему попечение о Назианзской церкви

*Уста мои открываю и вздыхаю* (Пс. 118, 131). Духу предаю все свое и себя самого, и дело и слово, и бездействие и молчание, только да обладает Он мной, да водит меня, да направляет руку, ум и язык к чему должно и к чему хочет; а также и да отводит, от чего удаляться и должно и для меня лучше. Я орган Божий, орган словесный, который настроил и в который ударяет добрый Художник — Дух. Вчера располагал Он к молчанию, и моим любомудрием было — не говорить. Ныне ударяет в ум, и я изглажу слово, моим любомудрием будет — говорить. Я не так многоречив, чтобы пожелал говорить, когда заставляют молчать, и не так молчалив и малоучен, чтобы во время, приличное для слова, полагать хранение устам, напротив, и заключаю, и открываю дверь мою (Пс. 140,5) Уму, Слову и Духу, единому естеству и Божеству. Итак, буду говорить, потому что имею на это повеление. Говорить же буду этому доброму Пастырю и вам, священная паства, что, по моему рассуждению, лучше и мне ныне сказать, и вам услышать.

Для чего стал нужен сопастырь тебе? Ибо с тебя начнется слово, любезная и почтенная для меня глава, равночестная голове Аарона, с которой стекает духовное и священное миро даже на бороду и одежду (Пс. 132,2). Для чего ты, когда сам еще в состоянии поддерживать и руководствовать многих, и действительно руководствуешь силой Духа, — в духовных делах требуешь для себя жезла и подпоры? Потому ли, что и с великим Аароном, как знаем и слышим, помазаны были Елеазар и Ифамар, сыны Аароновы? Ибо о Надаве и Авиуде охотно умолчу, чтобы не произнести неприязненного слова. Потому ли, что и Моисей еще при жизни назначает Иисуса вместо себя законодателем и вождем поспешающих в землю обетованную? Об Аароне же и Оре, которые поддерживали руки Моисеевы на горе, чтобы Амалик побежден был Крестом, издалека преднаписуемым и прообразуемым, считаю для себя удобным и не говорить, как о примере для меня весьма несвойственном и неприличном; потому что Моисей избрал их не участниками в законодательстве, но помощниками в молитве и подпорой для утомленных рук. Но у тебя что страждет, что утомлено? Тело ли? Я готов поддерживать, даже поддерживал; и сам поддержан, как Иаков, отеческими благословениями. Или Дух? Но в ком он крепче и пламеннее, особенно теперь, когда более и более подчиняется и уступает ему плотское, как вещество, противопоставленное свету, преграждающее его и препятствующее сиянию? Ибо плоть и дух всего чаще враждуют между собой и противоборствуют друг другу? И как тело бывает в добром состоянии, когда болезнует душа, так душа цветет и простирает взоры горе, когда желание удовольствий утихает и увядает вместе с телом. Но в тебе удивился я еще простоте и смелости; как не убоялся ты (чего весьма должно опасаться в настоящие времена), чтобы твоей духовной ревности не почли одним предлогом, и не показалось многим, будто бы звание это принимаем для плотских целей, хотя и представляем на вид духовную пользу. Ибо многие сделали то, что оно почитается великим, самовластным и доставляющим какую-то чудную приятность, хотя бы надлежало быть предстоятелем и правителем паствы, которая еще менее обширна, нежели наша, и приносит более досады, нежели удовольствия. Этого довольно о твоей простоте или твоем чадолюбии, благодаря которым ты и сам не предпринимаешь ничего вредного и других редко в том подозреваешь, ибо кто с трудом преклоняется на зло, тот медлителен и в подозрении худого. А я должен еще предложить краткую беседу этому твоему или и моему народу.

Мне сделано принуждение, друзья и братья, — к вам буду взывать теперь, если не взывал тогда, — сделано старостью отца и (выражусь скромно) благосклонностью друга; помогите мне, кто сколько может, и подайте руку угнетаемому и увлекаемому то собственным желанием, то Духом! Одно предлагает мне бегство, горы и пустыни, безмолвие душевное и телесное, советует удалиться умом в самого себя и отвратиться от чувств, чтобы неоскверненному беседовать с Богом и чистому озаряться лучами Духа, без всякой примеси дольнего и омраченного, без всяких преграждений божественному свету, пока не приду к Источнику здешних озарений и не буду остановлен в желании и стремлении тем, что изображения сменятся действительностью. А дух требует, чтобы я выступил на среду, принес плод обществу, искал для себя пользы в пользе других, распространял просвещение, приводил к *Богу народ особенный* (Тит. 2, 14), *царственное священство, народ святой* (1 Петр. 2,9), и сделал, чтобы в большем числе людей очищался образ. Ибо как в сравнении с одним растением лучше и больше сад, в сравнении с одной звездой — целое небо и все его украшения, и в сравнении с членом — тело; так и перед Богом целая и благоустроенная Церковь предпочтительнее одного человека. И надобно иметь в виду не себя только, но и других, потому что и Христос, Которому можно было пребывать в Своей чести и Божестве, не только истощил себя до *образа раба* (Фил. 2,7), но и *крест претерпел, пренебрегши посрамление* (Евр. 12,2), чтобы Своими страданиями истребить грех и смертью умертвить смерть. Таковы предначертания моего желания, и таковы веления Духа! Стоя между желанием и Духом и недоумевая, чему в большей мере предаться, — вот что нашел я, как рассуждаю, лучшего и безопаснейшего; сообщу и вам, чтобы вы вместе со мной исследовали и утвердил и мое намерение. Я рассудил, что всего лучше и безопаснее соблюсти середину между желанием и страхом, и в одном уступить желанию, в другом — Духу. А это нашел я возможным, если не вовсе будут убегать служения, чтобы не отринуть благодати, что было бы опасно; и не возьму на себя бремени выше сил своих, что было бы тягостно. Для первого нужна другая голова, для последнего — другие силы; вернее же сказать, то и другое высокоумно. Напротив, благочестиво и вместе безопасно соразмерять служение с силами и, как поступаем при употреблении пищи, что по силам, принимать, а что выше сил, оставлять. Ибо так умеренностью в том и другом приобретается и телесное здравие и душевное спокойствие. Поэтому-то соглашаюсь теперь разделять попечение с добрым отцом, как с большим и высокопарным орлом летающий близ него не вовсе неопытный птенец. А потом предам крылья свои Духу — нести, куда угодно и как угодно; и под Его руководством никто не принудит и не поведет меня в иное место. Ибо, хотя приятно наследовать отцовы труды, и привычная паства приятнее незнакомой и чужой (присовокупил бы еще, и многоценнее перед Богом, если только не обманывает любовь и настоящих чувствований не закрывает привычка); однако же полезнее и безопаснее начальствовать желающим и над желающими. Да и по закону нашему должно водить не насильно *пне принужденно, но охотно* (1 Петр. 5,2). И другое начальство не может утвердиться принуждением, управляемое с насилием при всяком удобном случае старается освободиться, тем паче наше, не столько начальство, сколько детовождение, всего более соблюдает свободу. Ибо тайна спасения — для желающих, а не для принуждаемых.

Таково мое вам, братия, слово, сказанное просто, со всяким благорасположением, такова тайна моего сердца! Да превозможет то, что для вас и для меня будет полезно, и делами нашими да управит Дух, ибо опять возвращается слово мое к Духу, Которому предал я самого себя и главу, помазанную елеем совершения во Вседержителе Отце, в Единородном Сыне и во Святом Духе и Боге. Ибо до каких пор нам скрывать светильник под спудом и как бы лишать других совершенного Божества? Время поставить истину эту на подсвечник, да светит она всем Церквам и душам, и всей полноте Вселенной не догадочно предлагаемая, не мысленно только преднаписуемая, но изрекаемая явно, как совершеннейшее обнаружение богословия в сподобившихся этой благодати через самого Иисуса Христа, Господа нашего, Которому слава, честь и держава вовеки. Аминь.

   



# СЛОВО 13. Произнесенное при рукоположении Евладия в сан епископа Доарского

Примите, братья, слово мое, хотя оно весьма кратко и далеко от совершенства. Но Владыка Бог знает, как праведным судом взвешивать милость, ибо приемлет и Павлове насаждение, как Павлове, и Аполлосово напоение (1 Кор. 3, б), и две лепты вдовы (Лук. 21,3), и смирение мытаря (18, 14) и исповедание Манассии (2 Цар. 33,13). Примите и вы новосоставленное слово о новопоставленном Пастыре. Примите глас благодарения за видимые нами чудеса. Хотя мы малы и последние в сынах Израилевых: но благодарить богато ничто не препятствует и малым. Конечно, совершеннейшие воздадут Богу и хвалу совершеннейшую, а мы принесем Ему ныне, какую можем.

Итак, *воспойте Господу песнь новую, ибо Он сотворил чудеса* (Пс. 97,1)! Мы обуревались волнами, повергались, изгонялись; одни бедствия уже угнетали нас, а другие угрожали нам. Кто же переменил бурю в тихий ветер? Кто сокрушил оружие, меч и брань? Кто принял нас изгнанных и отверженных? Не ты ли, Боже, сотворил *это? Господь крепок и силен, Господь силен в брани* (Пс. 24,8), — Он рассек море, Он питал в пустыне народ бедствующий, послав ему чудный дождь, Он источил воду из камня, Он победил Амалика неизъяснимым и таинственным воздеянием рук (ибо руки священника, воздвигаемые на горе и принимающие молитвенное положение, совершили то, чего не могли сделать многие тысячи); Он разрушил стены без стенобитных орудий и битвы; скажу, наконец, Он низложил Голиафа, гордого и надменного потомка исполинов, дерзнувшего выйти против великого Давида. Поэтому скажем единодушно: *Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Избавилась душа наша, как птица избавилась от сети ловящих* (Пс. 123,4.6.7); присовокупим и прочее, что вещает душа, обрадованная великим даром Божиим.

Я шел, чтобы принести не меч, но мир. Я шел не к посрамлению великого Пастыря, который председательствует в славном городе. Знаю, что он достопочтен, признаю его главой, именую святым, хотя и потерпел обиду; пусть он только будет чадолюбив и печется о своей Церкви. Я старался увеличить, а не сократить число иереев; низложить еретиков, а не уменьшить число православных.

Что говоришь ты, сын Дафана и Авирона, не вразумляющийся вождь, осмелившийся восстать против Моисея и поднять на нас руки, как те отверзали уста на великого раба Божия? И ты не пришел в ужас? ты не устыдился? не рассыпалась плоть твоя по земле, когда злоумышлял это? И после этого будешь простирать те же руки к Богу? станешь приносить Ему дары, молиться о народе? Боюсь, чтобы меч Божий и до того не остался в бездействии и покое. Ты Пастырю своему не сделал ничего важного, а себе причинил весьма много вреда, отчуждив себя от благодати Божией.

Теперь приступи лучший и совершеннейший из Пастырей и вместе с нами или еще прежде нас прими народ свой, который поручил тебе Дух Святой, который приводят к тебе Ангелы, который приобрели тебе твоя жизнь и добрые нравы! Не удивляйся же, что наследуешь престол при различных искушениях и препятствиях. Ничто великое не бывает без искушения и испытания, ибо по естественному порядку маловажное сопровождается удобством, а высокое — трудностью. Ты слышал сказавшего, *что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие* (Деян. 14, 22), — скажи и сам: *прошли огонь и воду, и Ты вывел нас на свободу* (Пс. 65,12). О чудо! *вечером водворяется плач, а наутро радость* (Пс. 29,6). Пусть кричат враги и расширяют уста, как псы, которые лают по-пустому, а мы не будем нести брани. Учи поклоняться Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому, в трех ипостасях, в единой же славе и светлости. Погибшее *взыщи, немощное укрепи, крепкое снабди* (Иез. 34, 16). Мы ожидаем от тебя такого же благоискусства в делах духовных, какое ты, как известно нам, имеешь в мирских. Итак, прими от высших вождей совершеннейшее вооружение, посредством которого возможешь *стрелы лукавого раскаленные угасить* (Еф. 6,16) и представить Господу *народ особенный* (Тит. 2,14), *народ святой, царственное священство* (1 Петр. 2,9), во Христе Иисусе Господе, Которому слава вовеки. Аминь.

   



# СЛОВО 14. О любви к бедным

Братия и соучастники бедности (ибо все мы бедны и имеем нужду в благодати Божией, хотя и кажется один превосходнее другого, когда измеряем людей малыми мерами)! Примите слово о любви к бедным, не с бедным, но со щедролюбивым расположением духа, да наследуете богатство царствия. А вместе помолитесь, чтобы и я мог предложить вам богатое слово, мог напитать им ваши души и *разделить голодным хлеб* (Ис. 58, 7) духовный или, подобно древнему Моисею, низводя, как дождь, пищу с неба (Исх. 16,4) и *подавая хлеб ангельский* (Пс. 77, 25), или насыщая немногими хлебами в пустыне многие тысячи, как после Иисус — *истинный хлеб* (Иоан. 6,32) и истинной жизни виновник.

Нелегко найти превосходнейшую из добродетелей и отдать ей первенство и преимущество, подобно как и на лугу многоцветном и благовонном не вдруг можно выбрать прекраснейший и душистый из цветов, когда то тот, то другой привлекает к себе обоняние и взор и заставляет сорвать себя раньше всех. По моему разумению, различные добродетели можно сравнивать и рассматривать так. Прекрасны *вера, надежда и любовь, три сии* (Кор. 13,13). Веры свидетель — Авраам, оправданный верой; надежды — Енос, который прежде *всех начал призывать Господа* (Быт. 4,26), и все праведники, которые, одушевляясь надеждой, претерпевали бедствия. Любви свидетель божественный Апостол, осмелившийся и на самого себя произнести приговор для спасения Израиля (Рим. 9,4), и сам Бог, Который называется любовью (1 Иоан. 4,16). Прекрасно страннолюбие. Свидетель этого — между праведниками — Лот содомлянин, но не содомлянин по своим нравам (2 Петр. 2,8); а между грешными — Раав блудница, но не блудница по расположениям сердца, за страннолюбие удостоившаяся похвалы и спасения (Евр. 11,31). Прекрасно братолюбие: свидетель — Иисус, не постыдившийся не только назваться братом нашим (Евр. 2,11), но и пострадать за нас. Прекрасно человеколюбие: свидетель — Он же, Иисус, Который не только сотворил человека на *добрые дела* (Ефес. 2,10) и сочетал с плотью Свой образ, показывающий путь ко всему наилучшему и возводящий нас — странников — к горним благам, но и Сам сделался ради нас человеком. Прекрасно долготерпение: свидетель этого опять сам Иисус, Который не только не хотел призвать легионы ангелов против восставших на Него мучителей, не только укорил Петра, извлекшего нож, но исцелил ухо уязвленному (Матф. 26, 52. 53. Лук 22,51). Это же после показал и Стефан, ученик Христов, молившийся за побивавших его камнями. Прекрасна кротость: свидетели — Моисей и Давид, за это больше всех похваляемые (Числ. 12,3.2 Цар. 16,11.12. Пс. 131,1), и сам Учитель их, не прекословящий, не вопиющий, не испускающий гласа на распутиях (Матф. 12,19) и не противящийся ведущим Его. Прекрасна ревность: свидетели этого — Финеес, одним ударом копья пронзивший мадианитянку вместе с израильтянином, дабы избавить от поношения сынов Израилевых, и за свою ревность получивший себе славное имя; а после него — те, которые говорил и: возревновал я *о Господе* (3 Цар. 19, 10*); ревную о вас ревностью Божиею* (2Кор. 11, 2); *ревность по доме Твоем снедает меня* (Пс. 68,10), и не только говорили это, но и сильно чувствовали. Прекрасно воздержание: в том убедит тебя Давид, который не перестает держать себя в строгости (1 Кор. 9, 27) и примером израильтян устрашает людей, надеющихся на себя и дающих волю своему телу (1 Кор. 10, 5—8), и сам Иисус, Который, будучи искушаемым, постится и побеждает искусителя (Лук. 4,2—13). Прекрасны молитва и бдение: в том убедит тебя сам Бог, Который перед страданием проводит ночь без сна в молитве (Матф. 26, 39-42.44). Прекрасны чистота и девственность: в этом убедят тебя Павел, который предписывал на это законы и справедливую назначает цену брачной и безбрачной жизни (1 Кор. 7,1 — 11*.*25—40), и сам Иисус, родившийся от Девы, дабы и рождение почтить, и отдать предпочтение девству Прекрасно воздержание: в том убедит тебя Давид, который, овладев кладезем вифлеемским, не стал пить воды, но только излил ее в честь Господа, не желая утолить жажды своей кровью других (1 Пар. 11,18.19). Прекрасно пустынножительство и безмолвие: это показывают мне Кармил Илии, пустыня Иоаннова, гора Иисусова, на которую часто отходил Господь, дабы в безмолвии беседовать с самим Собой (Матф. 14,2 3. Лук. 6,12,9,28,22,39). Прекрасна умеренность: этому научают меня Илия, живущий у вдовицы, Иоанн, покрывающийся одеждой из верблюжьего волоса, и Петр, питающийся овощами, стоящими не более асса. Прекрасно смирение: примеры его многочисленны; но лучший из всех примеров представляет Спаситель и Владыка всех, Который не только смирял Себя до *образа раба* (Флп. 2, 7), не только подверг лицо Свое *стыду оплеваний* (Ис. 50,6), *и к злодеям причтен был* (Ис. 53, 12). Очищающий весь мир от греха, но и умыл ноги ученикам в образе раба. Прекрасна нестяжательность и презрение богатства: об этом свидетельствуют Закхей и сам Христос; Закхей, — когда, приняв к себе Христа, принес в дар почти все свое имущество; Христос, — когда указал богатому юноше на эту добродетель, как на предел совершенства (Матф. 19,21). Короче сказать: прекрасно созерцание, прекрасна и деятельность; первое потому, что возносится превыше земного, входит во Святая Святых и возводит ум наш к тому, что сродно с ним; другая — потому, что, приемля к себе Христа и служа Ему, доказывает любовь свою делами. Каждая из этих добродетелей есть особенно путь к спасению и несомненно приводит к одной какой-либо из вечных и блаженных обителей. Ибо как различны роды жизни, так и обителей у Бога много (Иоан. 14, 2), и они разделяются и назначаются каждому по его достоинству. Поэтому пусть один исполняет эту добродетель, другой — другую, иной — многие, а кто-нибудь, если возможно, и все; только да шествует каждый безостановочно, да стремится вперед и следует неуклонно по стопам того доброго путеводителя, который прямо направляет стезю его. и тесным путем, сквозь узкие врата (Матф. 7,14), выводит на широту блаженства небесного.

Но если, по учению Павла и самого Христа, первой и важнейшей заповедью должно почитать любовь, как сокращение закона и Пророков (Мф. 22,37—40.1 Кор. 13,13), то превосходнейшую часть ее должна составлять, как я нахожу, любовь к бедным, жалость и сострадательность к тем, которые одного с нами рода. Ибо никакое служение так не угодно Богу, как милосердое (потому что оно всего более сродно Богу, Которому предходят *милость и истина* (Пс. 88,15), и Которому должно приносить в дар милость (Иак. 2, 13) прежде суда), и праведный Мздовоздаятель, положивший *на мерилах* и *весах милость* (Пс. 28,17), ни за что так не награждает Своим человеколюбием, как за человеколюбие. Итак, сообразно заповеди, которая повелевает ра*доваться с радующимися и плакать с плачущими* (Рим. 12,15), мы должны отверзать утробу милосердия всем бедным и, по какой бы то ни было причине, страждущим; должны как люди приносить людям дань благотворительности, какая бы ни заставляла их нужда искать помощи, — вдовство ли, или сиротство, или изгнание из отечества, или жестокость властителей, или наглость начальствующих, или бесчеловечие собирателей подати, или убийственная рука разбойников, или алчность воров, или опись имения, или кораблекрушение. Ибо все они одинаковое имеют право на сожаление, и так же смотрят на руки наши, как мы на руки Божий, когда чего просим. Впрочем и. из этих самых более достойны жалости те, которые, будучи в лучшем состоянии, впадают в несчастья, нежели те, которые уже свыклись с бедственной участью.

А особенно должны мы быть сострадательны к зараженным проказой, которые, по грозному приговору, изреченному на некоторых людей в Св. Писании, изъедены даже до плоти, костей и мозгов (Иов. 33, 21) и которым изменило это многобедственное, уничиженное и вероломное тело. Не понимаю, как я соединился с ним, и как, будучи образом Божиим, я смешался с грязью! Это тело, когда хорошо ему, поднимает войну; а когда воюю против него, ввергает в скорбь. Его я и люблю, как сослужителя; от него же и отвращаюсь, как от врага; бегу от него, как от уз, и почитаю его, как наследника. Решусь ли истомить его? Но тогда некого мне будет употребить в сотрудники в добрых делах; а я знаю, для чего приведен я в бытие, знаю, что мне должно восходить к Богу посредством дел. Стану ли щадить его, как сотрудника? Но тогда не знаю, как избежать его мятежнических нападений, и боюсь, как бы не отпасть от Бога, отягчившись оковами, кои влекут меня к земле или удерживают на ней. Это ласковый враг и коварный друг! Чудное соединение и раздвоение! Чего боюсь, того держусь, и что люблю, того страшусь. Не успею еще вступить в сражение, как заключаю мир; и не успею помириться, как опять начинаю брань. Что это за премудрость открывается на мне, и что за великая тайна! Не для того ли Бог ввел нас в эту борьбу и брань с телом, чтобы мы, будучи частью Божества и проистекши свыше, не стали надмеваться и превозноситься своим достоинством и не пренебрегли Создателем, но всегда обращали к Нему взоры, и чтобы сопряженная с нами немощь держала в пределах наше достоинство? Чтобы мы знали, что мы вместе и весьма велики и весьма низки, земны и небесны, временны и бессмертны, наследники света и наследники огня или тьмы, смотря по тому, на какую сторону преклоним себя? Так устроен состав наш, и это, сколько могу я видеть, для того чтобы персть земная смиряла нас, если б мы вздумали превозноситься образом Божиим.

Но об этом пусть любомудро рассуждает, кто хочет. Не откажусь и я с ним вместе размыслить о том при более удобном случае. А теперь я должен говорить о том, к чему побуждает меня соболезнование о собственной моей плоти и о собственной немощи при взоре на страдания других; должен сказать вам, братия, что мы обязаны заботиться о теле, этом сроднике и сослужителе души (ибо хотя я и винил его, как врага, за то, что терплю от него; но я же и люблю его, как друга, ради Того, Кто соединил меня с ним), и притом — заботиться о теле наших ближних не меньше, как и каждый о собственном, остаемся ли мы сами здоровыми, или изнуряемся таким же недугом. Ибо есть мы *одно* в Господе (Гал. 3,28), богат ли кто, или беден, раб ли кто, или свободен, здоров ли или болен телом; у всех одна *глава — Христос, из Него же все* (Ефес, 4; 15, 16), и что члены один для другого, то же и каждый из нас друг для друга, и все для всех (1 Кор. 12, 12—27). А потому не надобно пренебрегать и оставлять без попечения тех, кто прежде подпал под общую для всех немощь; напротив, мы должны не столько радоваться благополучному состоянию нашего тела, сколько плакать о телесных страданиях братьев наших; должны человеколюбие к ним считать единственным залогом нашей безопасности телесной и душевной.

На них надобно смотреть так: другие жалки только по своей бедности, от которой, быть может, освободит их или время, или труд, или друг, или родственник, или перемена обстоятельств; а этих несчастных и бедность угнетает нисколько не меньше, чем тех, или еще больше; так как они, лишась телесных членов, лишаются вместе и способов трудиться и помогать себе в своих нуждах, и, притом, всегда больше страшатся усугубления болезни, нежели надеются на выздоровление, так что и надежда, это единственное лечение для несчастных, почти оставляет их без помощи. Но к бедности у них присоединяется и другое зло — болезнь, зло ужаснейшее и тягостнейшее, которое у людей необразованных скорее всего попадает на язык, когда они кого клянут. С этим связано еще третье зло: многие не хотят к ним подойти, не хотят посмотреть на них, бегут от них, гнушаются ими, как чем-то омерзительным; и это зло, чтобы видеть себя ненавидимыми за одно только то, что подверглись несчастью, для них тяжелее самой болезни. Я не могу без слез смотреть на их страдания и при одном воспоминании о иных возмущаюсь духом. Имейте и вы такие же чувствования, чтобы слезами избавиться от слез. И я не сомневаюсь, что действительно так чувствуют те из предстоящих здесь, кто любит Христа и любит бедных, и имеет Богу свойственное и от Бога дарованное им милосердие.

Вы сами свидетели их страдания. Перед вашими глазами поразительное и плачевное зрелище, которому едва ли кто поверит, кроме очевидцев: люди — живые мертвецы, у которых конечности большей части телесных членов отгнили; люди, которых нельзя почти узнать, кто они были прежде, и откуда, или лучше, несчастные останки живших некогда людей, которые, чтобы дать знать о себе, сказывают о своих отцах, матерях, братьях и местах жительства: «Я сын такого-то отца, мать у меня такая-то, имя мое такое-то, да и ты некогда был мне друг и знакомый». Это говорят они потому, что не имеют уже прежнего вида, по которому бы можно было узнать их. Это люди обделенные, у которых нет ни имущества, ни родства, ни друзей, ни даже тела; люди, которые одни из всех и жалеют о себе и вместе ненавидят себя; которые не знают, о чем больше плакать, — о тех ли частях тела, которых уже нет ил и об оставшихся, о тех ли, которые преждевременно истребила болезнь, или о тех, которые еще сберегаются на жертву болезни; ибо те несчастно погибли, а эти уцелели для большего несчастья; те истлели прежде гроба, а этих некому и в гроб положить. Потому что и самый добрый и мягкосердечный человек бывает крайне нечувствителен к бедствиям этих страдальцев. Здесь только мы забываем, что мы сами плоть и облечены уничиженным телом (Флп. 3,21); и так мало в нас раденья об этих сродниках наших, что мы почитаем даже необходимым для безопасности нашего тела — удаляться от них. Иной подходит к залежавшемуся и, может быть, уже смердящему трупу, носит вонючие тела бессловесных животных, и, валяясь в тине, не гнушается этим, а от этих несчастных, сколько есть сил, бежим прочь и — какое бесчеловечие! — негодуем почти и на то, что дышим одним с ними воздухом.

Кто нежнее отца? Кто сердобольнее матери? Но для этих отверженных заперто и родительское сердце. И отец своего собственного сына, которого родил, которого воспитал, в котором одном чаял иметь око своей жизни, за которого так много и так часто молился Богу, этого самого сына, хотя оплакивает, но гонит от себя, — оплакивает от сердца, гонит поневоле. А мать, вспоминая муки рождения, с разрывающимся сердцем испускает жалостнейшие вопли и вслух всех рыдает над живым, как над мертвым, говоря: «Несчастное чадо злополучной матери, отнимаемое у меня лютой болезнью, чадо жал ости достойное, чадо мое милое, которого и узнать не могу, чадо мое, которое воспитала я для утесов, гор и пустынь! Со зверями будет жизнь твоя, горный камень — кров твой, и только благочестивейшие из людей обратят на тебя взоры. Зачем, — вопиет она, подобно Иову (Иов. 3, 1. 12), этим болезненным гласом, — зачем ты образовался в утробе матери? Зачем, вышедши из чрева, не погиб в то же мгновение, так чтоб смерть сочеталась с рождением? Зачем ты не умер преждевременно, пока не вкусил еще зол жизни? Зачем тебя приняли на колени, и на что было тебе сосать грудь, когда ожидала тебя жизнь горькая, жизнь ужаснее смерти?» Выговаривая это, проливает она источники слез, и хотела бы, несчастная, заключить в объятья свое детище, но боится плоти его как неприятеля!

А в народе поднимаются повсюду ропот и гонение — не против злодеев, но против несчастных. Иной живет вместе с убийцей, с прелюбодеем делит не только жилище, но и трапезу, святотатца принимает к себе в сожители, с недоброжелателями своими ведет дружбу; а от страдальцев, ничем его не огорчивших, отвращается, как от преступников. Так пороку отдается преимущество перед болезнью! Бесчеловечие мы уважаем, как дело благородное, а сострадание презираем, как нечто постыдное. Их гонят из городов, гонят из домов, с площади, с дорог, из бесед, из народных собраний, пиров, и — о горькая участь! — их отгоняют и от самой воды. Для них не текут источники, поющие всех других, невероятным почитают даже то, чтобы и реки не могли от них заразиться. А что всего страннее, тех, — которых как нечистых, отгоняем от себя, тех самых, как не причиняющих нам никакого убытка, заставляем опять возвращаться к нам, потому что не даем им ни жилища, ни нужной пищи, ни лекарства для ран, ни одежды, которой могли бы мы прикрыть, по нашим силам, их недуг. Потому-то они и скитаются день и ночь, — обнищавшие, нагие, бесприютные, показывая пораженное недугом тело, пересказывая старую жизнь свою, призывая с воплем Создателя, помогая друг другу употреблением членов, которых у другого нет, слагая жалобные песни, чтобы выпросить кусочек хлеба, или малейшую часть чего-нибудь вареного, или какое-нибудь разодранное рубище для прикрытия себя от стыда, или для облегчения боли от ран. И не тот уже в глазах их человеколюбив, кто достаточно подает им нужное, но всякий, кто не с суровостью отсылает их прочь. Многие же из них, преодолевая и стыд, не бегут от торжественных собраний; гонимые крайней нуждой вторгаются сюда, в эти всенародные и священные собрания, которые мы учредили для уврачевания душ и на которые собираемся или для воспоминания какого-нибудь таинства, или для прославления свидетелей истины, дабы, чествуя их подвиги, научиться подражать и их благочестию. А они, хотя и стыдятся, как несчастливцы и как люди, лица человеческого, и лучше хотели бы скрываться в горах, утесах, лесах или, наконец, в ночи и мраке; однако втискиваются в середину народа — жалкое бремя и слез достойное! — которое, впрочем, может быть послано к нам и не без цели, и именно с той целью, чтобы напомнить нам о нашей немощи и убедить нас не прилепляться ни к чему настоящему и видимому, как к постоянному. Приходят же одни из них, желая услышать голос человеческий; другие, чтобы взглянуть на людей; иные, чтобы у роскошных богачей собрать хотя скудное подаяние для поддержания жизни; все — чтобы обнаружить свою Скорбь и тем хотя несколько облегчить себя.

Кто не сокрушится, внимая их стонам, сливающимся в одну жалобную песнь? Какое ухо может переносить эти звуки? Какое око может спокойно смотреть на это зрелище? Бот некоторые из них лежат одни подле других, — не на радость совокупленные недугом в одно сообщество, где каждый носит на себе следы какого-нибудь особенного бедствия, и все эти бедствия слагаются в одно общее горе, так что каждый своими стараниями усугубляет страдания других, и все жалки по своим болезням, а еще жалче по состраданию друг к другу. Их окружает толпа зрителей, даже и соболезнующих, но — на краткое время. А там — другие влачатся у ног человеческих; их преследуют и солнечный зной, и пыль, а иногда жестокие морозы, дожди и бури, их стали бы и попирать ногами, если бы одно прикосновение к ним не почитали гнусным. На священные песнопения внутри храма, они ответствуют стонами и воплями прошений, и таинственным молитвословиям служат отголоском горькие рыдания. Но для чего описывать мне все их бедствия перед людьми, собравшимися для торжества? Если бы с точностью изобразил я всю эту печальную картину, то, может быть, возбудил бы плач и рыдания, и празднество превратилось бы в сетование. Потому только я и говорю об этом, что до сих пор еще не могу убедить вас, что иногда бывает и печаль предпочтительнее радости, и сетование полезнее празднования, и достохвальные слезы лучше недоброго смеха.

Таково-то и еще гораздо горестнее, нежели как я представил, положение братьев наших в Боге (хотя бы вы и не желали слышать это), братьев, которые одинаковое с нами получили естество, из того же составлены брения, из какого и мы первоначально созданы; связаны, как и мы, жилами и костями и, подобно всем, облечены кожей и плотью (как говорит в одном месте божественный Иов (Иов. 3 3,6.10.11), любомудрствуя среди страданий и посмеиваясь над видимой частью существа нашего), или лучше, если должно упомянуть о важнейшем, — которые также, как и мы, одарены образом Божиим и хранят его, может быть, лучше нас, хотя и истлели телом, — в единого облечены Христа (Гал. 3,27) по внутреннему человеку; одинаковый с нами приняли в сохранение залог Духа (Гал. 3,2 2); участвуют в одних с нами законах, глаголах Божиих, заветах, собраниях, таинствах, надеждах; за которых равно умер Христос (Рим. 14,15), взявший на Себя грех всего мира (Иоан. 1, 29); которые суть наследники небесной жизни, хотя весьма много отчуждены от земной; которые погребаются с Христом и совосстают с Ним (Кол. 2,12), страдают с Ним, дабы с Ним и прославиться (Рим. 8,17). Что же мы? Мы, наследовавшие это великое и новое имя, чтобы называться по Христу народом святым, царственным священным, людьми усвоенными Богу и избранными (1 Петр. 2,9), ревнителями добрых и спасительных дел (Тит. 2, 14), учениками кроткого и человеколюбивого Христа, понесшего наши немощи, унизившего Себя до нашей бренности, нас ради обнищавшего (2 Кор. 8, 9), нисшедшего в эту плоть и земную храмину и претерпевшего за нас скорби и болезни, дабы мы обогатились наследием Божества? Что ж мы, имеющие столь высокий Образец благоутробия и сострадания? Как будем думать о них и что сделаем? Презрим ли их? Пробежим мимо? Оставим их, как мертвецов, как гнусные страшилища, как самых злых зверей и пресмыкающихся? Нет, братия! Не тому учит нас — овец Своих — добрый Пастырь (Иоан. 10,11), Христос, Который обращает заблудшее, взыскует погибшее и укрепляет немощное (Иез. 34,1 б); не то внушает и природа человеческая, которая вложила в нас закон сострадания, и чувством немощи, общей нам со всеми, учится благочестию и человеколюбию. Ужели они будут томиться под открытым небом; а мы станем жить в великолепных домах, расцвеченных всякого рода камнями, блещущих золотом и серебром, где узорчатая мозаика и разнообразная живопись прельщают и приманивают взоры? Да еще в одних будем жить, а другие строить? И для кого? Быть может, не для наследников наших, а для людей посторонних и чужих, и притом, может быть, для таких людей, которые не только не любят вас, но еще, что всего хуже, исполнены вражды к нам и зависти. Они будут трястись от стужи в ветхих и разодранных рубищах, а может быть, еще и тех иметь не будут, а мы будем нежить себя, покрываясь мягкой и пышной одеждой, воздушными тканями из тонкого льна и шелка, и между тем как одними уборами будем не столько украшать себя, сколько обезображивать (ибо все излишнее и щегольское я почитаю безобразием), другие наряды — бесполезная и безумная забота, добыча моли и всепоедающего времени, — будут лежать у нас в кладовых. Они будут нуждаться — о пагубная моя роскошь! о бедственное их томление! — будут нуждаться и в необходимой пище; будут в изнеможении, голодные валяться у ворот наших, не имея даже столько сил в теле своем, чтобы просить; не имея голоса, чтобы рыдать; рук, чтобы простирать их для приведения нас в жалость; ног, чтобы подойти к богатым; не имея столько дыхания, чтобы с большим напряжением простонать жалобную песнь, считая лишение зрения, это самое тяжкое зло, очень легким, и еще благодаря за то, что не видит своих язв. Таково их состояние! А мы, роскошно одетые, будем с важностью возлежать на высоких и пышных ложах, покрытых дорогими коврами, до которых другие не смей и дотронуться, — оскорбляясь и тем, если только услышим умоляющий голос их? Нам нужно, чтобы пол у нас усыпаем был часто, и даже безвременно, благоухающими цветами, а стол орошен был самым дорогим и благовонным миром, для большего раздражения нашей неги; нужно, чтобы юные слуги предстояли перед нами — одни в красивом порядке и строе, с распущенными, как у женщин, волосами, искусно подстриженными, так чтобы на лице не видно было ни одного волоска, — в таком убранстве, какого не потребовали бы и самые прихотливые глаза; другие — со стаканами в руках, едва дотрагиваясь до них концами пальцев и поднося их, как можно ловчее и осторожнее; иные, держа опахала над головами нашими, производили бы искусственный ветерок, и этим, руками навеваемым, зефиром прохлаждали бы жар утучненного нашего тела. Нужно кроме того, чтобы все стихии — и воздух, и земля, и вода — в обилии доставляли нам дары эти, и стол наш весь был уставлен и обременен мясными яствами и прочими хитрыми выдумками поваров и пекарей; чтобы все они наперебой старались о том, как бы больше угодить жадному и неблагодарному нашему чреву — этому тяжкому бремени, виновнику зол, этому никогда ненасытному и самому неверному зверю, которому вместе с потребляемыми им яствами вскоре надобно будет истлеть (1 Кор. 6,13). Для них много значит утолить жажду и водой; а у нас пенится в чашах вино: пей до упоения, даже до бесчувствия, если кто невоздержан! Да еще одно из вин отошлем назад, другое похвалим за его запах и цвет, о третьем начнем с важностью рассуждать, и беда, если кроме своего отечественного не будет у нас какого-нибудь иностранного вина, как иноземного завоевателя! Ибо нам непременно должно вести жизнь роскошную и превышающую нужды, или, по крайней мере, славиться такой жизнью; как будто стыдно нам, если не будут почитать нас порочными людьми и рабами чрева и того, что еще хуже чрева.

Что это такое, друзья и братья? Для чего и мы носим в себе болезнь, — болезнь душевную, которая гораздо тягостнее телесной? Ибо та, как известно, приходит не по воле нашей, а эта приходит от нашего произволения; та оканчивается с настоящей жизнью, а эта переходит с нами и в другую жизнь, в которую мы отсюда преставляемся; о той жалеют, по крайней мере, здравомыслящие, а эту ненавидят. Для чего не спешим, пока еще есть время, помогать сродникам нашим по естеству? Для чего, будучи сами плоть, не покрываем безобразия плоти? Для чего предаемся неге, видя бедствия наших братьев? Не дай мне Бог ни жить богато, когда они нуждаются, ни наслаждаться здоровьем, когда не окажу помощи к уврачеванию их ран, ни иметь достаточной пищи, ни одежды, ни покойного крова, когда не разделю с ними хлеба, не снабжу их, по возможности, одеждой, и не упокой под моим кровом! Ибо нам должно — или все оставить для Христа, дабы, взяв крест, истинно следовать за Ним (Матф. 16, 24), и сделавшись легкими, развязанными и ничем не увлекаемыми вниз, как на крыльях, лететь к горнему миру, и возвысившись смирением, обогатившись убожеством, в замену всего приобрести Христа (Флп. 3, 8); — или разделять свое имущество с Христом, дабы и само обладание имуществом освятилось через то, что мы будем обладать им, как должно, и соучастниками в нем будут неимущие. Если же я буду сеять для одного себя; то скажу опять словами Иова: *пусть я сею, а другие едят; вместо пшеницы пусть вырастет волчец, а вместо ячменя куколь* (Иов. 31,8.40); пусть жгучий ветер убьет и вихрь развеет посев мой, так чтобы все труды мои остались напрасными. Если я стану строить житницы, собирая сокровища от маммоны и для маммоны, то пусть в эту же ночь возьмут душу мою (Лук. 12, 18. 20) для истребования отчета в злом стяжании богатства.

Ужели, наконец, мы не очувствуемся, не отвергнем жестокосердия, или — о чем желал бы и не говорить — низкой скупости, не подумаем об участи человеческой? Ужели не обратим себе во благо несчастья других? Ибо в делах человеческих, по естественному порядку, нет ничего твердого, ровного, держащегося своими силами и пребывающего в одинаковом положении; участь наша вращается, подобно колесу, в различные времена, и часто в один день, а иногда и в один час подвергаясь различным переменам, так что скорее можно положиться на постоянство ветров, никогда не останавливающихся, или следов плывущего по морю корабля, или на обманчивые ночные сновидения, доставляющие минутное удовольствие, или на твердость тех начертаний, какие дети, играя делают на песке, нежели на благоденствие человеческое. Итак, благоразумны те, которые, не веря благам настоящим, собирают себе сокровище в будущем и, видя непостоянство и переменчивость благополучия человеческого, любят благотворительность, которая никогда не изменит (1 Кор. 13, 8). Зато, без сомнения, получают они, по крайней мере, одно из трех возмездий: или то, что никогда не подвергаются бедствиям, потому что Бог часто и земными благами утешает благочестивых, призывая их Своею благостью к состраданию; или то, что и среди бедствий они имеют в себе дерзновение к Богу (1 Иоан. 3,21), ибо страждут не за порочную жизнь, а по особенному устроению Промысла; или, наконец, то, что они по праву могут требовать от людей благоденствующих такой же сострадательности, какую сами оказали нуждающимся во время своего счастья.

Да *не хвалится,* сказано*, мудрый мудростью своею, ни богатый богатством своим, ни сильный силою своею* (Иер. 9,2 3), если бы и достиг кто самой высокой степени — или мудрости, или богатства, или силы. А я к этим словам Писания прибавлю еще и то, что с ними согласно: да не хвалится ни славный своей славой, ни здоровый здоровьем своим, ни красивый красотой своей, ни юный юностью, кратко сказать — ничем таким, что прославляют здесь, да не хвалится надмевающийся тем. Одним только да *хвалится хвалящийся —* именно тем, чтобы разуметь и усердно искать Бога (Иер. 9, 24), сострадать страждущим и уготовлять себе что-нибудь доброе для будущего века. Ибо здешние блага быстро протекают, даются на час, и, подобно как камешки в игре, перекидываются с места на место и переходят то к тем, то к другим; ничего здесь нельзя назвать своим, все или время отнимет, или зависть переведет в чужие руки. Напротив, блага душевные постоянны и прочны, никогда не отойдут и не отпадут от нас, никогда не обманут надежд того, кто им поверил. Но и это самое, что ни одно из здешних благ не верно людям и непрочно, мне кажется прекрасно, как и все прочее, устроено предусмотрительным Художником — Словом и Премудростью, превосходящею всякий ум (1 Кор. 1,24. Флп. 4,7); это самое, что видимые блага подвергаются и подвергают нас то тем, то другим превратностям, то возносятся вверх, то падают вниз и кружатся как в вихре, и прежде, нежели овладеем ими, убегают и удаляются от нас, и таким образом играют нами, обманывают нас, — не направлено ли к тому, чтобы мы, усмотрев их непостоянство и переменчивость, скорее устремились к пристанищу будущей жизни? В самом деле, что было бы с нами, если б земное наше счастье было постоянно, когда и при непостоянстве его мы настолько к нему привязаны? Когда обманчивая приятность и прелесть его держит нас, как рабов, в таких узах, что мы ничего и представить себе не можем лучше и выше настоящего, и это тогда, как мы слышим и верим, что мы сотворены по образу Божию, Который, Пребывая на небесах, и нас влечет к Себе (Кол. 1,15. Иоан. 3,13-12,32)?

*Кто мудр, чтобы познать это* (Ос. 14,10)? Кто решится убегать от вещей убегающих? Кто прилепится к вечно пребывающему? Кто научится размышлять о настоящем, как о преходящем, а об уповаемом, как о постоянно присущем? Кто хочет отделять истинно сущее от кажущегося, и к первому стремиться, а последнее презирать? Кто желает отличить список от истины, дальнюю хижину от горнего града (2 Петр. 1,13. Евр. 13,14), ночлег от постоянного жилища, тьму от света, глубокое благо (Пс. 68,3) от земли святой, плоть отдуха, Бога от миродержателя, тень смертную от жизни вечной? Кто желает купить настоящим будущее, тленным богатством нетленное, видимым невидимое? Поистине, блажен, кто, различая это и рассекая мечом слова, отделяющим лучшее от худшего, полагает, как сказал в одном месте божественный Давид, *восхождения в сердце своем* (Пс. 83,6), и убегая, сколько сил есть, из этой юдоли плача, вышних ищет (Кол. 3,1), и распинаясь миру со Христом, со Христом и воскресает (Гал. 6, 14. Кол. 3,1), со Христом и восходит к наследию жизни уже не изменяющейся, не обманчивой, где нет более змия, угрызающего на пути, уязвляющего в пяту и уязвляемого в голову (Быт. 49,17. 3,15). А нас тот же Давид, как некий громогласный проповедник, прекрасно оглашает высокой и всенародной проповедью, в которой называет нас тяжкосердыми и любящими ложь и учит не слишком прилепляться к видимому, и не полагать всего земного благополучия единственно в обилии пшеницы и вина (Пс. 4,3.8) — этих скороистлевающих стяжаний. И блаженный Амос, может быть, тоже самое имел в мыслях, и так же против земных и мнимых благ вооружался, когда говорил: *«Приблизьтесь к горам вечным: встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя* (Мих. 2,9). И это, даже в самих выражениях, почти совершенно сходно с повелением Господа и Спасителя нашего, каким же именно? —*Встаньте, пойдем отсюда* (Иоан. 4,31), сказал Он, не тогдашних только учеников побуждая перейти с известного места на другое, как может подумать кто-нибудь, но и всех учеников Своих, во все времена, этим воззванием привлекая от земли к небесам, и от земных благ к небесным.

Итак, последуем Слову, взыщем небесного покоя, отвергнем обилие земное; воспользуемся только тем, что есть в нем доброго; искупим души свои милостынями (Дан. 4,24), дадим от имений своих бедным, дабы стяжать богатство небесное. Дай часть и души, не все одной плоти; дай часть и Богу, не все одному миру. Отними хоть что-нибудь у чрева и посвяти духу. Похить что-нибудь из огня и положи вдали от пожирающего пламени. Исторгни что-нибудь у жестокого мучителя и вверь Господу. Давай *часть семи,* то есть этой жизни, и *восьми* (Еккл. 11,2), то есть той жизни, в которую мы перейдем из здешней. Дай немногое Тому, от Кого получил несравненно больше. Отдай и все Даровавшему тебе все. Ты никогда не будешь щедрее Бога, хотя бы и пожертвовал всем, что имеешь, хотя бы отдал вместе с имуществом и самого себя, ибо и то самое, чтобы отдать себя Богу, человек получает от Него же. Сколько ты ни уплатишь Ему, — все еще больше того будет оставаться на тебе, и ничего не дашь ты своего, поскольку все от Бога. И как нельзя опередить своей тени, которая постольку подвигается вперед и поскольку мы идем вперед, всегда в равном расстоянии нам предшествует; как нельзя телу вырасти выше головы, всегда над ним возвышающейся, так и нам невозможно превзойти дарами своими Бога. Ибо мы ничего не даем такого, что не принадлежало бы Ему, или что было бы вне круга Его щедрости. Помысли, откуда в тебе бытие, дыхание и само разумение? Откуда то величайшее преимущество, что ты знаешь Бога и надеешься царствия небесного, достоинства равноангельского, созерцания славы, которое теперь — в зеркалах только и гаданиях (1 Кор. 13, 12), а тогда будет совершеннейшим и чистейшим, — надеешься сделаться сыном Божиим (Матф. 5,9), наследником Христу (Рим. 8,17), и, скажу смелое слово, даже самим богом (Иоан. 10, 34, 35)? Откуда имеешь ты все это и от кого? Или, — если обратиться к менее важным и видимым дарам, — кто дал тебе зреть красоту неба, течение солнца, круг луны, множество звезд, и во всем этом, как в звуках лиры, всегда одинаковую стройность и порядок; преемственность частей года, изменение времен, круговращение лет, соразмерность дня и ночи, произведения земли, разлияние воздуха, широту волнующегося и потом спокойно стоящего моря, глубину рек, стремления ветров? Кто даровал тебе дожди, земледелие, пищу, художества, жилища, законы, гражданское устройство, безмятежную жизнь и тесные связи с родными? Откуда то, что некоторые животные сделались ручными и покорными тебе, а другие отданы тебе в пишу? Кто поставил тебя господином и царем над всеми тварями на земли? Кто, — скажу кратко, не исчисляя всего подробно, — даровал тебе все то, чем превосходит их человек? Не Тот ли, Кто больше всего и вместо всего ныне требует от тебя человеколюбия? Не стыдно ли нам будет, если столь много благ получив от Бога и столь много надеясь получить, не принесем Ему и этого одного дара — человеколюбия? Он отличил нас от зверей, и только одних нас на земле почтил даром разума; а мы ужели сами будем превращать себя в зверей? Ужели роскошь до того развратила нас, до того лишила ума, или... (но я уже не знаю, как это и выразить), что мы, имея лишний кусок и еще что-нибудь, столь же неважное, да и то может быть наживши неправдой, будем думать, что мы и по самой природе лучше этих несчастных? Ужели возмечтаем, что мы слишком высоки в сравнении с ними, что мы выше людей, как древние гиганты, которые, по сказанию баснословия, составляли особый род, отличный от прочих смертных, или как Неврод и сыны Енаковы (Числ. 13, 34), угнетавшие некогда Израиля, или как те исполины, которых злодеяниями низведен потоп для очищения земли? Ежели Бог и Владыка не стыдится называться отцом нашим; то мы ли отречемся от сродства с подобными нам?

Нет, друзья и братья! Не будем неправедными распорядителями вверенного нам, чтобы не услышать нам грозных слов Петра: «Постыдитесь вы, удерживающие у себя чужое, подражайте равной для всех благости Божией, и тогда не будет ни одного бедного». Не будем томить себя, собирая и сберегая сокровища, тогда как другие томятся от нищеты, да не поразит нас жестокими укоризнами и угрозами божественный Амос, который вопиет: *слышите* ныне, *которые говорят: когда пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы* (Амос. 8, 5)? и потом, в следующих далее словах, угрожает гневом Божиим людям, имеющим меру малую и меру великую. Да не обличит нас и блаженный Михей, который, укоряя иудеев за то, что они нежатся на одрах из слоновой кости, умащаются самыми дорогими ароматами, утучняют тело свое, питаясь нежным мясом тельцов от стад и козлищ от паств, сопровождают рукоплесканиями звуки органов, и потом еще сильнее порицая то, что они считают эти удовольствия постоянными и прочными, — осуждает роскошь (так как от пресыщений рождается обида) и присовокупляет к этому осуждению неумеренных удовольствий новое, вменяя может быть еще в большую вину то, что сластолюбцы, предаваясь удовольствиям, нисколько не состраждут *о бедствии Иосифа* (Амос. 6,4—6). Да не постигнет и нас это осуждение! Не попустим себе до того забываться в наслаждениях, чтобы пренебрегать человеколюбием Бога, Который раздражается этим, хотя и не вдруг, не тотчас после преступления наводит гнев Свой на грешников. Последуем высочайшему и первому закону самого Бога, Который посылает дождь на праведных и грешных и велит солнцу восходить одинаково над всеми (Матф. 5,45), Который без всякого стеснения, предоставил всем, обитающим на суше, и землю, и источники, и реки, и леса, пернатым — воздух, живущим в водах — воду, Который всем людям даровал в изобилии первые потребности жизни, которые ни власти не подлежат, ни законом не ограничиваются, ни пределами государств не преграждаются, но предложены всем и каждому в богатой мере и между тем нисколько оттого не оскудевают. Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным разданием даров Своих показать и одинаковое достоинство нашей природы, и богатство благости Своей. А люди, зарыв в землю золото, серебро, дорогие и лишние одежды, камни-самоцветы и другие подобные драгоценности, — эти свидетельства брани, междоусобиц и древнего насилия захватчиков верховной власти, — после того, безумные, поднимают еще брови и бедствующим сродникам своим по естеству отказывают в милосердии, не желая даже излишками своими помочь им в нуждах их. Какое невежество! Какая глупость! Не говорю уже о другом, по крайней мере, то представили бы они, что бедность и богатство, свободное, в обыкновенном смысле понимаемое, состояние и рабство, и другие, подобные этим имена уже впоследствии появились в роде человеческом и как некоторые недуги вторглись вместе с неправдой, которая и изобрела их. Сначала же, как сказано в Писании, не было так (Матф. 19,8). Но Сотворивший человека вначале сделал его свободным, ограничив его только одним законом заповеди; сделал и богатым среди сладостей рая, а вместе с этим благоволил даровать эти преимущества и всему роду человеческому в одном первом семени. Тогда свобода и богатство заключались единственно в соблюдении заповеди; а истинная бедность и рабство — в преступлении ее. Но с того времени, как появились зависть и раздоры, как началось коварное владычество змия, непрестанно и неприметно привлекающего нас к злу лакомой приманкой удовольствия и вооружающего дерзких людей против слабых, — с того времени расторглось родство между людьми, отчуждение их друг от друга выразилось в различных наименованиях званий, и любостяжание, призвав и закон на помощь своей власти, заставило позабыть о благородстве естества человеческого. Ты же смотри на первоначальное равенство прав, а не на последовавшее разделение, не на закон властителя, а на закон Создателя. Помоги, сколько можешь, природе, почти первобытную свободу, уважь самого себя, покрой бесчестие, нанесенное роду твоему: окажи пособие в болезни, подкрепи в нужде. Ты здоров и богат? Так утешь болящего и бедного. Ты не испытал падения? Так подними упавшего и разбившегося. Ты весел? Так ободри унывающего. Ты счастлив? Так облегчи участь удрученного несчастьем.

Воздай что-нибудь Богу в благодарность за то, что ты принадлежишь не к числу имеющих нужду в благодеяниях, а к числу тех, которые могут оказывать благодеяния, что не ты смотришь в чужие руки, а другие — в твои. Обогати себя не только имуществом, но и благочестием, не только золотом, но и добродетелью, или, лучше, только ею одной. Заслужи предпочтение перед ближним своим тем, что ты его благотворительное. Будь для несчастного богом, подражая милосердию Божию. Ибо ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение, хотя Бог несравненно больше благодетельствует, а человек меньше и сообразно со своими силами. Бог сотворил человека и снова восставляет его из тления; а ты, по крайней мере, не презри падшего. Бог явил человеку величайшее милосердие, когда дал ему, кроме всего прочего, закон, пророков, и еще прежде того естественный закон — неписаный, этого испытателя дел наших, когда обличал, вразумлял, руководствовал людей и, наконец, предал самого Себя в жертву для искупления *многих*, *за жизнь мира* (Матф. 20, 28. Иоан. 6, 51); когда даровал нам апостолов, евангелистов, учителей, пастырей, исцеления, чудеса, возвращение к жизни, разрушение смерти, знамение победы над победившим нас, завет сени и завет истины, различные дары Духа Святого и таинство нового спасения. А ты, если можешь оказывать высшие благодеяния, приносящие пользу душе (поскольку Бог наделит тебя и этим богатством, ежели только пожелаешь того), — не откажись и этим послужить нуждающемуся или лучше таковые-то благодеяния прежде всего и больше всего и оказывай просящему тебя, даже не ожидая его *прошения; всякий день милуя и взаймы давая* (Пс. 36, 26) слово и неопустительно взыскивая долг с лихвой, то есть с умножением назидания в пользовавшемся им, — лихвой, которую всегда прилагает к принятому слову тот, кто мало-помалу приумножает в себе семена благочестия. Если же ты этим не можешь служить ближнему, то оказывай ему хоть меньшие благодеяния, занимающие второе место и не превышающие силы твоей. Помоги ему, доставь пищу, подай рубище, принеси лекарство, перевяжи раны, расспроси о бедственном его положении, поговори о терпении; осмелься, подойди. Ты не унизишь себя этим; болезнь не пристанет к тебе, хотя и думают так люди слишком изнеженные, обольщенные пустыми предубеждениями; или, лучше сказать, хотя и стараются этим предлогом оправдать свою либо трусость, либо отвращение от благочестия, прибегая к боязливости, как будто к чему важному и мудрому. Относительно этого могут успокоить тебя и здравые рассуждения, и врачи, живущие в одном с больными доме их прислужники, из которых ни один еще, обращаясь с ними, не подвергался опасности. Но если бы и возбуждало такое сообщение страх и сомнения, — ты, раб Христов, боголюбивый ичеловеколюбивый, не будь побежден низким малодушием! Дерзай верой, победи боязнь состраданием, изнеженность — страхом Божиим, плотские расчеты — благочестием. Не презри брата твоего, не пробеги мимо его, не гнушайся им как нечистотой, как заразой, как чем-то отвратительным и отверженным. Это твой член, хотя и покривило его несчастье. *Тебе предает себя нищий* (Пс. 9, 35), как самому Богу, хотя ты и слишком надменно (может быть, хоть этими словами приведу тебя в стыд) проходишь мимо него. Тебе предлагается случай доказать свое человеколюбие, хотя и отвращает тебя враг от собственного твоего счастья.

Всякий мореплаватель близок к кораблекрушению; и тем ближе, чем с большей отважностью плывет. Так и всякий обложенный телом близок к бедам телесным, и тем ближе, чем бесстрашнее ходит с поднятым челом, не смотря на лежащих перед ним. Пока плывешь при благоприятном ветре — подавай руку потерпевшему кораблекрушение; пока наслаждаешься здоровьем и богатством —помоги страждущему. Не дожидайся того, чтобы узнать из собственного опыта, какое великое зло есть бесчеловечие и какое великое благо есть сердце, открытое терпящим нужду. Не желай дожить до того, чтобы Бог вознес руку Свою (Пс. 73,3) на возносящих шею свою и пренебрегающих убогими. Вразумись чужими бедами. Дай хоть самую малость бедному: и то не будет малостью для того, кто во всем нуждается, и для самого Бога, если подаяние будет по силе. Вместо великого дара принеси усердие. Ничего не имеешь? Утешь слезой. Великое лекарство злополучному, когда кто от души пожалеет о нем; несчастье много облегчается искренним соболезнованием. Ты, человек, не должен считать человека хуже животного, которое закон велит тебе поднять, когда оно упадет в ров, или привести к хозяину, когда заблудится (Исх. 2 3,4,5. Втор. 2 2,4). Не скрывается ли в этом повелении и другой, таинственный и глубочайший смысл, подобно как и во многих изречениях закона, отличающихся глубиной и двузначностью, — не мне проникать в это, а все испытующему и все знающему Духу. Я же, — насколько понимаю это, и насколько относится то к моему слову, — скажу, что здесь закон имеет целью — от милосердия к тварям малозначащим возвести нас к милосердию совершеннейшему и важнейшему. В самом деле, если мы обязаны и к бессловесным быть милостивы, то сколь же велика должна быть любовь наша к тем, кто одного с нами рода и достоинства? Так учат нас и разум, и закон, и справедливейшие из людей, которые полагают, что лучше благотворить, нежели принимать благодеяния, и что милость дороже корысти.

Что ж сказать о наших мудрецах? Я не говорю о язычниках, которые, выдумывая богов — защитников страстей, и Кердою воздают величайшие почести, и, что еще хуже того, поставляют законом (как это видим у некоторых народов) приносить людей в жертву некоторым из демонов, так что бесчеловечие входит у них в состав богопочитания, и такими жертвами как сами услаждаются, так и богам своим думают доставить удовольствие —злые жрецы и тайнослужители злых! Но вот что особенно достойно оплакивания: есть и между нашими собратьями люди, которые так далеки от соболезнования и вспомоществования страждущим, что даже не стыдятся жестоко укорять их, нападают на них, придумывают пустые и ничтожные умствования, *как гласящие с земли* (Ис. 29,4), говорят на ветер, а не для слуха водимого благим смыслом и привыкшего к истинам божественным. Они осмеливаются так судить: «Бог послал им несчастья, а нам счастье. И кто я, чтобы смел нарушать определение Божие и показывать себя милостивее Бога? Пусть их томятся, бедствуют, страдают! Богу так угодно». В этом только случае и показывают они себя богочтителями, где нужно им сберегать свои деньги и храбриться над несчастными! Но в самом деле они и не думают, что их благополучие происходит от Бога, как это ясно видно из слов их. Ибо станет ли рассуждать подобно им о бедных тот, кто признает Бога подателем всего, чем он владеет? Кто действительно имеет что-нибудь от Бога, тот употребляет, что имеет, согласно с волей Божьей. С другой стороны, еще неизвестно и то, чтобы на бедных всегда насылал страдания сам Бог, потому что и телесное вещество, находящееся беспрестанно в каком-то течении, может само по себе быть причиной расстройств. И почему кто знает, что один наказывается за порочную жизнь, а другой возвышается, как достойный похвалы? А может быть и наоборот — этот возвышается именно потому, что он худ; а тот подвергается искушению за свою добродетель; этот выше возносится, чтобы и упасть сильнее, ему попускается наперед обнаружить, как некую болезнь, всю свою порочность, дабы тем справедливее было наказание, которое постигнет его; а тот и сверх ожидания угнетается, дабы, искусившись *как золото в горниле* (Прем. Сол. 3, 6), очиститься и от малейшей, какая еще оставалась в нем, примеси зла (ибо никто, по естественному рождению, не бывает совершенно чист от скверны, как это слышим мы из Писания. Иов. 14,4) и явиться еще более достойным, так как и эту тайну нахожу я в Божественном Писании (Прем. Сол. 3,5). Продолжительно было бы перечислять все глаголы Духа, сюда относящиеся. И кто сочтет песок морской, и капли дождя, и глубину бездны (Иис. Сир. 1, 2. 3)? Равным образом, кто может во всем исследовать глубину премудрости Бога, которой Он и сотворил все, и управляет всем так, как хочет и как знает? Довольно для нас, по примеру божественного апостола, удивляться только ей и почтить молчанием непостижимую и неудобозримую глубину ее. *О глубина богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его* (Рим. 11,33). И кто уразумел дух Господа (Ис.40, 13)? *Или в последней* премудрости Его *кто постигнет,* как говорит Иов (11, 7)? *Кто мудр, чтобы разуметь это* (Ос. 14, 10), и кто отважится то, что выше всякой меры, измерять соображениями удобопостижимыми? Итак, пусть кто-нибудь будет на это смел и отважен, а лучше, если бы никто. Я же ни наказаний в здешней жизни не осмелюсь относить во всяком случае к пороку, ни спокойного состояния — к добродетели. Правда, бывает и здесь такое мздовоздаяние, и конечно, для некоторых полезных целей, дабы, с одной стороны, бедствия злых людей останавливали стремление порока, а с другой, благоденствие добрых облегчало путь добродетели, но это бывает не всегда и не вполне. Полное мздовоздаяние принадлежит единственно будущей жизни, где одни получат награды за добродетель, а другие — наказания за порок. Восстанут, ибо сказано, *эти в воскресение жизни,* эти *же в воскресение осуждения* (Иоан. 5,29)- А для настоящей жизни — другой закон, другое ведение. Впрочем, и в настоящей жизни все направлено к будущей. И что кажется нам неровным, — без сомнения, выравнивается у Бога. Подобно этому в теле есть части выдавшиеся и впалые, великие и малые, также на земле есть места возвышенные и низкие; но все это, во взаимном соотношении, образует и представляет нашим взорам прекрасное целое. Равно и у художника, сначала нестройное и неровное вещество, потом является весьма искусно обделанным, когда из него устроится какое-нибудь произведение; после чего и мы, увидев это произведение в совершенной красоте его, понимаем и признаем искусство художника. Так не будем же почитать Бога таким несовершенным художником, каковы мы; не будем находить неустройства в управлении миром потому единственно, что нам неизвестен образ управления. Но мы, — если нужно представить в подобии состояние нашего духа, — мы немного отличаемся от людей, страждущих на корабле тошнотой и головокружением, которые, кружась сами, думают, что и все кружится. Точно таковы те, о которых мы говорим. Они не хотят, чтобы Бог был мудрее их, когда у них кружится голова от недоумения о каком-нибудь происшествии. Вместо того, чтобы или самим потрудиться в изыскании причины его, в той надежде, что, может быть, трудолюбивому исканию откроется истина, или посоветоваться об этом с людьми, которые мудрее и духовнее их, так как и мудрость есть (одно из дарований, *и не у всех такое знание* (1 Кор. 8, 7), или чистотой жизни уловить ведение и поискать премудрости у истинной Премудрости; они — какое невежество! — хватаются за то, что ближе к рукам, клевещут, будто все в мире делается без причины, потому только, что сами ее не видят и, таким образом, от своего невежества делаются мудрецами или от излишней, так сказать, мудрости, становятся лишенными мудрости и несмысленными. Оттого некоторые ввели счастье и самослучайность, — такой вымысел, который подлинно только наудачу и как случилось слеплен. Другие придумали какое-то неразумное и неотклонимое владычество звезд, которые по своему произволу сплетают или, лучше сказать, невольно принуждены сплетать судьбу нашу; придумали соединения и противостояния каких-то блуждающих и неблуждающих тел небесных, и владычествующее над всем миром движение. Иные, поскольку не могли постигнуть и познать самого Промысла, внесли в бедный род человеческий свои мечты, какие кому воображались, и раздробили это на различные мнения и наименования. Были и такие, которые Промысл представляли слишком бедным, и распространив управление Его только на то, что выше нас, не осмелились низвести Его до нас, более всего имеющих в Нем нужду, как будто боясь того, чтобы Благодетеля не показать слишком благим, когда будет слишком много существ, пользующихся Его благодеяниями, или чтобы не утомить Бога множеством благотворений. Но оставим этих безумцев, — как я уже и сказал, — самим себе; поскольку еще прежде нас хорошо отразило их слово Божие этим приговором: осуетилось *несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели и изменили славу нетленного Бога* (Рим. 1,21—23), исказив какими-то баснями и тенями всеобъемлющий Промысл. Мы же, если только, как существа разумные и служители Слова, внимаем .разуму, — не должны ни сами придумывать подобных чудовищных мнений, ни принимать людей, которые так думают, сколько бы ни был оборотлив язык их в составлении нелепых умствований и учений и сколько бы ни была обольстительна новость их вымыслов. Напротив, мы должны веровать, что есть Бог Творец и Создатель всех существ; ибо как могла бы и существовать Вселенная, если бы кто не осуществил ее и не привел в стройный состав? Должны веровать, что есть Промысл, все содержащий и все связывающий в мире; ибо для тех существ, для которых необходим Творец, необходим вместе и Промыслитель, иначе, Мир, носимый случаем, как вихрем корабль, должен бы был, по причине беспорядочных движений вещества, мгновенно разрушиться, рассыпаться и возвратиться в первоначальный хаос и неустройство. Мы должны также веровать, что наш Творец, или Зиждитель (все равно тем ли, или другим именем назовешь Его) особенным образом печется о нашей участи, хотя жизнь наша и проводится среди различных противностей, причины которых для того, может быть, и остаются неизвестными, чтобы мы, все постигая их, тем более удивлялись над всем возвышенному Уму. Ибо все, что мы легко понимаем, легко и пренебрегаем; а, напротив, что выше нас, то, чем неудобопостижимее, тем больше возбуждает в нас удивление; и все, что убегает от нашего желания, тем самым воспламеняет к себе сильнейшую любовь.

Поэтому не будем ни слишком высоко ценить во всяком случае здоровье, ни слишком осуждать болезни, не будем прилепляться к скороутекающему богатству (Пс. 61,11), и более надлежащего прилагать к этому потоку свое сердце, тратя на это, так оказать, нечто из существа души нашей. Не будем восставать и против бедности, как против доли, заслуживающей презрение, проклятие и ненависть. Научимся лучше и презирать безумно употребляемое здоровье, которого плод — грех, и уважать благочестиво переносимую болезнь, почитая тех, которые страданием приобрели победу, почем знать, не кроется ли между болящими какой-нибудь Иов, который несравненно больше достоин чести, чем здоровые, хотя и соскребает с себя гной, и томится день и ночь под открытым небом, страдая и от язв, и от жены, и от друзей. Научимся отметать и неправедное богатство, за которое праведно *мучается в пламени* (Лук. 16, 24) богач, прося для прохлаждения малую каплю воды; и вместе, ублажать благодарную и любомудрую бедность, с которой Лазарь спасается и богато награждается упокоением в недрах Авраама.

Таким образом, человеколюбие и благосердие к бедным, кажется, нужно нам и для того, чтобы заградить уста неправомыслящих о нем и не уступать суетным их мудрованиям, которые мы теперь рассматривали, то есть не обращать жестокости в закон во вред самим себе. Но больше всего почтим здесь заповедь и увещания слова Божия. Какая же это заповедь? Посмотрите, как постоянно внушают ее мужи боговдохновенные, и как она близка их сердцу. Не так они возвещают ее, чтобы раз или два поговорили что-нибудь о бедных, и потом отступились; не так, чтобы одни упоминали о милосердии, а другие нет, или некоторые говорили о нем больше, а другие меньше, как будто бы оно не было важным и крайне нужным предметом. Нет, они все, и каждый в особенности, почитая эту заповедь главной, или одной из главных, с ревностью побуждают нас к исполнению ее то увещаниями, то угрозами, иногда упреками, а иногда и похвалами милосердым, и все это для того, чтобы непрестанными напоминаниями об этой заповеди усилить ее действие в сердцах наших. Сказано: *страсти ради страдания нищих и воздыхания бедных, ныне восстану, говорит Господь* (Пс. 11,6). Кто же не убоится восстающего Господа? И в другом месте: *восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных* (Пс. 9,33). Отклоним молитвой такое возвышение руки Божией и не пожелаем видеть ее возносимой на непокорных или, что еще тягостнее, наводимой на жестокосердых. И еще: *не забывает вопля угнетенных; не навсегда забыт будет нищий* (ст. 13.19); *очи Его на нищего зрят* (Пс. 10,4); а такое призрение лучше и превосходнее, нежели приникновение веждей. *Вежды же Его испытывают сынов человеческих,* что есть уже как бы низшее и второстепенное назирание. Но может быть, скажет кто-нибудь, что здесь говорится о нищих и убогих, неправедно притесняемых. Не спорю; но и это самое должно побудить тебя к человеколюбию. Если так много печется Господь о бедных, когда их обижают; то конечно еще больше наградит тебя за них, когда они получают от тебя благодеяния. Кто *ругается над нищим, тот хулит Сотворившего его* (Притч. 17,5); то пекущийся о творении чтит Творца. Опять, когда ты слышишь слова: *богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого Господь создал* (Притч. 22,2), то не думай, будто Господь создал одного нищим, а другого богатым для того, чтобы ты еще больше мог нападать на нищего, ибо неизвестно, от Бога ли произошло такое разделение. В этих словах Писания показывается только то, что и нищий, и богатый равно созданы Богом, хотя и неодинакова внешняя их участь. Пусть это подвигнет тебя к состраданию и братолюбию, и если б когда при взоре на свое богатство ты возгордился, то пусть мысль об общем Создателе смирит тебя и введет в пределы скромности. Что ж еще*? Благотворящий бедному дает взаймы Господу* (Притч. 19,17). Кто не пожелает иметь такого должника, который отдаст долг во время свое с лихвой? И *опять милосердием и правдою очищается грех* (Притч. 15,27). Итак, очистим себя милосердием, отрем этим прекрасным злаком нечистоты и скверны душевные и убедимся, одни — как волна, другие — как снег (Ис. 1,18), по мере благосердия нашего!

Скажу нечто еще более поразительное. Если у тебя нет ни сокрушенных членов, ни струпа, ни язвы, ни раны воспаленной (Ис. 1,6), нет никакой проказы душевной, или осязаемого знамения, или блеска (Лев. 13, 2), что только отчасти очищает закон, и что может исцелить один Христос, то тем не менее почти Того, Кто претерпел за нас язвы и болезни. Почтешь же Его тогда, когда явишься милостивым и человеколюбивым к члену Христову. Если же разбойник и мучитель душ наших или на пути твоем из Иерусалима в Иерихон, или в другом каком-либо месте, напав на тебя безоружного и неготового к обороне, до того, может быть, изранил тебя, что ты должен сказать: *смердят и гноятся раны мои, от безумия моего* (Пс. 37, 6); если ты в таком состоянии находишься, что ни уврачевания не ищешь, ни средства к исцелению твоему не знаешь — ах! это уже подлинно великая язва и крайнее бедствие. Но когда ты еще не вовсе предался отчаянию и не сделался совершенно неисцелимым, прибеги ко Врачу, умоляй Его, лечи язвы язвами, привлеки подобное подобным или, лучше сказать, меньшими средствами уврачуй большие болезни. И он *скажет душе твоей: «Я — Спасение твое»* (Пс. 34, 3); *вера твоя спасет тебя* (Лук. 7, 50); *ты выздоровел* (Иоан. 5,14) и утешит тебя всей сладостью слов человеколюбия, если только увидит, что и ты человеколюбив к болезнующим.

*Блаженны,* говорит Он*, милостивые, ибо они помилованы будут* (Матф. 5,7); видишь, что между блаженствами не последнее место занимает милость. Также: *блажен, кто помышляет о нищем и бедном* (Пс. 40,1); *блажен муж милует и взаймы дает* (Пс. 111,5); всякий *день милует и взаймы дает* (Пс. 36,26). Восхитим же блаженство, сослужим наименование разумевающих, сделаемся благими; сама ночь да не прервет дел милосердия. Не *говори: пойди и приди опять, и завтра я дам* (Притч. 3,28). Не допускай ни малейшего промежутка между благим намерением и благотворением. Вот одно, что не терпит отсрочки, — человеколюбие. *Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом твой* (Ис. 58,7); и все это делай радушно. *Благотвори,* сказано, *с радушием* (Рим. 12,8); таким образом готовность твоя усугубит цену доброго твоего дела. Ибо что делается с печалью или по нужде, то не может быть приятным и изящным; оказывая благодеяния, должно радоваться, а не сетовать*. Когда удалишь от себя ярмо и рукобиение,* то есть мелкую расчетливость, разведывания и сомнения, и *глагол роптания:* что будет тогда? Какое чудное и великое воздаяние! Какая и сколь богатая награда! *Тогда взойдет свет твой во тьме, и исцеление твое скоро воссияет* (Ис. 58,9- 8). Кто же не пожелает себе света и исцеления?

Но с таким же благоговением взираю и я на ковчежец Христов (Иоан. 12,6), побуждающий нас к питанию нищих; и на согласие Павла и Петра в том, что они, разделив между собой проповедь Евангелия, общими силами пеклись о бедных; и на указанный юноше предел и закон совершенства; *имение твое раздай нищим* (Матф. 19,21). Не думаешь ли ты, что человеколюбие есть для тебя не необходимость, а дело произвола, не закон, а совет? Я и сам весьма желал бы так думать; но меня устрашают: левая сторона и козлища, и укоризны, которые услышат они от Поставившего их влево. Они осуждены будут не за грабительство, не за святотатство, не за прелюбодеяние или другие грехи, запрещенные законом, а за то, что не послужили Христу в лице бедных.

Итак, ежели вы, рабы и братия, и сонаследники Христа, сколько-нибудь имеете ко мне послушания, то пока еще есть время посетим Христа, послужим Христу, напитаем Христа, оденем Христа, примем Христа, почтим Христа — не только трапезой, как некоторые; не маслами благовонными, как Мария; не гробом только, как Иосиф Аримафейский; не веществами нужными при погребении, как Никодим, в половину только показавший любовь свою ко Христу; не золотом, ладаном и смирной; как еще прежде — волхвы, но поскольку Владыка *всяческих милостей хочет, а не жертвы* (Матф. 9,13), и милосердие дороже *тысяч тучных агнцев* (Дан. 3,40), то это-то милосердие и принесем Ему в лице бедных и долу влачащихся ныне, чтобы тогда, как мы отойдем отсюда, они приняли нас *в вечные обители* (Лук. 1 б, 9), в самом Христе, Господе нашем, Которому слава вовеки, аминь.

   



# СЛОВО 15. Произнесенное в присутствии отца, который безмолвствовал от скорби, после того как град опустошил поля

Для чего расстраиваете достохвальный порядок? Для чего принуждаете говорить язык, покорный закону? Для чего вызываете слово, непротивоборствующее духу? Для чего, оставив главу, обращаетесь к ногам? Для чего, миновав Аарона, приходите к Елеазару? Я не согласен, чтобы источник был загражден, а ручей тек, чтобы солнце скрылось, а звезда сияла, чтобы седина уступила, а юность давала законы, чтобы мудрость умолкла, а неопытность величалась. Без сомнения, большой дождь не полезнее малого; один силен, смывает землю и во всем вредит земледельцу, а другой идет тихо, проникает в глубину, утучняет ниву, приносит пользу оратаю, питает колос во время созревания плода. Так и обильное слово не полезнее мудрого: доставив, может быть, несколько удовольствия, оно улетает и исчезает вместе с колебанием воздуха, не производя ничего больше, и только очаровывает краснословием пленяющийся им слух; а мудрое слово проникает в ум, расширив уста, исполняет их духом, переживает свое рождение и немногими слогами возделывает многое. Не говорю еще об истинной и первой мудрости, в которой преимуществует дивный этот делатель и пастырь.

Первая мудрость есть жизнь похвальная, очищенная или очищаемая для пречистого и пресветлого Бога, Который требует и от нас одной жертвы — очищения, — жертвы, обыкновенно называемой в Писании *сердцем сокрушенным* (Пс. 50,19), жертвой хвалы (Пс.49,14.23), *новой во Христе тварью* (Гал. 6,15), *новым человеком* (Еф. 4,24), и тому подобно. Первая мудрость — презирать ту мудрость, которая состоит в одних словах и оборотах речи, в обманчивых и излишних противоположениях. Лучше мне пять слов сказать в Церкви с разумом, нежели тысячи одним языком (1 Кор. 14,13) и невразумительным звуком трубы, который не возбуждает моего воина к духовной брани. Я хвалю и лобызаю ту мудрость, которой прославились незнатные, для которой предпочтены уничиженные, с которой рыбаки уловили в сети Евангелия всю Вселенную, победив упраздняемую мудрость словом совершенным и сокращенным (Рим. 9,28). Не тот для меня мудрец, кто мудр на словах, у кого оборотлив язык, а душа не обучена, кто подобен гробам, которые снаружи благообразны и красивы, а внутри полны мертвых костей и скрывают в себе великое зловоние, — но тот, кто хотя мало говорит о добродетели, однако же многое показывает на деле и жизнью удостоверяет в слове. Для меня лучше красота видимая, нежели изображаемая словом, лучше богатство, которое уже в руках, нежели воображаемое во сне, лучше мудрость не словом блистающая, но свидетельствуемая делами. Ибо сказано*: разум верный у всех исполняющих заповеди* (Пс. 110,10), а не у проповедующих. Самое верное испытание этой мудрости — время, а истинный *венец славы —седина* (Притч. 16,31).Ибо хотя не должно ублажать человека *прежде смерти* (Сир. 11,28), как думаю с Соломоном, — не известно, *что родит завтрашний день* (Притч. 27,1), потому что земная жизнь наша подвержена многим переворотам, и тело смирения туда и сюда порывается и изменяется: впрочем, кто провел большую часть жизни неукоризненно и близок уже к пристани этого общего моря жизни, тот не безопаснее ли и не счастливее ли других, которым предстоит далекое плавание?

Итак, не закрывай уста, которые вещали так много доброго, от которых так много плодов и порождений правды. Сколько от них чад, какие от них сокровища, — возведи окрест очи твои и виждь! Весь народ этот родил ты благовествованием во Христе! Не лишай нас более своих полезных, хотя и немногих слов, не полагай начала близкой уже потери. Изреки слово, хотя краткое, но для меня любезное и весьма приятное, хотя неощущаемое слухом, но познаваемое по тому духовному воплю, который Бог слышит от безмолвствующего Моисея и беседующему умно говорит: что *вопиешь ко Мне* (Исх. 14,15)? Собери народ этот для меня, твоего питомца, потом пастыря, а ныне первопастыря. Научи меня пастырству, народ этот — благопокорности. Полюбомудрствуй о настоящем бедствии, о судах Божиих праведных, постигаем ли мы их, или не знаем великой бездны; о том, как у Господа, по слову святого Исаии, и *суд поставлен мерилом* (Ис. 28,17), потому что благость Его не безрасчетна (хотя казалась такой начавшим ранее трудиться в винограднике и не приметившим неравенства в самом равенстве). Полюбомудрствуй о том, как гнев Божий, называемый *чашею в руке Господа* (Пс. 74, 9) *и чашею падения испиваемой* (Ис. 51,17), соразмеряется с грехами, потому что Господь, хотя у всех убавляет нечто из заслуженного ими наказания и нерастворенное вино гнева растворяет человеколюбием (Пс. 74,9); впрочем от строгости преклоняется на милость только для тех, которые вразумляются страхом, и от малой скорби *приемлют во чреве* обращение, и *болят* им, и *рождают* совершенный *дух спасения* (Пс. 74,9); а блюдет и без остатка изливает дрожжи, то есть конечный гнев на тех, которые не исцеляются Его благостью, но еще ожесточаются, подобно тяжкосердому фараону, обременяющему горькими работами и соблюденному в показание силы Божией над нечестивыми (Ис. 9,16). Скажи: отчего такие удары и бичи? Где их основание? Следствие ли это беспорядочного и неправильного движения Вселенной, неуправляемого и неразумного течения вещей, как будто нет над ними Правителя, и дело ли это случая, как думают немудрые мудрецы, слепо увлекаемые беспорядочным и темным духом? Или все с разумом и в порядке; как сначала произведено, прекрасно растворено, совокуплено и приведено в движение по законам, известным единому Приведшему все в движение, так и после движется и изменяется, управляемое браздами Промысла? Отчего неурожаи, тлетворные ветры, град, настоящее наше поражение и вразумление? Отчего порча в воздухе, болезни, землетрясения, волнения морей и небесные явления? Как тварь, созданная в наслаждение людям, этот общий и равный для всех источник удовольствий, обращается в наказание нечестивых, чтобы мы тем же самым, чем были почтены и за что оказались неблагодарными, теперь вразумились и познали силу Божию в злостраданиях, когда не познали ее в благотворных действиях? Как одним воздаются *от руки Господней грехи двойные* (Ис. 40,2), и мера беззакония восполняется этим усугублением (чем и Израиль уцеломудривается); а для других грехи исчерпываются *семикратным воздаянием в недро их* (Ис. 78,12)? И что значит мера амореев еще не исполнившаяся (Быт. 15, 16)? Как грешник или оставляется без наказания, может быть, потому, что блюдется для будущего, или наказывается опять для того, чтобы ему излечиться здесь? И как праведник или злостраждет, а через это, может быть, испытуется, или благоденствует и тем охраняется, если он беден умом, и не очень возвысился над видимым, чему каждого из нас учит совесть; это домашнее и неложное судилище! Что значит постигший нас удар, и отчего он? Испытание ли это добродетели или истязание за грехи? Но хотя бы и не было это наказанием, — лучше принять за наказание и смириться под крепкую руку Божию, нежели превозноситься этим, как испытанием. Научи же этому и вразуми нас, чтобы и не слишком болезнен был для нас настоящий удар и чтобы нам не презреть его, впав во глубину зол (ибо и таким недугом страждут многие), но чтобы благоразумно принять вразумление, и бесчувственностью к нему не навлечь на себя чего-либо большего.

Ужасно видеть бесплодие земли и погибель плодов и притом в какое время? Когда уже плоды радовали надеждой и близки были к собиранию. Ужасно видеть безвременную жатву, видеть как земледельцы скорбят о трудах, и будто над мертвецами, сидят над стеблями, которые тихий дождь взрастил, а сильный пожал, с которых *жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы горсти своей,* над которыми не слышно было благословения, каким приветствуют земледельцев *проходящие мимо* (Пс. 128,7.8). Жалкое зрелище — земля поруганная, остриженная, лишенная украшения своего! Это оплакивает и блаженный Иоиль, трогательнее других изобразивши опустошение земли и мучительность голода; оплакивает и другой пророк, противополагающий прежней красоте земли последовавшее безобразие. Рассуждая о гневе Господа, опустошающего землю, Пророк говорит: *перед ним земля как сад, а позади опустошенная степь* (Иоил. 2,3). Тягостно, чрезмерно тягостно это, пока печалит одно настоящее и не беспокоит ощущение другого тягчайшего удара, как и в болезнях настоящее страдание всегда болезненнее ненаступившего. Но и этого тягостнее то, что заключают в себе сокровищницы Божия гнева. Да не испытаете вы этого! И конечно, не испытаете, если прибегнете в милосердию Божию, слезами преклоните к себе Того, *Кто милости хочет,* и остаток гнева отвратите от себя обращением. Это — еще кротость и человеколюбие, снисходительное вразумление, первые удары пестуна, образующего младенчество, это еще *дым гнева,* то есть начаток истязания, а не *огонь воспламенившийся,* то есть не самый верх гнева, *не угли горячие,* то есть не последние удары бича (Пс. 17,9). Бог отчасти угрозил нам, отчасти простер на нас бич, от иного удержался силой, иному подверг нас, равно вразумляя и наказанием, и угрозой, и пролагая путь гневу Своему, Он, по преизбытку благости, начинает с меньшего, чтобы не иметь нужды в большем. Но Он наказывает и большим, если бывает к тому вынужден.

Знаю это *оружие очищенное* (Пс. 7,1 *У), этот упивающийся меч на небесах* (Пс*.* 34,5), которому повелено сечь, *изничтожать,* обесчадить (Иез. 21,10), не миловать ни тел, ни мозгов, ни костей. Знаю, что Бесстрастный, *как медведица, лишенная детей,* и *как рысь,* встречающая *на пути ассириев* (Ос. 13,7.8), не древних только, но и всякого, кто ныне ассириянин беззаконием; и что нельзя убежать от крепости и скорости гнева Его, когда Он бодрствует над нашими нечестиями, и когда врагов Его преследует ревность, готовая *пожрать противников* (Евр. 10,27). Знаю это *разграбление, и опустошение, и разорение, и сердца сокрушение, и расслабление колен* (Наум. 2,10), и другие подобные наказания, постигающие нечестивых. Не говорю уже о тамошних судилищах, которым предаются пощаженные здесь, почему лучше здесь подвергнуться вразумлению и очищению, нежели претерпеть истязание там, когда настанет время наказания, а не очищения. Ибо как выше смерти *поминали* здесь *Бога* (о чем прекрасно любомудрствует Давид), так для отшедших отсюда нет *исповедания* и исправления *во аде* (Пс. 6,6); потому что Бог ограничил время деятельной жизни здешним пребыванием, а тамошней жизни предоставил исследование сделанного.

Что мы сотворим в *день посещения,* которым устрашает один из пророков (Ис. 10,3- Сир. 2,2), или в день состязания Божия с вами (на горах ли и холмах оно будет, как мы слышали (Мих. 6,2), или в другом каком-либо месте, и каким ни есть образом), когда Бог будет обличать нас, Сам противостанет нам, поставит перед лицами нашими грехи наши, — этих тяжких обвинителей, — когда полученные нами благодеяния противоположить нашим беззакониям, будет одно помышление поражать другим помышлением, и одно дело осуждать другим делом, когда взыщет с нас за то, что достоинство образа Его поругали и омрачили мы грехом, и, наконец, предаст нас казни, после того как обличим и осудим сами себя, и нельзя уже будет сказать нам, что страждем несправедливо? Для страждущих здесь это служит иногда утешением в осуждении, но там кто будет заступником? Какой вымышленный предлог, какое ложное извинение, какая хитро придуманная вероятность, какая клевета на истину обманет судилище и превратит суд правый, где у всякого кладется на весы все, — и дело, и слово, и мысль, где взвешивается худое с добрым, чтобы тому, что перевесит и возьмет верх, и с тем, чего больше, соображаться приговору, после которого нельзя ни перенести дела в другое судилище, ни найти высшего судии, ни оправдаться новыми делами, ни взять елея для угасших светильников у мудрых дев или у продающих, после которого не помогает раскаяние богатого, страждущего в пламени и заботящегося об исправлении родных, и не дается срока к перемене жизни? Напротив, суд этот будет единственный, окончательный и страшный, а еще более праведный, нежели страшный, или, лучше сказать, потому и страшный, что он праведен. Тогда поставятся престолы, Ветхий днями сядет, раскроются книги, потечет река огненная, предстанут перед взорами свет и тьма уготованная, *и изыдут творившие добро в воскресение жизни,* который ныне сокровен во Христе напоследок же с Ним явится, а *творившие зло в воскресение осуждения* (Иоан. *5,*29), которым осудило уже неуверовавших судящее им слово (12,48). И первые наследуют неизреченный свет и созерцание Святой и царственной Троицы, Которая будет тогда озарять яснее и чище и всецело соединится со всецелым умом (в чем едином и поставляю особенно царствие небесное); а уделом вторых, кроме прочего, будет мучение, или, вернее сказать, прежде всего прочего, — отвержение от Бога и стыд в совести, которому не будет конца.

Все это будет после. Что же теперь сотворим, братья, сокрушенные, уничиженные и упоенные не секирой и не вином, которое расслабляет и омрачает ненадолго, но бедствием, которое навел на нас Господь, сказавший: *и ты, сердце, поколебись и сотрясись* (Авв. 2,16), и напаивающий духом скорби и сокрушения, презрителей, которым говорит: *посмотрите и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь и исчезнете* (1,5)? Как стерпим Его обличение? Или какой дадим ответ, когда сверх множества благодеяний, за которые мы не возблагодарили, с укоризной укажет нам и на эти наказания, исчислит лекарства, от которых мы не исцелились, назовет нас хотя чадами, но порочными, хотя сынами, но чуждыми и хромающими по причине непроходимости и кривизны путей своих, и скажет: «Как и чем надлежало вразумить вас, и Я не вразумлял? Нужны ли были способы лечения легчайшие? Они употреблены Мной. Миновал Я первую казнь египетскую — кровь, которую египтяне пили из источников и рек всякого собрания вод; миновал также и следующие казни — жаб и скнипов и песиих мух, начал же с пятой казни — с поражения скотов, и волов, и овец, нанес удар бессловесным, потому что щадил еще словесных. Но на вас не подействовало это бедствие, напротив, вы были предо Мной неразумнее и бессмысленнее пораженных. *Удерживал дождь от вас. Один участок напояем был дождем, а другой, не окропленный дождем, засыхал* (Амос. 4,7), но вы сказали: *укрепимся* (Иер. 18,12). Я навел на вас град, вразумляя противоположной казнью; пожал у вас виноградники, рощи и плоды, но и тем не сокрушил вашей злобы. *Но лоб твой медный, и в шее твоей жилы железные»* (Ис. 48,4), — так, может быть, скажет Он и мне, которого не исправляют сии удары. *—Грабитель грабит, опустошитель опустошает* (Ис. 21,3), ничего не произвели и вразумление свыше и небесные кары. *Раздувальный мех обгорел, истлел свинец от огня, —* в чем и прежде упрекал вас через Иеремию, — *плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились* (Иер. 6, 29). «Ужели стерпите гнев Мой? — говорит Господь. — Или рука Моя не сильна нанести новые удары? У Меня есть еще и гнойные струпья, *воспаление от пепла печного* (Исх. 9,9), который бросил к небу Моисей или другой подобный ему служитель гнева Божия, и наказывает Египет болезнью. У Меня есть и саранча, и тьма осязаемая, и казнь последняя по счету, но первая по тяжести и силе, — поражение и гибель первородных».

Во избежание ее и в отвращении всегубителя, лучше помазать нам пороги ума, то есть созерцание и деятельность, этой великой и спасительной печатью — кровью Нового Завета, вместе со Христом распявшись и с Ним умерши, чтобы с Ним и совосстать и прославиться ныне и в последнее Его явление, а не изнемогать, не сокрушаться и не плакать, когда безвременно и еще в этом темном житии поразит нас лукавый губитель первородных и посвященных Богу порождений и движений жизни нашей. О если бы мне от Благого, Который идет *в ярости против меня* (Лев. 26,24), потому что и я ходил *против него,* кроме других ударов, не получить и этого упрекав *поражал вас ржою и блеклостью хлеба,* и все это ни во что*; отвне обесчади вас меч, и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит Господь* (Плач Иер. 1,20; Амос. 4,9- 10)! О, если бы мне не стать тем виноградником Возлюбленного (Ис. *5,*1), который был насажден и окопан, обнесен оградой, защищен башней и всем, чем только можно, но запустел и *принес дикие ягоды,* а за это оставлен, так что и башня разрушена в нем, и ограждение отнято, и он не обрезывается и не вскапывается, а предается всем на разграбление, всякое поругание и попрание! Этого я боюсь, об этом у меня слово, об этом я болезную при настоящем поражении и такую возношу молитву (которую и присовокупляю к сказанному): *«Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво* (Дан. 9,*5},* потому что забыли заповеди Твои и ходили вслед лукавого сердца своего, потому что жили недостойно звания и благовествования Христа Твоего, и святых Его за нас страданий и истощения, потому что сделались поношением для Возлюбленного Твоего. И священник, и народ погрешили в одном: *все уклонились, сделались равно непотребными. Нет творящего* суд и правду, — *нет ни одного* (Пс. 52,4). Щедроты Твои и человеколюбие Твое и милостивую утробу Бога нашего заключили мы для себя своими пороками, лукавством начинаний своих. Ты благ, а мы поступали беззаконно; Ты долготерпелив, а мы достойны наказания. Признаем благость Твою, при всем своем неразумии. Еще за немногие грехи свои понесли мы наказание. *Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим* (Пс. 75,8)? От Тебя вострепещут горы, и величию мышцы Твоей кто воспротивится? Если заключишь небо, — кто откроет? И если растворишь водохранилища Твои, — кто удержит? Легко перед очами Твоими *делать нищими и обогащать, оживлять и умерщвлять* (1 Цар. 2,6.7), поражать и исцелять. Твое изволение есть уже совершенное действие. Ты разгневался, *ими согрешили* (Ис. 64,5), — исповедуется некто из древних; а мне теперь должно сказать наоборот: мы согрешили, и Ты разгневался. От этого мы *сделались посмешищем у соседей наших* (Пс. 78,4). Ты отвратил от нас лицо Свое, и мы исполнились бесчестия. Но *останови, Господи* (Амос. 7,5)*, отступи, Господи* (Пс. 38, 14), *очисти, Господи* (Дан. 9,19), не предай нас до конца за беззакония наши, и не нас поражая, вразумляй других, когда сами можем уцеломудриться, видя наказанными других! Кого же увидим наказанными? Язычников, не знающих Тебя, — и царства, не покорившиеся державе Твоей. А мы — народ Твой, Господи, и жезл наследия Твоего, поэтому *накажи нас, Господи, но по правде, а не в гневе Твоем, чтобы, не умалить нас* (Иер. 19,24) и да не уничижить перед всеми живущими на земле».

Такими словами привлекаю милость. А если бы всесожжениями и жертвами можно было утолить гнев, то не пожалел бы и этого. Но вы и сами подражаете устрашенному священнику. Ей, чада возлюбленные, ей, участвующие со мной и в наказании и в человеколюбии Божием! Спасите души свои слезами, остановите гнев, исправив начинания *свои, назначьте пост, объявите собрание,* как повелевает вам с нами блаженный Иоиль, *собери те старцев, и грудных младенцев —* этот жалкий возраст, особенно достойный Божьего человеколюбия (Иоил.2,15.16). Знаю, что то же заповедано и мне, служителю Господню, и вам, удостоенным этой же чести: *войти во вретищах, биться день и ночь между притворам и жертвенником* (Иоил. 1,13.2,17) и в жалком виде еще более жалостным голосом неотступно вопиять о себе и о народе, не щадя ни труда, ни слова, ни всего, чем только умилостивляется Бог, взывать: *пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание* (Иоил. 2,17), и так далее; тем большей предаться скорби, чем выше наше достоинство, чтобы своим примером научить народ сокрушению и исправлению порочной жизни, за которыми следует Божие долготерпение и прекращение наказания. Итак, *придите все, братия, поклонимся и припадем, и восплачем перед Господом, сотворившим нас* (Пс. 94,6); составим общий плач, разделившись по возрастам и полам. Возвысим глас моления во уши Господа Саваофа вместо ненавистного Ему вопля (Быт. 19,13). Предварим гнев его исповеданием, и как видели Его разгневанного, так пожелаем видеть умилостивленным.

Но скажешь, кто знает, что Он *обратится и раскается* (1 Цар. 15, 29) и оставит благословение? Достоверно знаю это я — споручник Божия человеколюбия, — знаю, что, оставив гнев, который Ему противоестествен, даст Он место милости, которая Ему естественна. К гневу принуждаем Его мы, а к милости и сам Он стремится. И если бьет принужденно, то ужели не помилует, следуя Своему естеству? Помилуем только сами себя, открыв путь праведному благоупотреблению Отца. Посеем слезами да с радостью пожнем (Пс. 125,5). Будем ниневитянами, а не содомлянами. Уврачуем грех, чтобы со грехом не погибнуть, послушаем Иониной проповеди, чтобы не потопил нас огонь и жупел. И если вышли мы из Содома, то пойдем на гору, убежим в Сигор, взойдем туда с восходящим солнцем; не будем останавливаться нигде *в окрестности сей,* не будем оглядываться (Быт. 19,17), чтобы не отвердеть в соляный столп, — столп подлинно бессмертный, обличающий душу, обращающуюся к злу.

Знаем, что вовсе не грешить — действительно выше человека, и принадлежит одному Богу (не стану говорить об ангелах, чтобы не дать повода страстям и не отворить двери злонамеренным противоречием); но как неисцельность свойственна злой и враждебной природе, а равно тем, которые действуют под ее влиянием, так, согрешив, обратиться — свойственно людям, впрочем благопокорным и принадлежащим к части спасаемых. Хотя плоть эта и влечет с собой некоторое зло, и *земная храмина подавляет ум* (Прем. 9, 15), стремящийся горе или сотворенный стремиться горе; однако же образ (Божий) да очищает тьму и да возводит на высоту сопряженную с ним плоть, поднимая ее на крыльях ума. Хотя лучше бы нам не иметь и нужды в таком очищении и не очищаться, сохраняя первобытное свое достоинство (к которому и поспешаем из темницы здешней жизни), лучше бы не лишать себя древа жизни горьким вкушением греха; однако же и обратиться, согрешив, лучше, нежели падшему оставаться без наказания. *Ибо Господь кого любит, того наказывает* (Евр. 12, б), и подвергать наказанию есть отеческое дело; напротив, всякая душа, оставляемая без вразумления, делается неисцелимой. Поэтому не то тяжко, чтобы терпеть удары, но гораздо тяжелее не уцеломудриться под ударом. Один из пророков, рассуждая об ожесточенном и необрезанном в сердце Израиле, говорит*: Господи! Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли, истребляешь, а они не хотят принять вразумение* (Иер. 5,3); и еще: *народ не обращается к Биющему его* (Ис. 9,13); и еще: *отвратился народ Мой отвращением лукавым* (8, 5), которое, наконец, сокрушит их и погубит. И так *страшно,* братия, *впасть в руки Бога живого* (Евр. 10, 31)! *Страшно лице Господне против творящих зло,* которое решительно истребляет память о них (Пс. 33,17). Страшен слух Божий, который ощущает глас Авелев, даже в безмолвной крови (Быт. 4,10). Страшны ноги, настигающие беззаконие. Страшно исполнение Вселенной, так что нигде нельзя избежать гнева Божия, — ни воспарив на небо, ни удалившись в ад, ни переселившись на восток, ни скрывшись в глубинах или пределах моря (Пс. 138,7— 10. Иер. 23,24). Еще прежде меня Наум, сын Елкесеев, изрекая пророчество о Ниневии, страшится *Бога ревнителя и Господа, мстящего с яростью врагам своим* (Наум. 1,2), до того простирающего Свою строгость, что не остается и места по второму отмщению нечестивым (Наум. 1, 9). А когда слышу, как Исаия угрожает и говорит людям содомским и князьям гоморрским: *«Во что еще вас бить, продолжающие свое упорство»* (Ис. 1, 5); тогда весь исполняюсь ужаса, заливаюсь слезами. Он говорит: невозможно уже найти новых наказаний за умножающиеся вновь грехи, так преступили вы всякую меру, истощили все роды наказаний, непрестанно своими пороками призывая в себя новую и новую казнь. Нет уже *ни струпа, ни язвы, ни раны гноящейся,* все тело стало язвой, и язвой неисцельной; *ибо нет пластыря приложить, ни елея, раны необвязанные* (ст. 6). Умалчиваю о продолжении угрозы, чтобы не быть для вас тягостнее настоящего наказания. По крайней мере, узнаем причину бедствия. Отчего посохли возделанные поля, истощились житницы, оскудели пастбища, умалились земные плоды, равнины наполнились не туком, но сетованием, долины не хлебом наполнены, но огласились воплем, не вином капали горы, как впоследствии праведным (Иоил. 3,18), но обезображены, обесчещены и несут на себе (в противном только смысле) проклятие гор гелвуйских? Вся земля стала, как вначале, пока не облечена была своими украшениями. *Посетил землю и утолил жажду ее* (Пс. 64,10), но посещением бедственным и утолением пагубным. Печальное зрелище! Все плодородие у нас в соломе, посев заметен по малым остаткам, и жатва наша, узнаваемая более по времени года, нежели по числу снопов, едва плодоприносит начатки Господу. Таково богатство нечестивых, такова жатва сеющих худо, во исполнение древнего проклятия: *ожидать многого,* а получать мало (Агг. 10), *посеять и не пожать* (Мих. 6, 15), насадить и не выжать соки, *где вспашут десять пар волов, будет корчаг один* (Ис. 6, 10), слышать о плодородии у других, а самим быть под гнетом бедности! Отчего же все это, и какая причина бедствия? Не станем ожидать обличения от других, но испытаем сами себя. Великое врачевание против зла — исповедание греха и удаление от него. Как прежде возвестил я первый народу моему и исполнил должность стража (ибо, чтобы приобрести свою душу и души слушающих, не скрывал о грядущем мече); так возвещу и теперь о непокорности народа моего, признавая грехи его своими, и через это, может быть, получу некоторую милость и отраду. Один из нас притеснил бедного, отнял часть земли, со злым умыслом, или неприметно, или насильственно переступил за межу, притяжал дом к дому и поле к полю, только бы отнять что-нибудь у ближнего, употребил все усилия никого не иметь соседом, как будто намереваясь один жить на земле. Другой осквернил землю лихоимством и корыстолюбием, собирая, где не сеял, и пожиная, где не расточал, возделывая не землю, но нужды бедных. Иной от гумна и точила не воздал начатков Богу, все даровавшему, и оказался вместе неблагодарным и безрассудным, потому что и за полученное не возблагодарил и не постарался исходатайствовать себе благопризнательностью, если не другое что-нибудь, по крайней мере будущее изобилие. Другой не оказал милости вдове и сироте, не дал хлеба и малого пропитания просящему, или, лучше сказать, самому Христу, питаемому в лице скудно питаемых, тогда как сам имеет, может быть, много и сверх всякого ожидания, тогда как (что уже верх несправедливости!) многие житницы делаются для него тесными, тогда как одну он наполняет, а другие разоряет, чтобы построить обширнейшие для будущих плодов, не зная, что до исполнения надежд своих похищен будет смертью, и как негодный домостроитель чужих благ, даст отчет в том, чем здесь изобиловал и величался. Иной *путь кротких* совращал (Ам. 2, 7) и *совратил, в неправдах праведного* (Ис. 29,21). Иной возненавидел *во вратах обличающего и гнушался тем, кто говорит правду* (Амос. 5,16). Иной приносил жертвы сети своей (Авв. 1,16), собирающей много, и имея *награбленное у бедного в своих домах* (Ис. 3, 14), не вспомнил о Боге или вспомнил худо, говоря *благословен Господь! Я разбогател* (Зах. 11,5), и замыслил беззаконие как бы от Него имея то, за что будет наказан*. Ибо за это грядет гнев Божий на сынов противления* (Ефес. 5,6). За это заключается небо или отверзается, но к нашему же бедствию, и еще к большему, когда и поражаемые не обращаемся и к сущему вблизи естеством не приближаемся (Иер. 23,23).

Что скажем на это мы, которые покупают и продают хлеб и выжидают тяжелых времен, чтобы обогатиться, насладиться чужими бедствиями и беззаконно присвоить себе не собственность египтян (как сделал Иосиф для высшего домостроительства, ибо он умел хорошо собирать и раздавать хлеб), но собственность единоплеменников? Что скажем мы, говорящие: *когда пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы* (Амос. 8, 5), мы, двоякими мерами и весами нарушающие справедливость (Втор. 25,14- Амос. 8, 5), мы, наклоняющие к себе свинцовую меру беззакония (Зах. 5,8)? Что скажем на это мы, которые не знают предела в стяжании, поклоняются золоту и серебру, как древние Ваалу, Астарте и мерзкому Хамосу, ставят в великое драгоценные и блестящие каменья, мягкие и пышные одежды — эту пищу моли и добычу разбойников, мучителей и татей, гордятся множеством рабов и скотов, расширяются по равнинам и горам, одним уже владеют, другое приобщают, а иное намереваются приобщить к своему владению, уподобляясь упоминаемой Соломоном пиявице (Притч. 30,15), которая ничем не может насытиться, как ад и земля, огонь и вода, — желают другой Вселенной для удовлетворения своей любостяжательности и не довольствуются пределами, какие положены Богом, потому что они тесны для наших пожеланий и алчности? Что скажут возведенные на высокие степени чести, высоко взгромоздившие свой начальнический стул, а брови поднимающие еще выше места своего лицедействия, между тем не помышляющие о Боге, Который выше всего, и о недоступной высоте истинного царства, не рассуждающие, что и сами они, имея нужду в таковой же милости, должны начальствовать над подчиненными, как над сослужителями? Посмотри на этих, которые, как превосходно осмеивает их божественный Амос, — *нежатся на ложах из слоновой кости и мажутся наилучшими мастями, поют под звуки гуслей,* прилеплены к скоропреходящему, как к постоянному, а не соболезнуют и не состраждут о *бедствии Иосифа* (Амос. 6,4.5.6). Надлежало оказать милость тем, которые прежде впали в несчастие, надлежало милостью приобрести себе милость, надлежало *рыдать кипарису, ибо упал кедр* (Зах. 11,2), надлежало вразумляться поражением ближних, чужими бедствиями врачевать свое зло и воспользоваться тем преимуществом перед предшественниками, чтобы самим через других получить спасение, а не других уцеломудривать своим примером.

Об этом полюбомудрствуй с нами, божественная и священная глава, приобретшая долговременностью многую опытность, от которой происходит мудрость, — в этом наставь народ твой, научи разделять алчущим хлеб и нищих бескровных собирать в дом, прикрывать наготу и не презирать единокровных, особенно теперь, чтобы наше благотворение было от скудости, а не от избытка, каковое плодоношение приятнее Богу, нежели множество приносимого и великость подаяния. А сверх этого и больше всего будь ныне Моисеем и Финеесом. Восстань за нас и умилостиви, *да остановится язва* (Пс. 105, 30), или духовной жертвой, или молитвой и умным ходатайством удержи гнев Господень, своим посредничеством останови последующие удары. Господь не презирает седин отца, молящегося о чадах. Помолись о прошедших согрешениях, поручись за будущее. Представь Богу народ, очищенный ударами и страхом, испроси ему телесную пищу, а особенно испроси ангельскую, сходящую с неба. Если сделаешь это, то примиришь с нами Бога, смягчишь небо, низведешь дождь ранний и поздний. *Господь даст благо, и земля наша даст плод свой* (Пс. 84,13), — эта попираемая нами — временный, а плоть наша — вечный, который и вложим в божественные точила через тебя, приносящего нас и дары наши, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава вовеки. Аминь.